

ЗЕЛЕНАЯ
СЕРИЯ



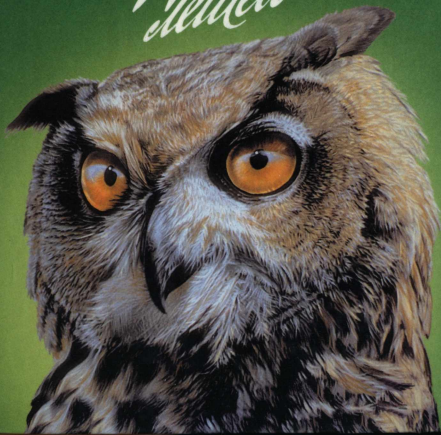
АЛЕКСЕЙ КОМАРОВ



АЛЕКСЕЙ

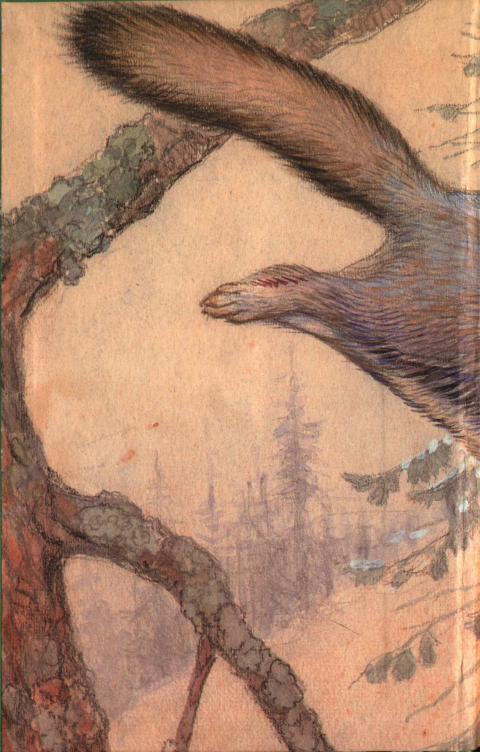
КОМАРОВ

*Рассказы
старого
лесного*



АЛЕКСЕЙ
КОМАРОВ

*Рассказы
старого
деда*





**АЛЕКСЕЙ
КОМАРОВ**



ЗЕЛЕНАЯ СЕРИЯ



АЛЕКСЕЙ
КОМАРОВ

*Рассказы
бурого
деища*

РИСУНКИ АВТОРА



АРМАДА
Москва
1998

УДК 82-311.8(02)
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-44я5
К 63

ISBN 5-7632-0781-5

© Комаров А. Н., 1998
© Художественное оформление,
АРМАДА, 1998

Люблю сидеть я перед печкой,
Смотреть, как пляшет огонек,
Как дым свивается в колечки,
Как светит красный уголек.
Сидеть и вспоминать былое,
Былые встречи и разлуки,
Былое — сердцу дорогое,
Былые радости и муки.
Вот предо мною ширь степная,
Орел в поднебесье парит,
Косматой гривой мотая,
Конек мой весело бежит...

ДОРОГА ЖИЗНИ

Я уже порядком устал. Долго, очень долго я шагаю по дороге жизни. Иногда теряю ее и блуждаю в потемках, иногда я вдруг вижу свет вдаль и бросаюсь к нему с радостью и надеждой. А теперь я устал. Волосы мои поседели, глаза заволоклись туманом, уши заткнуты ватой, ноги спотыкаются. Я взбираюсь на бугорок и смотрю на пройденный путь. С бугорка мне далеко видно. Вон в самом начале пути далеко-далеко чуть видна узенькая тропинка, по которой я делаю свои первые шаги. Все кругом такое яркое, цветистое, как будто только что вымытое и еще не успевшее высохнуть...

Вот передо мною светлый летний день. Наш тарантас спускается с крутого берега к реке Красивая Мечь. «Степан, погоди, погоди, мы лучше слезем». — «Ничаво, не пужайтесь, кони добрые». И мы в тарантасе переезжаем реку...

Вот меня повели в приготовительную школу к двум старым девам. Старые девы учили нас, и если мы не понимали или шалили, они нервничали, плакали и рыдали...

Потом меня повели в другую школу, где не было рыданий и было больше порядка. Там царил Адам Николаевич Конопацкий в окружении жены, свояченицы и пяти дочерей. Все старшие дамы учили нас, и только три последние дочки сами учились. Тут в классах было многолюдно и была строгость. Адам Николаевич шалунов щелкал по ушам двумя пальцами и ставил в угол.



Потом потянулись унылые годы в Реальном училище, тяжелые, неинтересные науки. Чиновники-учителя — казенное отношение к ученикам и страшная для меня математика. Из пятого класса я вышел и уехал в Москву в Училище живописи. Проживу и без математики. Я надеялся на свои силы. Плевать хотел я на дипломы, на всякие звания, на казенные места. Я художник, и мое искусство прокормит меня. Мне не надо богатства, не надо почестей. Дорога стала широкой, стала

интересной, опасной и трудной. Надо зорко смотреть вперед, надо уметь избегать всяких ловушек, петель, капканов. И я, конечно, влип. Влип здорово. *Chercher la Femme.*

ДЕТСТВО

Когда я оглядываюсь назад, на свое далекое детство, я, как в тумане, вижу маленький флигелек, крытый соломой, две комнатки и в них мою дорогую тетю Катю и маленького мальчика. Этот мальчик — я. Я сижу на полу и устраиваю лес. Для этого я втыкаю в щели пола прутики, сажаю на них сделанных мною из хлеба птичек, а лес населяю маленькими фарфоровыми зверюшками. Дремучий лес.

Я тихий, мечтательный мальчик и часами могу заниматься своими игрушками. Иногда я пытаюсь что-то рисовать. В окно я вижу «большой дом», тоже крытый соломой. В этом доме живет мой отец, дядя Виктор и две тетки: Маргарита и Дарья Феликсовны.



Иногда из «большого дома» к нам во флигелек приходят гости, и мы все вместе пьем чай.

Помню такой случай: засиделась тетя Маргарита у нас во флигельке до темной ночи. Со страхом пошла она в «большой дом». Нависли тучи, накрапывает дождь. Темно, как под одеялом. Отошла несколько шагов, навстречу ей какая-то темная фигура. Это, конечно, сторож Василий. Обрадовалась тетя Маргарита:

— Василий, голубчик, проводи меня!

«Ммуу!» — загудел в ответ грозный голос быка.

В ужасе влетела тетя Маргарита в наш флигелек.

Иногда приезжает сосед-помещик Яблочкин. Яблочкин приезжает верхом, и я помню то блаженство и страх, когда он посадил меня к себе на седло и я проехал верхом на настоящей, живой лошади! Подумать только — на живой лошади. И долго потом, сидя на своей деревянной лошадке, я воображал эту поездку.

Деревянная лошадка была моим лучшим другом. Обтянутая пестрой телячьей шкурой с волосистой гривой и хвостом, моя пегашка увозила меня в далекие сказочные страны.

Еще у меня был любимый слон. Слон был сшит тетками из моей курточки. Не думаю, что он был очень красив, но он был горячо любим мною. А это главное! И вот представьте мое горе, когда этот слоник утонул. Я сам был виною этого несчастья. Я сам уронил его в пруд, когда проходил с тетей Катей по плотине. И он утонул. Не сразу. Он еще плавал, когда я в отчаянии хотел палкой достать его. Он намок и утонул. Тетя Катя долго старалась подцепить его со дна, но все было напрасно. Бедный слоник...

Из рассказов теток я помню только кое-что. К сожалению, я мало уделял внимания и интереса рассказам теток и помню только отрывки их воспоминаний.

По их словам, мой дедушка Розетти пришел в Москву с войсками Наполеона. Мальчишка-барабанщик, по национальности итальянец, какими-то судьбами остался в Москве. Женился на полунемке-полурусской и стал учителем музыки. Моя прабабка, мать этой полунемки, была начальницей Воспитательного дома и при занятии Москвы французами ухитрилась сохранить детей и персонал Воспитательного дома, за что была награждена Наполеоном орденом Почетного легиона (у меня сохранилось фото этой прабабки с орденом на груди).

У моего деда было восемь человек детей, и он на свои ничтожные средства сумел вырастить их и дать образование. Все в семье умели рисовать, а мой отец учился где-то живописи и хотел стать художником. В моей комнате висели две картины моего отца. Одна изображала русский пейзаж: в гору поднимается воз с сеном. Солнечный день. На горе деревья. В небе облака. Другая была не окончена. Полдень. Под большим раскидистым дубом в тени стоят две лошади. Когда теперь вспоминаю эти картины, они мне кажутся сделанными неплохо и приятными по тону.

Дядя Виктор был инженером и директором первого газового завода в Москве. Тетки давали уроки французского языка и музыки.

Моя тетя Катя, надо думать, была очень храбрая девица. Она одна, будучи очень молоденькой, пустилась в далекий и опасный путь из Москвы на Урал в Оренбург. Тогда, на

лошадях, это было трудное путешествие. В степях, говорила она, в тарантас запрягали полудиких, необъезженных лошадей, и они мчались бешеным карьером до следующей станции. Ехала тетя в Оренбург к своему дяде, учить его детей. Одна из моих теток — Мария — вышла замуж и уехала с мужем в Астрахань, а три другие сестры так и остались девицами и поселились в имении. До переезда в имение (в тридцатые — сороковые годы прошлого столетия) мой отец, дядя и тетки жили в Москве.

Однажды они переехали на новую квартиру в маленький одноэтажный домик, окруженный пустырем. Он был где-то около Мясницких ворот. Домик этот пользовался дурной славой, жить в нем никто не хотел, и потому он отдавался за очень дешевую плату. Семье Розетти очень понравился уютный, на большом дворе, домик, и они смеялись над суеверными страхами, которыми он был окружен. И все же им пришлось скоро искать другую квартиру. По ночам раздавались какие-то странные звуки, голоса, кто-то стучал в стены, кто-то бегал по чердаку. А однажды большая черная собака вбежала в комнаты. Ее стали гнать, она выбежала в сени и по лестнице забралась на чердак. За ней побежали, но на чердаке ее не оказалось — она пропала. А раз большой булыжник влетел в комнату, пробив окно. Все эти истории да еще страшные рассказы про домик заставили моих родных покинуть этот уютный и дешевый приют.

В Москве в те времена были такие зачумленные дома. Такой дурной славой пользовался и дом на Мясницкой улице рядом с церковью Параскевы Пятницы. Дом стоял пустой. В нем ходили привидения, мелькали какие-то огни. Прохожие по ночам со страхом проходили мимо. Общество поощрения художеств отхлопотало этот дом для устройства Школы живописи. Средств у общества было мало. Дом стоял наполовину необитаемый, с разбитыми стеклами, неутепленный. В классах был холод. Ученики сидели, закутавшись в одеяла, и озябшими руками все же прилежно рисовали. В актовом зале стекла были выбиты, и там ютилось много голубей. Эти голуби привлекали голодных учеников, и они по вечерам ловили их и жарили на вертеле над костром из плиток паркета. В восторге ребята танцевали вокруг костра, пели и горланили. С улицы прохожие видели какие-то мелькающие тени, какой-то свет, крики, пение. Дурная слава еще более укреплялась.

Это мне рассказывал старичок Бродский. Он был в числе первых учеников школы. После же работал как скульптор-прикладник на фабрике серебряных изделий Фаберже.

Бродский много говорил мне про первые годы Школы живописи, ваяния и зодчества, про учеников, работавших усердно, несмотря на крайнюю бедность, на полуголодное существование.

Много талантливых, крупных художников дали первые выпуски школы.

Во времена моего детства мало было детских книг, мало картинок со зверями и птицами, даже в городе, а в деревне была дичь непроходимая. Жуткая дичь.

Я слышал рассказы теток о селе Скородном, в котором я родился. В нем в те времена еще кое у кого из крестьян в зимние вечера горела лучина, грамотных было наперечет, лечили болезни знахари и старухи знахарки, лечили заговором, нашептыванием, sprыскивали с уголька, а когда в селе появлялась какая-нибудь эпидемия — корь, оспа, горячка, — то ночью запрягались в соху голые девки и опахивали с причитаниями село, и горе тому человеку, который попался бы им по дороге. Мол, этот человек и есть та самая хворь, что косит людей, и его надо убить.

Представьте себе эту картину — ведь так было при Гостомысле, при Рюрике, в самые дикие времена и сохранилось почти до наших дней. Да и теперь еще верят в дурной глаз, в присуху, в напускание болезни. Верят в гадание, в приметы, в дурные дни, в домовых и чертей.

Не знаю — помню я или это мне рассказывали тетки о нашем выезде из имения.

Мой отец женился. Тетки не смогли ужиться с женой брата и решили разделиться и уехать в Тулу. И вот началось великое переселение.

На подводах повезли мебель, ящики с посудой, сундуки, рояль. На двух тройках поехали тетки и я с ними.

Вот перед нами река Красивая Мечь. Тарантасы осторожно спускаются к переправе. Тетки волнуются.

— Степан! Степан! Осторожнее, голубчик! Придержи-ка лошадок, мы вылезем.

— Не пужайтесь. Сидите. Кони надежные, — говорит невозмутимый Степан.

Спустились с горы. Захрустел под колесами галечник. Тарантасы въезжают в реку. Лошади пьют. Я с любопытством смотрю на реку, и мне слепит глаза отраженное в ней солнце. Лошади напились. Кучера с гиканием погнали их в брод. Вода выше колес. Тетушки поднимают ноги. Девочка Дуняша, которая тоже едет с нами, визжит. Но я по лицу ее вижу, что ей не так страшно, как весело.

На лошадях ехали до Ефремова. Там тетки сдали багаж, купили билеты до Тулы, и мы сели в вагон. Мы с Дуней прилипли к окошку и не отрываясь глядели на мелькающие мимо деревушки, помещичьи усадьбы, небольшие лесочки и поля, поля. Бескрайние просторы полей.

Вот и Тула. Двухэтажный каменный дом на Павлинской улице. На втором этаже живем мы. Под нами портной-еврей с женой и сынишкой моего возраста, мальчишка целые дни поет песенки, и мои тетки удивляются его голосу и слуху. У еврейки есть корова, и мы берем у нее молоко. Каждое утро и вечер мимо нашего дома проходит стадо, и я смотрю, как еврейка встречает свою корову и заботливо поит и кормит ее.

В этом доме я заболел, как думали, ветряной оспой. Все лицо и руки были покрыты сыпью. Тетя Катя, боясь, что это настоящая оспа, целые ночи просиживала около меня и не давала мне во сне чесать лицо. Она боялась, что я стану рябым. Добрая, кроткая тетя Катя была моей любящей матерью, всегда ласковая, всегда заботливая, она сделала мое детство и юность счастливыми и радостными.

Мне семь лет, и меня повели в домашнюю школку, где учились пять или шесть детишек. Учили нас две старые девы. Девы были очень чувствительны, и когда мы плохо учились или шалили, они плакали, а за ними плакали и все мы, детишки.

В школке этой учился мальчик, с которым я подружился и которому завидовал. Это был смуглый крепыш, веселый и большой шалун. Он рассказывал, что у него есть своя лошадка и седло и он ездит на ней по полям. Однажды он принес показывать нам новенькую уздечку, подаренную ему на Рождество. Не каждому случается иметь свою лошадь, и мы смотрели на него, как на сказочного героя.

Не знаю почему, но тетки решили переехать на другую квартиру. Пришли к нам в комнаты арестанты в серых халатах и в круглых бескозырках, обутые в какие-то опорки,



и с ними солдат с ружьем. Арестанты подхватили мебель, трое подняли рояль. Тетки, Дуня, кухарка Феня и я взяли лампы, горшки с цветами и всем караваном двинулись на Рубцовскую улицу в дом архитектора Гурьева. До новой квартиры было недалеко.

Повторив маршрут три или четыре раза, переезд завершили. Тетки накормили арестантов, дали им на табак, расплатились с солдатами и стали устраиваться

на новом месте. Такой способ переноски вещей был в обычаях того времени.

Мы заняли деревянный особнячок в пять комнат. У архитектора Гурьева была большая семья. Старшая девочка моего возраста и четыре мальчика. Они жили в соседнем доме, и я, конечно, дружил с ними.

Тула в те далекие дни мало отличалась от деревни. Многие улицы были не мощены, фонари горели только на главных улицах, и даже по этим улицам утром и вечером прогоняли стадо. В базарные дни город наполнялся неистовым визгом поросят, которых за заднюю ножку несли с базара. Мне было их очень жаль, и я возмущался бессердечием людей, так обращававшихся с бедными поросятами. Кричали гуси, утки. Скрипели телеги. Возле кремлевской стены раскидывался базар. Ряды телег с яблоками, с капустой, с огурцами. Ряды торговцев гусями, курами и певчими птицами. Шум, крик, поросятчий визг, запах яблок и дегтя, яркое солнце и пестрые наряды баб.

Я хожу по базару с тетей Катей и с восторгом смотрю на петухов, гусей, уток, а главное, на щеглов и чижей, которых знаю по рисункам в книгах.

Эти чижи и щеглы притягивают меня как магнит, и я пристаю к тете, чтобы она купила мне чижику.



И вот клетка с чижом в моих руках. Моему блаженству нет границ. Всю дорогу я неотрывно смотрю на маленькую зеленую птичку, на моего первого ненаглядного чижики. Сердце пухнет от любви к нему, и так хочется взять его в руки и целовать в черную шапочку, но тетка говорит, что брать в руки вредно для птички, и я не беру его, а только часами люблюсь им.

Проходят дни, чижики уже не бьются, а, попискивая, прыгает с жердочки на жердочку и шелушит конопляные зернышки. Потом этот чижики стал уже совсем ручным и свободно летал по комнатам, оставляя на мебели визитные карточки.

В один незабываемый день я с тетей Катей шел мимо городских рядов. У темных входов в лавки сидели купцы и играли в шашки, другие пили чай из громадных медных чайников, а над дверями лавок висели клетки с жаворонками, перепелами, соловьями, черными дроздами, канарейками. Туляки в те далекие времена были заядлыми охотниками до всякой любительской птицы. Я, конечно, глядел на клетки, слушал пение и спотыкался о неровные камни мостовой, и тут со мной произошло событие, на всю жизнь оставившее глубокий след.

Неожиданно я увидел на площади длинное холщовое сооружение с пестрыми флагами и ярко нарисованными зверями

и птицами. Оттуда донёсились крики птиц и рев зверей. Я вцепился в руку моей добрейшей тети с горячей мольбой: «Туда, скорей туда!» И вот передо мной невиданные звери, живые, чудные, те самые, что глядели со страниц Брема. Те, да не те. У этих все время меняются позы, они рычат глухо, как далекий гром. Шкура на них переливается, как бархат, движения их плавны и эластичны. Я не могу оторвать от них глаз.

Меня часто спрашивают теперь: «Когда вы стали анималистом?» А я думаю, когда я им не был? Еще там, в маленьком флигельке, в тишине глухой деревни я с интересом смотрел на проходивших мимо коров, лошадей, овец.

И вот теперь эти звери. Звери бродячего зверинца окончательно полонили, околдовали меня. Я переходил от клетки к клетке и не мог оторваться от грозных хищников, маленьких изящных антилоп, обезьян и цветных орущих попугаев. Как ни упрашивала меня тетя Катя, как ни возмущался мой пустой желудок, я не мог уйти из балагана и просил, умолял побыть еще, еще немножко. Кончилось тем, что мои штанишки оказались мокры. Я просился в балаган и на другой, и на третий день и готов был жить там постоянно. Хорошо, что бродячий зверинец снялся и уехал куда-то из Тулы.

Любят туляки птицу. В редком доме нет голубей, породистых кур, канареек. В летний солнечный день все небо усеяно голубиными стаями. Повернется стая, блеснет серебром и утонет в голубом небе. Высоко кружат хорошие летуны. А на крышах небольших домиков свистят, машут шестью с навязанной тряпкой и то с гордостью, то с тревогой следят ярые голубятники за своими стаями. Но голуби меня не прельщали, да и держать их мне было негде. Я любил мелких певчих и всяких диких птиц.

Каждое воскресенье рано утром в пять-шесть часов я мчался на Птичий рынок. Там мальчишки продавали наловленных пичужек. Иногда попадались особенно редкие птички: то иволга, то кукушка, то какой-нибудь мелкий хищничек — дербник, пустельга, кобчик. Я, конечно, покупаю их за несколько копеек и бегу показать своему другу Мише Ульяновскому. Он живет тут рядом, в старинном каменном доме. Его отец — директор Крестьянского банка. У Миши меня обступает вся семья с швейцаром Афиногеном и с понтером Рябчиком. Семья большая — шесть человек. Лидя сует свой



пальчик, хочет погладить по головке кобчика и отскакивает, взвизгнув, а пальчик завязывают тряпочкой.

Идем с Мишей на двор к его знаменитым курам. Он выпускает из курятника своих итальянских куропатчатых.

Красавец петух с золотой гривой и черной грудью гордо выступает, шеголяя громадным зубчатым гребнем. Куры коричневатые, рябенькие. Любуемся курами, устраиваем в курятнике гнезда. Таких прекрасных итальянских кур мне после никогда не приходилось видеть, таких нарядных, смирных, в таком блестящем оперении.

Потом со своей покупкой я мчусь домой, устраиваю кобчика в самодельной клетке, кормлю его и стараюсь как можно точнее зарисовать.

У меня в комнате маленький зверинец: под столом в большом ящике шуршат соломой и повизгивают морские свинки, в клетке на сундуке гоняются друг за другом две норки, рядом хомяк целыми днями вылизывает и расчесывает свою шкурку, по полу бегают скворец и буйно купается в тазу, а на окне висят клетки с чижами, зяблями, снегирями. Вся эта компания поет, пищит и шумит не переставая, и день и ночь.

Мне и моей бедной тете Кате приходится спать в этом зверинце, и она по своей великой кротости терпит все это и даже, частенько, чистит и кормит всю мою мелюзгу.

Я зарисовываю зверюшек и птичек, читаю Брема и сверяю рисунки Шпехта, Кунерта, Мютцеля с натурой и мечтаю когда-нибудь нарисовать и лучше и полнее всех птиц и зверей мира. Я тогда не мог представить себе, как много на земле видов птиц и зверей и сколько еще видов не открыто.

Я мечтал о книге, в которой были бы изображены все звери, все птицы, все животные, каких знает человек.

Я восхищался рисунками Шпехта и Кунерта и смелыми, твердыми рисунками Каразина и старался подражать им. Я

делал иллюстрации к повестям Майн Рида, Жуль Верна, Купера. Жаль, что у меня не было человека, который мог бы мне указать ошибки, направить меня на верный путь в искусстве, познакомить с техникой, с приемами, с понятиями о красоте штриха, о пятне и равновесии в расположении фигур.

Приходилось доходить до всего этого самому, учиться у природы, у натуры. Со скрипом, медленно подвигалось мое умение, мое мастерство. Да и рисовал-то я не слишком много, и не было у меня ни хороших карандашей, ни хороших красок и бумаги. И сам я не знал, и мои тетки тоже не знали, что нужно для начинающего художника.

Лошади с самого раннего детства были моей мечтой, моей горячей любовью. У архитектора Гурьева было две лошади. Старый, толстый Варвар и недавно купленный молоденький рысачок Перквилло. Ими управлял любимый всеми ребятами кучер Федор. Федор был добродушный мужик, всегда с нами шутивший и позволявший нам торчать в конюшне, кормить лошадей сахаром и кое в чем помогать ему.

Как-то он разрешил мне вести в поводу Варвара, а сам вел Перквилло. Мы отправились по улицам Тулы в ограду церкви Ильи Пророка. Мы шли посередине улицы, впереди Федор с веселым, все время подплясывающим жеребчиком, а за ними я с моим смиренным, добродушным конем. Как я был горд! Как мне хотелось, чтобы весь мир глядел на меня!

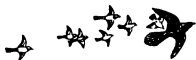
Но улицы были пусты, и только один мальчишка гонял обруч, не обращая на меня внимания.

Я во всем подражал Федору: так же сплевывал в сторону, так же говорил басом: «Балуй», хотя моему коню и в голову не приходило «баловать».

В ограде Федор привязал лошадей на длинные веревки, молодой жеребчик сначала немного порезвился, сделал круг, раза два кинул задом, потом успокоился, и они оба стали щипать траву. Мы легли в тени колокольни. Над нами с визгом носились стрижи, мелькали ласточки, а в проемах колокольни ворковали голуби. Федор свернул «козью ножку», лег на спину и, покуривая, блаженно глядел в безоблачное утреннее небо.

Лошади покойно щипали траву, изредка пофыркивая, а я неотрывно любовался ими.

Много портретов лошадей написал я за свою долгую жизнь — и охотничьих, и рысистых, и чистокровных, и беспородных, а эти две лошадки запомнились мне навсегда, врезались в память в те безмятежные часы, когда я лежал в тени колокольни и любовался ими.





МОЙ ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТОК

Давних дней воспоминание

— Алеша, пойдем церковь расписывать. Недалеко отсюда, около Венева монастыря, верст пятнадцать будет — не больше. Здорово подработаем! Там поп богатый — хорошо заплатит. Я с его сыном познакомился, он студент археологического института, славный малый. Он меня звал, говорит, работа интересная. Нужно ризницу, или алтарь, или придел какой-то расписать в стиле XVII века. Археолог нам все растолкует. Краски, кисти и все прочее там будет. Идем! Поживем на лоне природы. Здорово!

— Да постой, Фомка, я же никогда церковью не расписывал. Икон никогда не писал, да и писать не умею.

— Ничего, пойдем, там увидим! Я уверен, что мы с этим делом справимся. Подработаем здорово. Я твой подручный буду. Вывески я писал и золотить умею. Идем!

И мы пошли. До свидания, Тула! Нам было по восемнадцати лет. Жизнь звала нас. Дома не сиделось. Было начало лета. Солнце светило, птицы пели, мы весело шли по дороге между волнующимися хлебами. Чеканчики перелетали с одной кучи камней на другую, вдали куковала кукушка, бойко кричали перепела. Хорошо!

Денег у нас было рубля два, много молодого задора и радужных надежд. Кроме всего этого, у нас было два филипповских калача. На половине дороги мы проголодались и решили сделать привал и поесть.

В маленькой деревеньке у ласковой тетеньки купили крынку густого холодного молока.

— Кушайте, касатики, кушайте на здоровье. Молочко-то утрешнее, свеженькое.

И касатики уплели и калачи, и здоровенную краюху черного хлеба, и «утрешнее» молочко.

Распрощались с тетенькой и бодро пошли дальше. День был так же хорош, птицы так же пели, но мы уже не радовались беспечно, не хохотали, не балагурили со встречными бабами, мы еле ташили ноги — так разболелись у нас животы от утрешнего молочка. То ли молочко было виновато, то ли наше обжорство. Все же к вечеру мы кое-как добрались до села Ивашково и направились в поповский дом.

Нас встретил студент-археолог и познакомил с отцом и сестрами. Отец Федор — старик высокий, сухой, в длинном парусиновом подряснике. Борода черная с проседью, лик иконописный, суровый. Он строго посмотрел на нас (ему, видимо, не понравилась наша молодость) и сказал, что в церкви надо расписать ризницу и надо сделать это хорошо, а так как церковь старинная, то роспись надо сделать в стиле XVII столетия.

— Все это вам объяснит мой сын.

Нам ни слова не было сказано о том, сколько нам за это заплатят, а мы сами как-то не решились заговорить о цене. Чаем нас не угостили, а сказали, чтобы мы шли к церковному сторожу, у которого мы сможем за небольшую плату найти приют и стол.

На другое утро мы с азартом взялись за работу. Целый день скоблили от старой краски стены ризницы. Ризница была маленькая — низенькая комнатка со сводчатым потолком, с двумя окошками, забранными железными коваными решетками. Пол каменный, выложенный большими плитами. Вход в ризницу был из алтаря. Церковь старинная, со стенами толщины невероятной и со сводчатым потолком. На стенах — суровые лики святых.

Студент-археолог дал нам клочок от вырванной из книги странички, где был, по его словам, ясно виден орнамент XVII века. Студент куда-то уехал, а мы остались без научного



руководства. На клочке бумажки с трудом можно было раздобыть какие-то завитки, листья, травы.

Мы развели колер для светлого фона и стали им красить стены. Стены пришлось окрасить два раза, и на это у нас ушло три дня. Вышло неплохо, но краска не сохла, и орнамент рисовать на ней было нельзя. Надо ждать два, три дня.

Тут появился отец Иван. Он был полной противоположностью отцу Федору. Небольшого роста, с красным курносом носиком, жиденькой белесой бороденкой и веселыми щелочками глаз. Он всегда был навеселе и в самом добродушном настроении. Этот-то попик и приспособил нас себе на пользу, а нам на развлечение. Он потащил нас к себе в дом, напоил чаем с ватрушками и уговорил ехать с ним в лесную контору за бревнами. Мы запрягли с помощью попика трех лошадей, сели на роспуски и отправились за двадцать верст в казенный лес. Мы сидели бочком на жердях, подстелив под себя клочок сена и свою куртку. На первой лошади ехал попик, на двух других — мы. Лошаденки весело бежали, попик пел песни, мы тоже что-то вопили, и все были счастливы.

Дорога шла лугами и перелесками — ровная, гладкая, упругая, как резина. Проезжая деревню, наш попик соскакивал с роспусков и стремительно забегал в знакомый ему домик и минут через пять выходил оттуда, жуя корочку, еще более веселый.

Тпрр, приехали! Большая поляна, три маленьких домика и штабеля бревен, досок, дров. На высоких козлах работают пильщики. Попик помчался в контору, а мы распрягли лошадей, спутали их и пустили на траву, а сами, подстелив под голову куртку, с удовольствием растянулись на траве.

Солнце уже собиралось на покой и последними лучами освещало вершины сосен. Лесной конек с песенкой поднимался вверх и с песенкой же опускался на ветку.

Но вот наконец все дела сделаны. Мы навалили на роспуски бревна, закусили ржаными лепешками, запрягли лошадей, и наш караван тронулся в обратный путь.

Солнышко давно уж закатилось. Наступила теплая летняя ночь. Лес окутался в сумрак, замолкли дневные птицы, затрещал козодой, да маленькая совка уверяла всех: «Сплю, сплю, сплю», а из лугов ей отвечал коростель: «Врешь, врешь» — и опять: «Врешь, врешь» — и так всю ночь.

Возы наши поскрипывают, колеса постукивают по корням. Мы сидим на бревнах и дремлем, качаясь на ухабах. К утру мы были дома. Усталые, полусонные, кое-как управились с лошадьми и стали ставить самовар. Это дело было мне внове. Я наложил углей, зажег лучину и заледенел от ужаса. Самовар мой запел таким странным голосом, так завыл, что я сразу понял — он без воды. Схватив ведро, я опрометью бросился к самовару. Обжигаясь, снял крышку и плеснул внутрь — оттуда вырвались клубы пара, и, о счастье, самовар крепко стоял на ножках и не валился набок.

Нам бы не расплатиться всей нашей работой, если бы он распаялся. Теперь скорее напиться чаю и спать. Когда мы проснулись, был уже вечер. Косые лучи солнца сказочно освещали паутину в окошке сарая. Над нами щебетала ласточка, и было слышно, как вокруг колокольни с визгом носились стрижи.

Начинать работу было уже поздно, и мы весь вечер проболтали с поповскими дочками.

Жили мы и столовались у церковного сторожа. Сторожиха кормила нас вкусными шами с кашей, а по утрам ставила на стол горячую запеканку из картошки с молоком. К чаю пекла ржанные лепешки или сочни. С нами у сторожихи столовался маляр Пахомыч. Он весь день висел, как паук на паутине, в своей люльке и белил колокольню. Пахомыч был опытный маляр, и он показывал нам, как надо смешивать колер, как разгонять кистью краску, чтобы она ровно ложилась на стену, сколько нужно налить в краску олифы. За обедом Пахомыч учил нас, как надо есть из общей чашки, как после каждого глотка класть ложку на стол, как над корочкой хлеба носить в рот полную ложку шей, когда можно брать из шей кусок

мяса. Все эти правила этикета мы с его помощью усвоили и теперь могли без конфуза пообедать в самой строгой артели.

Погода стояла чудная, дни были жаркие, ночи лунные, теплые — спать в избе или в сарае не хотелось. Кладбище было рядом, и мы, подостлав половичок или какую-нибудь ветошку, устраивались на могилках.

А как-то раз мы крепко заснули на церковной паперти и проснулись только тогда, когда солнце ярко светило и вокруг нас, к нашему смущению, стоял народ. Бабы, девки, смеясь, смотрели на нас, и по нашему адресу отпускались веселые шуточки. Спешно забрав свои одежки и постель, мы под веселый хохот стрелой умчались в сторожку. Оказалось, что в этот день был праздник, и бабы собрались спозаранку (шут их принес!), когда еще церковь не отпирали.

В ризнице стены подсохли, и мы стали разбивать их веревочкой на квадраты, выяснять середину. Я принялся углем и мелом рисовать орнаменты. На потолке были изображены летящие птицы. Кругом, по верху стен, был пояс из переплетенных трав и цветов, ниже я закручивал завитки, листья, небывалые цветы, сказочных птиц с длинными хвостами, с распушенными крыльями, с невероятными хохлами. Научного руководства не было, и я давал волю своей фантазии.

Фомка восхищался моей работой, восхищались ею и дочки отца Федора. Слава моя начинала греметь. Пришел Пахомыч и удивился смелости моей руки.

— Как же это ты без трафарета чертишь? И не ошибаешься... Чудно...

По нарисованному контуру мы вдвоем принялись краской закрашивать листья и цветы, обводить их черным и синим и кое-где вкрапливать киноварь и крон.

Проходили дни напряженного труда, и стены нашей ризницы ожили и заиграли. Наша слава уже гремела на весь мир. Пришел сам отец Федор. Долго смотрел на нашу работу.

— Замысловато, но великолепно и храм украшает.

Дело сделано. Сделана моя первая, и последняя, работа в церкви. Мы проработали две недели и получили 15 рублей. Нас, по словам отца Федора, не обидели. Мы расплатились со всеми долгами, и у нас еще осталось 2 рубля 15 копеек свободного капитала.

Ну что ж, пожили на лоне природы, посмотрели новых людей, попробовали свои силы.

А как хороши были вечера на погосте! Сидим на могилках и слушаем, как из села доносятся протяжные русские песни. Сильные девичьи голоса плывут по росистым лугам, по бескрайним просторам полей. Век бы сидел и слушал и вдыхал бы этот воздух, напоенный ароматом цветущей ржи, скошенных трав.

Не знаю, сохранилась ли наша роспись до наших дней, но мы писали добротю, писали на века.

А может быть, и сохранилась. Может быть, какой-нибудь ученый-турист смотрит на нее и не может понять, в каком веке она сделана? Уж не в семнадцатом ли?





ШКОЛА ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА

В августе 1898 года я приехал в Москву и подал заявление в Училище живописи, ваяния и зодчества. Узнал, когда назначены экзамены, и прежде всего помчался в Третьяковскую галерею, где я провел целый день в бредовом восторге.

Знакомые по репродукциям картины предстали передо мной в новом, прекрасном виде. В те времена Третьяковская галерея была гораздо меньше и носила характер жилых комнат, и картины были развешаны не так, как теперь, а по вкусу самого Третьякова. На другой день я пошел в зоосад. Сад был маленький и очень бедный, но мне он показался и большим, и интересным. Не скоро можно осмотреть Москву, и много дней я бродил по Москве, по ее музеям, по ее магазинам, по ее историческим местам.

Наступил день экзаменов. С громадными папками мы заняли места и начали рисовать геометрические тела. Нам поставили куб, шар и конус. Комбинацию из этих фигур. Рисовали три дня. Потом были выставлены наши рисунки с оценкой. На моем была I категория. Значит, я принят. Я поступил в оригинальный класс. Настал день занятий. Двери в класс закрыты. Там профессор ставит натуру. Мы, ученики, ждем у закрытой двери. Вот сторож открывает ее, и все мы

опрометью бросаемся занимать места. Все стараются занять поближе к натуре, с более интересным освещением. Натура — это гипсовый кусок уха, или носа, или глаза статуи Давида или какой-нибудь другой фигуры, или капители. Этот рисунок мы рисуем две недели. Потом сдаем его, и на другой день наши рисунки уже вывешены по стенам, и на них стоят отметки. I, II, III категории. В нашем классе преподавал Н. А. Касаткин. Мне эти гипсы скучны до тошноты. Меня тянуло в зоосад к живой натуре, к живой природе. Я не мог понять, зачем это надо две недели тщательно оттушевывать кусок гипса, добиваясь полного сходства.

В курилке в обеденный перерыв царит оживление. По курилке ходит наш атлет Мясоедов, сын академика. Он носит на своих могучих плечах трех человек. Как-то он просунул железную кочергу в массивные ручки актового зала и закрутил кочергу, после чего ушел домой. Как ни бились сторожа, раскрутить не смогли. Пришлось звать слесаря и распилить кочергу.

Ученики Школы живописи в большинстве были народ небогатый, собравшийся из разных уголков нашей родины. Тут были и украинцы, и сибиряки, и татары, и армяне. Костюмы были на многих крайне потрепанные, шевелюры частенько лохматые. Возраст тоже весьма варьировал — от бородачей, даже с проседью, до юношей шестнадцати — семнадцати лет. Приходили утром, вешали своё пальто, ставили калоши и шли работать. В раздевалке никакого сторожа не было, но никогда ничего не пропадало. Можно было оставить на окне или на столе какую-нибудь вещь, ну, скажем, портсигар или книжку, и не было случая, чтобы она пропала. В перерыв собирались в курилке, пили чай, ели бутерброды, которые Моисеевна резала и украшала вареной колбасой, пели песни, курили.

Был у нас живой портсигар — Кирюша. Кирюша, он же Петя Кириллов, был довольно обеспеченный человек — у его отца была маленькая домашняя фабричка грунтованного холста. На этом холсте мы большей частью и писали этюды. Кирюша всегда имел полный портсигар папирос, и всем желающим и неимущим он любезно его предлагал. Кирюша был очень скромный, застенчивый паренек из подмосковной деревни. Как-то раз ему удалось на этюде написать ворону в поле, и дальше этой вороны он не пошел.

Выдающейся фигурой был Вася Беляшин. Это был талантливый человек и вместе с тем личность историческая: с ним, как с гоголевским Ноздревым, всегда случались истории. Натура его, неуравновешенная, буйная, не укладывалась в строгие, житейские рамки. То он скакал верхом на извозчицкой лошади и извозчик лупил его кнутом, то он бросался отнимать у пьяного мужа жену, которую тот колотил, а потом и муж, и жена вдвоем колотили Васю. Много было историй. Вася учился у гравера Матэ, и ему присудили заграничную поездку. Получил Вася полторы тысячи и напутственные наставления, положил деньги в гитару и день ото дня откладывал поездку. Деньги таяли. Их осталось уже только одна тысяча. Нет, не тысяча, а пятьсот. Наконец Вася уехал. Туго пришлось ему в Париже. Деньги растаяли окончательно. Ни на еду, ни на дорогу. Выручил его Левитан.

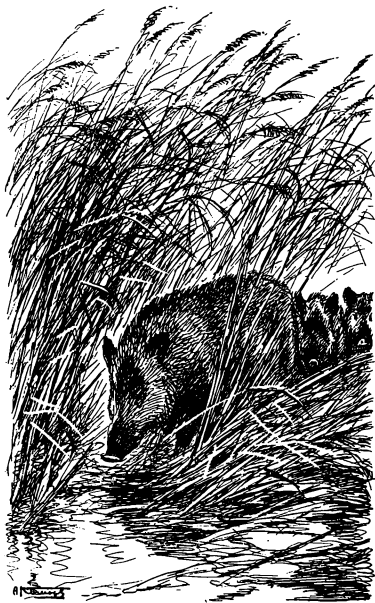
Вот Петр Иванович Келин — рязанский мужичок, а с виду настоящий итальянец. Келин — хороший портретист, и его в шутку называли «Серов для бедных».

У Туржанского очень хороший колорит, и он прекрасно komponует картину. Он небольшого роста, брюнет с лысинкой, говорит он быстро, неразборчиво. Бормочет. Он у нас под кличкой Тетерев. Туржанский писал наши русские унылые пейзажи и оживлял их унылыми, убогими лошадьми.

Вспоминается мне также магазин Надежина на Мясницкой. Там мы, художники, покупали этюдники, краски, кисти, холсты и пр. Если не было денег, Надежин верил нам, и мы всегда отдавали свои долги.

У меня до сих пор сохранился этюдник и мастихин, которые я купил у Надежина, когда поступил в училище.

Я в Школе живописи проучился два года и променял ее на леса, на гончих, на зайцев. В жизни почти каждого человека бывает дикий, волчий период. Такой волчий период был и у меня. Он захватил меня целиком, и я не мог ему сопротивляться. Все было позабыто. Все было принесено в жертву богине Диане. Тетерева, зайцы, лисы, волки были моими божествами, и я им поклонялся. Теперь я вспоминаю это время, вспоминаю охоты, поездки, бури, ливни, костры, метели и думаю — было ли это время потерянным или оно как-то сформировало, укрепило мою любовь к природе? Я жил волчьей жизнью и впитал в себя аромат лесов, краски, звуки, самую душу природы, и вот теперь на склоне лет эта душа водит моей рукой и возрождает былое. Мог ли бы я писать





эти пейзажи и зверей, если бы жил постоянно в городе, в культурной обстановке? Конечно нет.

В Школе живописи в те времена еще не было леваческих заскоков, и в мастерских писали по старинке, как передвижники, но всякие «измы» уже начинали давать ростки, и стали появляться выставки «Бубнового валета», «Ослиного хвоста» и т. п. Бурлюк, Ларионов, Гончарова и другие уже вели за собой молодежь.

Образовалось общество «Мир искусства». Открылась новая красота импрессионизма. Искусство, позволяющее зрителю довершать изображение, активно участвовать в картине. На первый план вышли Серов, Врубель, Коровин, Кустодиев, Сомов и др. Передвижники потускнели, их нравоучительная тематика наскучила, их колорит уже не казался правдивым. Всем хотелось чего-то далекого от будничной жизни, дальше от Перова и Маковского. Васнецов с головой уходит в былины, Нестеров пишет молитвы. Сомов, Судейкин, Борисов-Мусатов мечтают о пастушках и пастушках, о кринолинах и маскарадах.

Мне нравились мирискусники. Я восхищался Серовым, Коровиным, Кустодиевым и другими, но я не подражал им. Я любил природу, я любил животных. Я любил русскую при-

роду и русских животных. В зоосаду я рисовал наших зверей, волков, лосей, медведей, лисиц. Меня не прельщали слоны и бегемоты — это были для меня знатные иностранцы, и я не мог с ними дружески разговаривать — я не знал их языка.

В издательстве Мириманова я познакомился с Василием Алексеевичем Ватагиным. Это милейший человек и невероятно трудоспособный, талантливый художник. Ватагин как раз любит чужеземную экзотику — слонов, обезьян, бегемотов. Мы как-то невольно разделили фауну. В то время анималистов было очень мало. Чуткий художник, охотник и поклонник родной природы был А. С. Степанов. Он знал нашу русскую охоту, и у него много охотничьих картин. Мне приходилось работать с ним рядом в зоосаду, в мастерских Школы живописи и у знакомых охотников. Это был добрейший человек и приятный собеседник. В те далекие первые годы революции мне пришлось познакомиться с Борисом Иогансоном, с которым мы работали у Мириманова, с Александром Герасимовым, с которым работали в издательстве Учпедгиза, с Аркадием Пластовым и многими другими.

АУКЦИОН

Все ученики Школы живописи и ваяния, или почти все, страдали денежным голодом и старались изобрести всякие средства, могущие принести жалкие грошики в пустые карманы. Одним из таких средств была продажа с аукциона халтурных картинок. Плохонькую картинку вставляли в лепную золоченую раму, покрывали лаком и с выдуманной фамилией вешали в аукционном зале. Картинки были в большинстве случаев небольшие, изображающие веселенький пейзаж или жанр из деревенской жизни. Рамы, широкие, лепные, с красивым орнаментом, изготовлял нам за недорогую плату Богач. Частенько даже он делал их в счет будущей продажи. Мы снимали на три — пять дней какое-нибудь пустующее помещение на людной улице, развешивали в нем свои картинки в пышных золоченых рамах, нанимали сторожиху, писали на кумаче вывеску, и публика валила туда валом. Какая публика? Конечно, не та, что покупает картины на художественных выставках, что подъезжает на своих экипажах, даже не та, что хотя и не покупает, но что-то понимает в искусстве; нет, тут была публика из дешевых квартир, из маленьких

комнаток, оклеенных дешевенькими обоями, публика, которая стремилась украсить свое убогое жилище не базарной пошлятиной, а все же чем-то, хотя и не первоклассным, но близким к искусству. Публика долго, не спеша, осматривает картины, что-то записывает в книжечку, что-то намечает для будущего аукциона. Вот ходит старик с большой бородой, в очках. Он долго и пристально разглядывает мой акварельный пейзажик с пьющими коровами. Пейзажик не в пышных рамах, а в паспорту под стеклом. Старик свертывает трубочкой газету и смотрит через нее. У меня замирает сердце — купит или не купит? Старик отходит с равнодушным видом. Не купит...

Художники тоже толкуются тут и искоса поглядывают на свои картины, подмечая, какое они привлекают внимание у публики. Вот ходят две старые интеллигентки. Скорей всего, это бывшие учительницы. Они смотрят на картины чисто платонически. Денег у них нет, да и вешать картину в их комнатах негде. Так смотрят. Им больше нравятся жанры. Идеологически выдержанные. Вот ходит молодая пара — это, конечно, молодожены. Им необходимо украсить свое гнездышко. Они с завистью посматривают на раззолоченные рамы с натюрмортами из цветов и фруктов, но цена немножко пугает — по 10 рублей. Если на аукционе никто не набавит, то еще можно купить, а если набавят?

Часто забегает посмотреть картины молодежь. Торопливо бегают от картины к картине, смеются, спорят. Через два дня аукцион... Это волнует, как игра в карты. Нет, это, скорей, похоже на тотализатор... Лошадка бежит... Бежит крупный вороной жеребец. Быстро мелькают забинтованные белыми бинтами ноги. На храпу белый мех, на глазах шоры. Беги, беги, еще наддай!! Дай ему хлыста! Но наездник натягивает вожжи. Он сдерживает его... Жеребец горячится и, того гляди, пойдет вскачь. Публика волнуется, кричит, свистит. Гляжу, моя лошадка поравнялась с передней и уже идет вровень, голова в голову. Ну, поддай еще! Еще немножко! Удар хлыста, и перед финишем моя лошадка вырвалась на целый корпус. Так и на аукционе.

Вот она стоит на мольберте, моя картинка. Пойдет ли она? Она пошла... Три рубля, три с полтиной, четыре, пять. Кто больше? Один раз пять, два раза пять, три — шесть рублей, семь, десять! Кто больше? Двадцать, тридцать, пятьдесят... Кто больше? Раз пятьдесят, два пятьдесят, три. Справа

за вами — тук... Это с трех-то рублей до полсотни. Мое сердце так и плавает в меду. Товарищи поздравляют, завидуют.

Помню, на одном аукционе была очень хорошая картинка — натюрморт «Цветы», с пятнадцати рублей она дошла до ста двадцати. Вообще на этих аукционах картины раскупались очень хорошо, и некупленных было очень мало. Так, какие-нибудь уж очень серые, скучные. После аукциона шли в какую-нибудь пивнушку и выпивали в дружеской беседе по одной-две кружки черного «вальдшлешен». Такие аукционы бывали не больше одного раза в год, а когда была неотложная нужда в деньгах, можно было отнести свою картинку к Доццаро или Аванцо, и у них она могла продаться. Брали они по десять процентов, что казалось тогда чуть что не грабежом.

ДОМ С КОЛОННАМИ

Это было давно, очень давно... Это было в... В каком же это было году? Мне было тогда... ну да, мне было лет девятнадцать, не больше.

А теперь я старик, хожу с палочкой... Вот и считайте. Словом, это было в те года, когда еще не летали аэропланы, не кричало радио, не отнимал время телевизор и никто еще не залезал на Луну. Тогда человеку не грозила атомная и бактериальная война, тогда воздух был чист и прозрачен и в реках плавала рыба.

Я был еще шенок, долговязый, неуклюжий, с красными руками, очень застенчивый, до боли краснеющий. В незнакомом обществе я чувствовал себя весьма неловко. Мне все казалось, что надо мной смеются, и я совершенно терялся. Признаюсь — я очень мало походил на героя романа.

В это время меня пригласил к себе в имение редактор-издатель журнала «Семья охотников» Сергей Владимирович Озеров.

Дело было так: я отослал Озерову мои первые рисунки для журнала на заданные темы. Темы были из псовой охоты. В ответ я получил письмо: «Милостивый государь, Алексей Никанорович! Ваши рисунки, несмотря на хорошее мастерство исполнения, в журнале помещены быть не могут. Это не борзые собаки, а какая-то помесь кота с лягушкой. Вы, я думаю, никогда не видели борзых собак. Эти собаки не сравнимы ни с какими другими. Если Вы располагаете временем,

приезжайте ко мне в Свиридово. Здесь Вы близко познакомитесь с борзыми и гончими собаками. Телеграфируйте свой приезд, и я вышлю за Вами лошадь на станцию Венев. *Озеров*.

Я знал, что редакция находится в имении Озерова и состоит всего из двух человек — самого издателя и главного редактора Сергея Владимировича Озерова и секретаря Саши Тарскова. Озеров писал рассказы для своего журнала, вел переписку с сотрудниками и воевал с журналом «Охотничий вестник», который издавался владельцем Оружейного магазина Тарнапольским. Озеров печатал журнал в Туле, куда два раза в неделю из Свиридова посылалась подвода и иногда ехал Саша Тарсков.

Журнал этот был, конечно, барской затеей, но он все же окупался несколькими сотнями подписчиков.

Через два дня я уже выходил на станции Венев из вагона с маленьким чемоданчиком в руке. Вижу, стоит тарантасик и рядом молодой парень. Спрашиваю: «Не от Озерова ли?» — «Так точно». Поехали. Это совсем близко — верст пять, не больше. Вот и Свиридово.

На горе белый барский дом с колоннами, вниз к реке спускается старый парк с большими толстыми липами. На балконе, прижавшись к колонне, стоит девушка и с ней борзая собака. Стоят, смотрят куда-то вдаль, должно быть, кого-то ждут. И дом с колоннами, и эта девушка с борзой собакой были так поэтичны, так просились на картину, что навсегда запомнились мне. В них было что-то трогательное, немного грустное...

Подъезжаем к дому со стороны двора. В передней встречает меня полная женщина — сама хозяйка имения. Из двери выходит мужчина барского вида с широкой бородой на две стороны, с густыми черными бровями, красивый, высокий. Я вежливо кланяюсь.

— Здравствуйте, здравствуйте, художник. Давайте знакомиться! Это вот моя жена — Настасья Ивановна.

В этот момент из другой двери вышла стройная девушка лет пятнадцати — шестнадцати, та, что стояла у колонны, и с ней вбежала красавица борзая в бисерном голубом ошейнике.

— А это вот баловница дочка Леля, — добавил Озеров. — Вот и вся моя семья, а теперь идемте обедать, там я вас познакомлю с нашим секретарем Сашей. Он вам все расскажет, все покажет.

За обедом я, конечно, смущаюсь, краснею, нож и вилку держу не так, говорю тоже не так и сам себя ненавижу за свою застенчивость.

Прямо передо мной сидел Озеров, а рядом с ним Леля. Свет из окна падал на ее лицо, она даже немного жмурилась от света.

«Да ведь это очень красивая девушка, — подумал я, — у нее темно-серые глаза, густые черные бровки, на щеках заметный пушок, как на пчелке, и яркие полные губы. Она очень похожа на отца, у нее такие же красивые тонкие пальцы, такие же породистые руки».

Со мной рядом сидела Настасья Ивановна. Это русская простая женщина, с лицом приятным, добрым, с голубыми глазами, с пышной русой косой, закрученной на затылке, довольно полная, свежая, с приятным, ласковым голосом. У Лели от матери был только голос, и больше ничего. Настасья Ивановна с русским хлебосольством подкладывала мне на тарелку лакомые кусочки и добродушно угошала. Взглянув на Лелю, я поймал ее взгляд. Внимательный, испытующий взгляд.

Этот взгляд смутил меня совершенно. Я потерял дар речи и уткнулся в свою тарелку. В это время ко мне подошла Лелина Яшма и положила свою изящную головку ко мне на колени.

— Как странно, — сказала Настасья Ивановна. — Яшма ни к кому чужому не подходит, а вот вас она почему-то любила...

За столом, кроме семьи Озерова и меня, сидел еще молодой человек, блондин в охотничьей бекеше с приятным русским лицом. Он посмотрел на Яшму.



— Собачника почуяла — вот и ласкается, — сказал он. Это и был Саша — секретарь редакции и доверенное лицо Сергея Владимировича.

Обед, слава Богу, кончился, и я с Сашей отправляюсь на псарню. Саша берет арапник, без которого не полагается ходить к собакам, и идем мимо конюшен, каких-то сараев, мимо фруктового сада. Псарные дворы спускаются к берегу речки. Один для борзых, другой для гончих. Они ограждены плотным забором, но с верхнего края двора далеко видно и речку, и лес на том берегу, и поле. За речкой, как говорит Саша, живет лиса. Ей видно собак, и собакам видно лису. Увидят собаки, как гуляет на том берегу лиса, и мчатся вниз к реке, а там забор и ничего не видно. Они сверху летят, и им опять видна лисичка. Снова мчатся вниз, опять забор, и так пока лисичке угодно прогуливаться по лесу.

Подходим к домику возле псарного двора. Саша хлопает арапником. Из домика выходит пожилой человек в полушубке.

— Здравствуйте, Данила Иванович, — говорит Саша. — Это вот к нам приехал из Москвы художник, будет рисовать для журнала. Собак будет рисовать, так вы ему помогайте.

— Ладно, — бурчит Данила Иванович. — К собакам, что ли?

Он отворяет калитку на псарный двор. Входим. К нам со всех сторон бегут борзые. Они приветливо машут хвостами и, изгибаясь, трутся об наши ноги.

Первый раз в жизни я видел собак в таком количестве и таких необыкновенных. Так вот они какие, эти борзые собаки! Этих действительно ни с какими другими не спутаешь. Я с восторгом смотрю на них, глажу их шелковистую псовину и люблюсь их легкими, ловкими движениями, их побежкой, как на пружинках. Данила Иванович ведет нас поглядеть на гончих. Идем мимо каких-то дворов, мимо громадной горы лошадиных костей. Нас провожают борзые и гончие щенки. Они числятся в щенках и пользуются правом гулять на воле до полугода, а там их запрут на псарном дворе вместе со взрослыми собаками. Несколько щенков борзых и гончих лазают по горе лошадиных костей и с треском отрывают присохшие лоскуты мяса и сухожилий.

Входим во двор к гончим. Две-три собаки залаяли, остальные не обратили на нас никакого внимания. Почти все они были рыжие, у некоторых на спине было темное или черное пятно — чепрак, у иных были белые места на голове или лапках. На взгляд непонимающего человека, они производили впечатле-

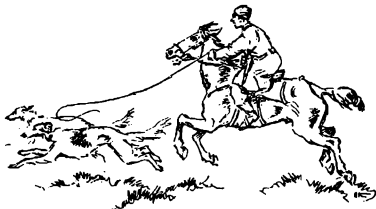


ние грубоватых непородистых собак. Саша объясняет мне их достоинства, их экстерьер.

— Вы посмотрите, — говорит он. — В них есть что-то волчье — и глаза немного раскосые, и голова клином, но вот ухо у них висячее, небольшое, треугольное. Спина немного покатая к заду и гон (хвост) серпом. Смотрите, какая грудь глубокая. А ширина груди!

Саша подзывает Вопилу, старого осанистого выжлеца. Мы разбираем его по косточкам: и грудь, и голову, и черные мяса. Могучий выжлец все безропотно переносит. Хороши гончие собаки, но меня все же тянет к борзым, и мы опять приходим к ним. Саша подробно объясняет мне, как у борзых должно быть затянута ухо, как, упаси Бог, не должно быть перегиба от лба к носу, какой большой порок подуздоватость, а спина должна быть без переслежины и с напружиной, задние ноги должны быть в курке, правило (хвост) серпом с длинным подвесом и не заваленным набок. Окрас у борзых желателен такой же, как у южнорусских овчарок: то есть снежно-белый, серо-пегий, половой, муругий, но не черный, не кофейный. Русские густопсовы борзые имеют кровь южнорусских овчарок; от них они получили густую, шелковистую, завитую в кольца псовину, храбрость и злобу. Русские борзые ловят накоротке, пылко. Это необходимо для средней полосы России, где поля чередуются с лесами, кустарниками, овражками. Тут нельзя долго скакать за зверем — он как раз уйдет в кусты, в лес.

— Вы обратите внимание на лапу борзой — ведь это русачья лапка, сухая, тонкая, такой лапкой могут похвастаться только высокоблагородные борзые собаки. Они ведут свой род от собак, с которыми охотились на антилоп египетские фараоны, а потом, в средние века, на оленей и кабанов мо-



гущественные феодалы, а у нас, в Древней Руси, наши русские цари и бояре.

С Сашей я подружился, и от него, и от Сергея Владимировича Озерова я много узнал и о собаках, и об охоте.

На мое счастье, в это время доезжачий подвыл в Веневской засеке волчий выводок. Его надо было проверить, и тогда, вы только представьте, я буду на охоте, на псовой охоте, и увижу, как борзые собаки берут волка, услышу рев стаи гончих, сам буду скакать на лошади за зверем!

Эти мечты захватили меня целиком. Я весь был полон будущей охотой. Я не мог рисовать, я, как в тумане, бродил по комнатам. Леля вылетела из моей головы, и когда я встречал ее взгляд, удивленный и тревожный, я стремился куда-нибудь скрыться. Я боялся ее взгляда.

Недалеко от Свиридова начинались казенные леса — засеки. Эти леса тянулись на сотни верст, и в них водились всякие звери. Проверять волчий выводок поедет Данила Иванович. Я прошу Озерова, чтобы он позволил мне поехать с Данилой Ивановичем.

— Поезжайте, художник, поезжайте. Это вам посмотреть надо — пригодится в будущем. Только договоритесь с Данилой. Он у нас мужик сурьезный и в охоте баловства не любит. Феня, позови сюда Данилу. Мне с ним поговорить надо.

Входит Данила Иванович. Я, конфузясь и путаясь, прошу его взять меня с собой на подвывку.

— Ладно, поедем... Только вот что, парень,— молчи... Сиди и молчи и ни на шаг... Понял?

— Сегодня вечером поедете,— говорит Саша.

Я жду нетерпеливо. Когда же? Скоро ли? Уже наступает вечер. Смотрю в окно на двор. Ходят какие-то бабы. Проехала телега. Из конюшни вывели трех лошадей поить у колодца. Жду. Наконец-то! Из-за угла выехал верхом Данила Иванович, и в поводу у него заседланная лошадь. Пулей вылетаю на двор, вскакиваю на лошадь, и уже в моем воображении целая картина — волки нападают на нас, мы отбиваемся от них арапниками, мы скачем что есть мочи, а они мчатся за нами, прыгают, хватают за горло лошадей, и только наша невероятная храбрость и сила спасают нас...

Едем через деревню и потом напрямик через поля к темнеющему вдаль лесу. Солнышко закатилось; и небо горит золотыми облачками. Данила Иванович молчит и, видимо, не очень рад моему соседству. Я тоже молчу и стараюсь держаться в трех шагах от его лошади и чуть позади.

Подъезжаем к лесу, немного проехали лесной дорогой и выехали на большую поляну, потом спустились в широкий овраг. Данила Иванович остановился, прислушался, легко спрыгнул с лошади, постоял, погрозил мне кулаком, чтобы я не шевелился и молчал, а сам нагнулся и, держа руки трубой у рта, глухо завыл. Если бы я не видел его перед собой, совсем рядом, я бы никогда не подумал, что это воет человек. Волк, самый настоящий волк! С низкой басовой ноты вой поднимается все выше, выше, все тоскливее, тоскливее. Далеко по лесам и полям разлилась эта волчья песня.

Мы стоим, слушаем. Тишина. Голый лес не шелохнется. Только в деревне, услышав волчий вой, завывли, залаяли собаки. Прошло минут пять — десять. Данила Иванович повторил свою песню, и в кустах что-то зашуршало, и сразу в несколько глоток с визгом, щенячьими голосами завывли молодые волки. На поляну выбежала волчица, а за нею пять крупных прибылых. Увидев нас, волчица оскалилась и зарычала. Данила Иванович, не спеша, сел на лошадь, и мы шагом повернули к дому. Волки проводили нас немного и отстали.

Я был наверху блаженства. Подумать только — я своими глазами видел в лесу диких, вольных зверей. Это не зоологический сад, где сидят за решеткой несчастные пленники. Это настоящие, дикие волки. Я смотрел на них, и они смотрели на меня и, наверно, с удовольствием скушали бы меня.

Навсегда осталась в памяти эта картина: в вечернем сумраке голый, осенний лес. Старик охотник на лошади и злобно оскалившаяся волчица с молодыми, но уже с крупную собаку ростом, волчатами. Это я никогда не забуду и, быть может, когда-нибудь напишу.

Волчий выводок проверен. Волки тут, близко, и надо завтра же их брать. Так говорили, спорили и обсуждали будущую охоту в семье Озерова.

Настасья Ивановна, на удивление, оказалась яркой борзятницей и приказала завтра рано утром подать к крыльцу ее киргиза и на своре Стреляя с Кидаем. Для Саши и для меня тоже были заказаны лошади. Саша поедет со сворой, а мне, как полному невежде в псовой охоте, конечно, собак не дадут. И правильно. Еще перетопчешь собак лошадьё, да и без собак я могу свободнее поспевать туда, где будет травля, где я могу увидеть интересные картины. Что-то будет? А если волки не станут дожидаться завтрашнего дня? Возьмут и сегодняшней ночью уйдут за пятьдесят верст. Эти мысли терзали меня. Наверно, я плохо спал эту ночь. Рано утром я уже был одет, когда вошел Саша и дал мне свой полушубок. В городском пальтишке я был бы очень смешон на лошади. Еще было темно, когда стая гончих с двумя выжлятниками ушла в поле. Настасья Ивановна в кожаной куртке и в юбке-штанах вышла на крыльцо. Стреляй и Кидай сразу бросились к ней. Она дала им по кусочку пирога. Они терлись головами об ее колени и старались лизнуть в лицо. Она ловко села на своего киргиза, и вся охота тронулась.

Данила Иванович галопом поскакал вслед за ушедшими гончими. Настасья Ивановна, Саша, три борзятника и я шагом тронулись вслед за Даниилом Ивановичем. На опушке леса он нас встретил и сипящим шепотом стал давать указания, куда кому становиться. Я не отставал от Саши, и мы стали на углу леса, недалеко от оврага. Саша показывает мне арапником, где, по его мнению, выскочит волк. Мне дали какую-то старую, толстую клячу, и она, как только останавливалась, сейчас же засыпала. Даже иногда подхрапывала. Я сломил ивовый прутик в надежде, что, когда это понадобится, я сумею ее разбудить. А пока спи. Тишина. Только где-то дятел стучит да в далекой деревне чуть слышно поют петухи. Мне видно только одного Сашу. И он, и его конь, и собаки неподвиж-



ны — как изваяния. Со стороны оврага вдруг взвизгнула собака, другая, третья. Послышался голос Данилы Ивановича, но где-то очень далеко. Он кричал что-то. Мне было слышно только «му-у». Слева от меня из леса выскакал выжлятник, карьером помчался вдоль опушки и скрылся за кустами. Сашины собаки натянули свору, насторожились. Голоса гончих приближались. Много голосов. Вдруг Сашины борзые сорвались со своры и понеслись вниз к оврагу. Сашин конь заплясал на месте и тоже помчался вслед за собаками. «Улю-лю!» — кричит Саша. Я кое-как прутом разбудил свою лошадку и тоже рысцой затрусил вниз к оврагу. Вижу, мне навстречу что-то бежит, и сначала даже не понял, и вот в десяти шагах от меня бежит волк. Из кустов вылетела борзая и рванула волка за заднюю ногу. Он осел, но сейчас же справился, вскочил, огрызнулся, но в этот момент знакомый мне муруго-пегий кобель Терзай с налета грудью ударил волка и злобно вгрызся ему в ухо, и вот уже три собаки прижали зверя к земле. Подскакал Саша, прыгнул с лошади, но к зверю не подходит, а как-то топчется возле. В это время из кустов карьером выскакал выжлятник Мишка и с лошади кубарем кинулся прямо на собак и, нагнувшись между ними, крепко ухватил волка за шиворот и прижал к земле, потом коленкой наступил ему на шею, выхватил кинжал и по рукоятку воткнул

в бок зверю. Собаки, почуяв кровь, еще азартнее вцепились в волка и стали все глубже захватывать его горло. Все было кончено. Мишка вытер кинжал о траву и, ухмыляясь, посмотрел на Сашу.

— Во, и без Данилы Ивановича управились.

Когда собак взяли на свору, перед нами лежал прибылой волчишка. Сильный запах шел от него, мускусный запах. Его ни с каким другим не спутаешь. Три гончих собаки выбежали из леса, опасливо поглядели на волка и скрылись. Приторочили волка к Сашиному седлу.

И вот в тишине леса до нас донеслись и порсканье выжлятника, и рев собачьей стаи. Охотники вскочили на лошадей. Я разбудил свою лошадку и потрусил вслед за Сашей. Стая редела где-то совсем близко, но скоро гон стал удаляться и совсем затих в лесной дали. Саша куда-то скрылся. Я остался один в лесу и поехал наугад по мелкому осиннику. Вскоре я напал на лесную дорогу и поехал по ней. Лес стал редеть, слышались голоса, и сквозь деревья я увидел Настасью Ивановну и одного борзятника и опять почувствовал сильный мускусный запах — запах волка. Подъехав к ним, я увидел, что борзятник старается положить волка на спину своей лошади. Лошаденка вертится, храпит, опасливо косится на зверя. Борзятник мочит руку в волчьей крови и мажет ею ноздри коня. Конь испуганно храпит, встает на дыбы, но все же скоро привыкает к запаху крови и успокаивается. Волка приторачивают к седлу. Собак берут на своры.

— Алексей Никанорович, очень жаль, что вы не видели, как мои собаки взяли волка. Они и одни бы справились с ним, да вот Федя тут был, так и его собаки вцепились.

Настасья Ивановна очень довольна, что ее любимцы Стреляй и Кидай показали себя молодцами. Это два богатыря, оба снежно-белые в густой завитой в кольца псовине. Красавцы! Подъехал борзятник Василий.

— Что будем делать, Настасья Ивановна? Вся стая Данилы Ивановича и выжлятники за старухой ударились и со слуха сошли. Видать, не скоро вернутся. Старуха-то всю стаю на себя набрала и отвела от волчат. Таперича навряд травить будем.

— Надо подождать,— говорит Настасья Ивановна, и все мы стоим, ждем, слушаем. В лесу тишина, только где-то в

глуши поссорились сойки, а если сойки ссорятся и кричат, значит, все покойно, никаких врагов нет.

— Чего ждать-то будем? Раньше вечера собак не воротить, — ворчит Федор.

Но мы стоим, ждем. Больше всех этому радуется моя лошадка. Она заснула сладким сном.

— Едем домой! — раздается приказ Настасьи Ивановны.

Вся охота трогается через поля домой в Свиридово к большому дому с колоннами.

Настасья Ивановна и Саша охотой не довольны. Из шести подвытых волков взяли только двух, и вот теперь когда еще удастся вернуть стаю. На беду, еще Стреляй захромал — ушиб, наверно, о дерево ногу.

Но я доволен, я бесконечно доволен. Я видел настоящую охоту, охоту с борзыми на волка. Много ли людей видели эту «бешеную забаву». А я видел, да своими глазами видел.

Я живу в семье Озерова пять или шесть дней. Я немного привык к ним и уже не так конфужусь. Я рассказываю им про Школу живописи, про художников, про свой хуторок Марьино пустошь. Сергей Владимирович обсуждает со мной темы для иллюстраций в журнале. Я делаю эскизы будущих рисунков, и Сергей Владимирович уже хвалит мои наброски и даже удивляется, как это я так скоро понял и выучил борзую и гончую собаку. Удивляться тут нечему — я полюбил их, а этого довольно, чтобы запомнить, и крепко запомнить.

Настасья Ивановна — женщина очень добрая, простая, всегда со мной ласкова, приветлива. Леля — баловень семьи. Все ее желания и капризы исполняются беспрекословно. И все же эта Леля, эта дочка богатого помещика, несмотря на постоянную заботу о ней, на богатую жизнь, была в свои пятнадцать лет несчастным существом, существом одиноким. Она жила как бы на необитаемом острове — ни подруг, ни сверстников — никого, с кем бы она могла поговорить, поделиться своими мыслями. Одна, всегда одна. Она читает запоем все книги, какие ей попадаются на глаза. Книжные шкафы в ее полном распоряжении. Она читает романы, такие романы, какие бы ей еще рано читать. Эти романы ей, еще ребенку, наполняют юную головку странными мыслями, непонятными желаниями. Она читает Пушкина, Лермонтова, Мопассана, Доде, Золя, она насквозь пропитана романами.

Герои романов царят в ее голове. Онегин и Печорин, Дубровский и Хаджи-Мурат занимают все ее мысли. Все в ней подготовлено, чтобы встретить героя в жизни. И вот перед ней молодой, кудрявый, не дурной лицом человек. Пусть он не ловок, пусть бедновато одет, пусть он очень застенчив — это не имеет значения, на то есть фантазия, на то есть юная кровь, страстное желание, и перед ней герой, настоящий герой. Рыцарь без страха и упрека. Остается только влюбиться в него. И она влюбляется. Влюбляется в меня, на мое смущение и страх.

Как-то я рисовал с Яшмы, и Леля смотрела на мою работу и изредка взглядывала на меня, и легкая полуулыбка скользила по ее губам.

— Вам нравится? — спросил я.

Она чуть-чуть кивнула.

— Возьмите себе... Пожалуйста.

Леля дает мне карандаш:

— Подпишитесь и напишите что-нибудь...Что-нибудь от души, от сердца!

— Елене Сергеевне на добрую...— начинаю я подпись.

Леля хватает мой карандаш.

— Нет, это не годится. Это глупо и скучно. Напишите только «Леле», и все.

Она поглядела на меня долгим, чарующим взглядом и отвернулась.

Вечерами я сижу в гостиной и при свете большой лампы рисую для журнала по заданию Сергея Владимировича. Часто он сидит рядом, смотрит, как я рисую, и делает дельные указания. Леля всегда сидит рядом со мной и, когда нет тут отца, шепчет мне: «Я вас люблю». И смотрит, смотрит не отрываясь на меня. Я смущаюсь, я не могу рисовать. Я тихо говорю ей: «Леля, перестаньте, Леля, уйдите, не надо так говорить. Вы еще слишком молоды, чтобы говорить такие слова. Вас услышит мама. Уйдите».

Но Леля не уходит. Она серьезно смотрит и тихо, но ясно говорит:

— Я вас люблю, очень люблю. Вы мой, мой!

Что мне делать? Грубо оттолкнуть ее холодными словами? Нет, не могу. Она такая нежная, поэтичная, такая юная, беззащитная.

Я всегда вспоминаю, как я видел ее в первый раз, когда она стояла, прижавшись к колонне. С ней рядом стояла Яшма,

и обе они смотрели куда-то вдаль, чего-то ждали. Ждали от жизни счастья, ждали, чтобы мечты сбылись. Бедная Леля, тебе придется узнать, что мечты сбываются очень редко или, вернее, никогда не сбываются... Никогда!

Вечер. В доме тишина. Я сижу в гостиной и рисую. Сергей Владимирович у себя наверху, Настасья Ивановна тоже у себя. На кресле, рядом со мной, где всегда сидит Леля, спит, свернувшись калачиком, Яшма, а Леля ходит взад-вперед по неосвещенному залу. Мне ее не видно, я только слышу шаги. В высокие окна светит луна. Иногда Леля подходит к роялю, берет несколько аккордов и снова ходит, ходит. Она, конечно, о чем-то думает, что-то тревожит ее сумасбродную головку. Где-то вдалеке хлопнула дверь, послышались какие-то голоса. Слышу, Леля бегом помчалась в прихожую. Спящая Яшма сразу вскочила и, скользя по паркету, понеслась вслед за своим другом.

— Федор, Федор! — звенит Лелин голосок. — Как хорошо, что ты пришел. Запряги, голубчик Федор, моего Копчика в маленькие саночки.

— Да куды же ехать-то, барышня, таперя ночь на дворе.

— Ничего, ничего. Запряги, пожалуйста! Можно, мама, я поеду сейчас кататься?

Настасья Ивановна что-то тихо говорит ей.

— Нет, нет, ничего, можно, мама? Я не одна поеду. Со мной поедет Алексей Никанорович. Можно?

Леля командует дома, и все ее желания исполняются. Настасья Ивановна не имеет силы в чем-либо отказать избалованной дочке. Это так. Но ведь она и мной распоряжается как своей собственностью. «Со мной поедет Алексей Никанорович». Как будто Алексей Никанорович обязан поехать. Она даже и не подумала спросить меня, хочу ли я ехать! А может, я не хочу и не поеду. Пусть одна едет! Леля влетает в гостиную. Глаза ее блестят, она улыбается, движения ее быстры, она сияет, она очень красива.

— Алексей Никанорович, мы сейчас поедem кататься. Вы умеете править? Бросайте ваши противные карандаши. Одевайтесь!

И она умчалась. Покорно иду в прихожую. Одеваюсь. Светит луна. Редко какой роман обходится без луны. Не обошелся без нее и мой коротенький роман. Луна ярко светила, снег искрился, полозья повизгивали. Лелин Копчик не торопясь, рысцой бежал по дороге. Я держу вожжи, искоса

взглядываю на Лелю и ругаю самого себя за то, что согласился ехать кататься и даже не подумал противиться причудам. Рядом со мной Леля сидит какая-то особенная, возбужденная. Все в ней кипит. Я со страхом поглядываю на нее, ожидая взрыва. Так и вышло.

Леля вдруг бросилась мне на грудь, и наши губы слились в долгом поцелуе.

— Ты мой, мой! — шепчет она и осыпает мое лицо поцелуями.

— Сергей Владимирович! Мне надо ехать домой. Я закончу рисунки и пришлю вам. Мне необходимо надо ехать.

— Ну что ж, надо так надо. Поезжайте. Я вам подарю борзого щеночка. Я уверен, что ему будет хорошо у вас.

Прошаюсь с Сергеем Владимировичем и Настасьей Ивановой. Леля нездорова и из своей комнаты не вышла.

Проезжаем мимо парка, мимо дома с колоннами.

Прижавшись к колонне стоит Леля и с ней Яшма.

Прощай, дом, старый дом с колоннами, в котором на меня взглянула любовь!





ПОЕЗДКА ЗА БЕЛЫМ МЕДВЕДЕМ

Давно-давно это было, в начале девятисотого года.

Директор зоосада говорит мне:

— Хотите поехать в Архангельск за белым медведем?

— Конечно хочу.

Едем с товарищем-художником и со служителем сада. Дорога только что построена, еще совсем не укреплена, и поезд тащится по каким-то гатям, среди затопленных лесов, тащится сле-еле. Глушь и дичь невероятная, говорят, что частенько медведи переходят рельсы и бывали случаи, когда мишка сидел на пути, не хотел давать дорогу и приходилось останавливать паровоз. Он тут хозяин.

Не отрываясь смотрим в окно. Картина дикой, нетронутой природы — бурелом, кочки, мохнатые седые ели. Это тянется на сотни километров. Наконец подъезжаем к берегу Северной Двины. Река широкая, полноводная. Надо пересаживаться на пароходик и переехать на тот берег, где чуть виднеется Архангельск. Архангельские старожилы с удовольствием нюхают воздух. «Трещочкой запахло!» — говорят они. Мы, конечно, этого запаха не замечаем, хотя с наслаждением вдыхаем свежий речной ветерок.

В доме губернатора Энгельгарда нам отводят комнату, кормят и поят. Губернатор — страстный охотник и путешествен-

ник, много сделавший в освоении и изучении северного края. Он уезжает на охоту и в свои экспедиции всегда со своим поваром. Повар этот тоже замечательный человек. Он заполнил архангельский краеведческий музей чучелами зверей и птиц, которых он сам препарирует весьма искусно. Наши зоологи Мензбир и Сушкин давали ему книг: Брема, самого Мензбира и др. В просторной кухне у него четыре попугая насвистывают русские песни: «Близко города Славянска», «Лучинушку» и др. Рядом с домом в саду стоит клетка, и в ней качает головой из стороны в сторону белый мишка. Несколько сов, два филина и белые куропатки сидят в других клетках.



Архангельск в те времена был небольшой городишко, растянувшийся в две улицы вдоль реки. Одна улица была мощеная, а другая утопала в грязи. Если перейти эту грязную улицу, то сейчас же попадаешь в тундру. Моховое болото — почва качается под ногами, идешь как по перине, в каждом следу выступает вода. Кое-где маленькие, по колено, деревья — березки.



Пишем с товарищем этюды тундры. Потом покупаем на базаре пироги с палтусом и идем за пределы города, на дикий берег Двины. Написав этюды и изрядно проголодавшись, мы вытащили пироги... и отдали их чайкам. Северные народы любят рыбу с душиком, а мы к таким изысканным блюдам не привыкли. Вот и пришлось отдать наши пироги с душиком чайкам.

Служащий зоопарка съездил на станцию Тундра и заказал там ненцам, чтобы они в субботу к поезду привели оленей и привезли ягель. Надо собираться домой. Грузим на полوك клетку с медведем, птиц и свое имущество. Повар (жалко, что забыл его имя) дарит нам собачку лайку. Небольшая беленькая лаечка, пушистая, с черными глазами и черным носиком нам очень понравилась. Она оказалась необыкновенно умной, ласковой и преданной.

Тепло прощаемся с поваром. Везем через город наш зверинец и будоражим весь город. Мишка, по-видимому, не был расположен покидать губернаторский сад и сжать куда-то в неведомые страны, он так громко выражал свой протест диким ревом, что жители города выскакивали из своих домов, с испугом спрашивая: «Что случилось?» Мишка ревел всю дорогу до парохода и только там затих.

Я думаю, что вид широкого водяного простора напомнил ему Белое море, детство, дорогую маму...

Сложили свой багаж на палубе, и, к нашему удивлению, лаечка без привязи улеглась на наших вещах и никого чужого не подпускала. Пересели в поезд. На станции Тундра купили семь оленей, ягель и покатали дальше.

Неожиданно в Вологде наш вагон со зверьем отцепили, и нам пришлось спешно выходить из своего купе, спорить с

железнодорожным начальством и сидеть в товарном вагоне с мишкой и оленями, ожидая, когда нас прицепят к поезду.

Нас прицепили к товарному, и мы поехали до Москвы в теплушке, в которой стояла посередине железная печка. От этой печи шел адский жар, а от стен задувал морозный ветерок. Почему нас отцепили от поезда, мы так и не узнали.

В нашем вагоне стояла клетка с совами. Это были лесные ушастые совы и неясыти. Днем они сидели дружно на жердочке плечом к плечу, а ночью... а ночью одна из лесных сов исчезала! Прошло в дороге две ночи, и двух сов не стало.

Наконец Москва. Мы сдали в зоосад свой живой груз и усталые и грязные, но очень довольные вернулись домой.





У МЕНЗБИРА

Сию в кабинете Мензбира и рисую со шкурок рябков. Как я попал в кабинет Мензбира, я не могу вспомнить, думаю, что через журнал «Семья охотников».

Михаил Александрович Мензбир — профессор с мировым именем, очень требовательный и строгий. В этом же кабинете работает профессор Петр Петрович Сушкин, человек грубоватый, но ко мне они оба относились дружелюбно и ласково. Я тогда был еще совсем юный, и рисовать со шкурок мне было впервые, но и тогда у меня было какое-то инстинктивное чувство формы животных, и я довольно удачно придавал шкуркам формы живых птичек и сажал их в их родной пейзаж.

Как-то Мензбир говорит мне: «Вот вам бы поучиться у Мартынова, вы бы еще лучше стали рисовать! Смотрите, как он хорошо к птичкам пририсовывает ландшафт» — и показывает мне картины Мартынова. У этого Мартынова учился рисовать Ватагин. К счастью, Ватагин не перенял у учителя его манеры и его понимания рисунка и живописи — Мартынов рисует сначала птичку, вернее чучело птички, и потом пририсовывает к ней пейзаж. Его не смущает, что птичка в этом пейзаже кажется ростом со слона. В его пейзажах и домики, и деревья, и прудики, и лужайки. Пейзаж сам по



себе и птичка сама по себе. Нет, спасибо, я у Мартынова учиться не собираюсь. Сижу рисую под руководством Мензбира рябков и саджей для его издания охотничьих и промысловых птиц. Там птицы сделаны художником Дзорберном. Мне тогда они казались очень хорошими. Правда, позы птиц неплохи и окружение, какое нужно для птички, но цвет далек от природы, и даже мои юношеские рисунки по колориту ближе к натуре.

Мензбир подарил мне большую папку собственного издания с рисунками Дзорберна. Там рисунки не цветные, а черные, и это лучше. Мне очень нравилось работать в кабинете профессоров, где воздух был пропитан нафталином и по стенам до потолка стояли полки с большими картонными коробками, в которых были разложены по отрядам птицы. Вот коробка с рябками. Мы выбираем наиболее хорошо препарированные тушки — самца и самку, характерные по цвету, из одной местности, и я начинаю рисовать сначала эскизы.

Эскизы обсуждались, исправлялись, и потом уже я приступал к окончательному рисунку.

Работа была сделана. Рисунки мои были отпечатаны на фабрике Кушнера, и их можно найти в издании «Охотничьи и промысловые птицы России» под редакцией Мензбира.

Мои профессора собираются ехать в Монголию. Я им, конечно, завидую, но попроситься поехать с ними я не решился. И до сих пор сожалею об этом.



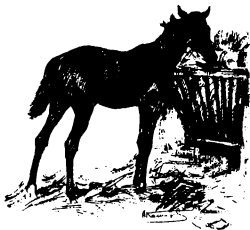


МАСТЕРСКАЯ

Мне нужно было ехать в Крым, в Форос, писать портреты рысистых лошадей, надо было покинуть мастерскую в Афанасьевском переулке, запереть ее, а ключ отдать Анатолию. Но вышло по-другому. Анатолий тоже уезжал из Москвы, и мастерская оставалась беспризорной. Тут подвернулся художник Депальдо. Он просил пустить его на лето в мастерскую. Обещал платить за нее хозяину дома, обещал в целости сохранить все вещи, всю обстановку. Мне он показался человеком тихим, скромным, по-видимому, не очень здоровым. Небольшого роста, бледный, с черной бородкой, он походил на грека или итальянца. С ним пришел его друг — русского заурядного вида. Они уверяли, что им до зарезу нужно работать, нужно спешно сдавать какой-то заказ, и все лето они будут не отрываясь рисовать. Анатолий посоветовал отдать им на лето мастерскую, и я отдал. С мастерской налажено, и я со спокойной душой поехал в Крым. В Крыму я пробыл до осени, написал много лошадиных портретов и ехал отдохнуть в Москве в своей мастерской. Вот и Москва, вот и Арбат, вот и Афанасьевский переулок. Звоню в свою дверь. Отпирает Депальдо. Вхожу, здороваюсь. Хочу сесть и не знаю на что. На стульях, на диване, на кровати, везде наложены кисти, краски, бумаги, консервные банки. Очищают для меня стул.

Сажусь. Пол, по-видимому, не метен, как поселились. На столе гора всякого хлама. Когда же я взглянул на подоконник, то не мог понять, что там. Весь подоконник был покрыт горкой довольно высокой растительности. Не то мох, не то водоросли. Серовато-зеленоватого цвета, полупрозрачное. Подошел к окну и тут только понял, что это плесень. Плесень покрыла тарелки, чашки, ложки — всю посуду. Она так разрослась, что предметов под ней не было видно, и она казалась каким-то украшением окна. На столе стоял чайник, и около него вместо чашек приютились жестянки от тушенки. Вся посуда была погребена на окне под шубой плесени, и мои жильцы пили и ели из консервных банок. С болью в сердце обзирал я свою когда-то чистую и опрятную мастерскую: вместо моей постели — какая-то куча грязных тряпок, засаленное до предела одеяло, серая от грязи подушка. Везде разбросаны какие-то эскизы, начатые рисунки, акварели. Спрашиваю: «Как у вас с работой? Сдали ли заказ?» Оказывается, заказ еще не сдали и только еще делают подготовительные работы. Ждут вдохновения. Уезжать им очень не хочется. Я им соврал, что в Крыму я женился и скоро придет моя жена и мне необходима моя мастерская. Через два дня они куда-то уехали. Не мало было труда вычистить, вымыть, отстирать постельное белье, переклеить обои и кое-что перекрасить.





КРЫМ. 1903 ГОД

Если вы едете из Севастополя в Ялту по шоссе, то, поднявшись из Байдарской долины на перевал, вы, проехав Байдарские ворота, неминуемо ахнете, всплеснете руками, вцепитесь в рукав соседа, выскажете: «Ах, я не могу, это так красиво!» Тут же вытащите фотоаппарат и начнете щелкать.

Обычно из этого щелканья ничего не получается. Или забыли открыть объектив, или аппарат не заряжен, или на снимке будет темная полоса, и больше ничего.

Внизу под Байдарскими воротами белые дома Фороса — это имение Ушкова. Там находится его конный завод. Ушков пригласил меня писать портреты его лошадей.

Знакомлюсь с семьей Ушкова и принимаюсь за портреты. Начинаю с азартом работать, но... непривычная красота природы, прогулки, поездки верхом, теннис, ловля рыбы, красивые, нарядные женщины, а главное, моя молодость и легкомыслие сильно тормозят мою энергию. Все же я написал много портретов лошадей. Русские, орловские рысаки. Я понял, постиг красоту этой породы, этих могучих коней с лебединой шеей, волнистым хвостом, точеными сильными ногами, с темными большими глазами на костистой голове. Лошади сказочные, лошади, на которых хочется посадить Илью Муромца или Добрыню Никитича.

Но вот Григорий Константинович Ушков едет в Америку и привозит оттуда американцев. Как не преклоняться перед американскими рысаками, как не восхищаться их резвостью, они на полсекунды обошли наших. Скорей давайте побоку орловских и смело прильем кровь американцев.

Пусть наши орловцы непревзойденные по красоте, по кровям, по силе, мы очертя голову приливаем к ним кровь этих заграничных лошадок, в которых нет ни красоты, ни силы, ни благородства — так, какие-то выкормыши. Нам наплевать, что мы испортим нашу умело выведенную породу, старинную породу, которой нет равной в целом мире. Мы свое не умеем ценить и сдуру приняли методу все иностранное хвалить.

Пишу портреты американских коньков. Ушков привез из Америки пять лошадей — двух жеребцов и трех кобыл. Лошади эти по красоте в подметки не годятся нашим. Одна кобыла сухопарая, костлявая, вроде испанских кляч, которых убивают на корриде, другая — чалой масти, как будто из-под сохи, третья — тоже неказиста, а жеребцы Гей Бинген и Бисо Хилл и вовсе не похожи на производителей.

Григорий Константинович ими восхищается и ждет от них великих призеров. Но дожидаться ему не пришлось. Тут наступил 1905 год, а там война, а там революция.

В Форос в гости к Ушковым приехал Гиляровский с дочкой Машей. Гиляровского, или «дядю Гиляя», знала вся Москва. Он славился своей невероятной подвижностью репортера, и, как, смеясь, говорили, дядя Гиляй поспевал на место происшествия раньше, чем происшествие совершалось. Он славился еще своей силой и невероятными приключениями. И он, и дочка Маша писали стихи и были необычайно милыми и приветливыми людьми. По случаю их приезда было решено поехать в пещеры на Черную речку — в гости к писателю Елпатьевскому.

Подали коляску, запряженную четверкой рослых коней. Маргарита Эдуардовна Ушкова и Гиляровский сели, я с Машей сел напротив, и коляска покатила вверх по вьющейся дороге — на перевал к Байдарским воротам. Так началась экспедиция в пещеры у Черной речки. Вот и перевал. Вот и Байдарская долина. Мы катим вниз, подложив под колеса тормоза. Байдарская долина перед нами. Широкая, вся в садах,

пестреющая каменными татарскими домиками. На фруктовых деревьях, как птичьи гнезда, висят кусты омелы. Лошади резво бегут по ровной дороге. Мы болтаем всякую чепуху и пугаем друг друга всякими ужасами, которые нас ждут в пещере.

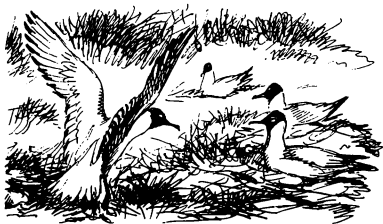
Переехали вброд Черную речку, и вот уже домик писателя Елпатьевского. Супруги Елпатьевские радушно встречают нас и после приветствий и чая ведут к пещере. Молодой татарин-проводник подводит нас к «входу» — что-то вроде лисьей норы, которая круто спускается вниз. Все смущенно переглядываются, а Гиляровский смеется, что нам нужно превратиться в барсуков. Все же мы ныряем в эту дыру, спускаемся, скользим по сырой глине, куда-то бредем со свечками то вверх, то вниз по скользким камням, хватаясь за мокрые стены, цепляемся за какие-то вбитые в трещины колья, карабкаемся по скользким скалам над чернеющими под нами весьма подозрительными пропастями. В одном месте пришлось протискиваться на животе в узкую щель, где довольно полненькая м-м Елпатьевская застряла. Общими усилиями кое-как под-хохот и остроты ее все же протащили, и наконец мы попали в громадную пещеру, стены которой покрыты толстыми колоннами сталактитов и сталагмитов. В середине большое озеро, а потолок с готическим сводом утонул во мраке. Писатель стал снимать при свете магния. В пещере хороший свежий воздух, и говорят, что был случай, когда собака, вбежав в пещеру у Черной речки, выбежала на южном берегу Черного моря.

В конце концов мы выбрались на свет Божий, все грязные, усталые, и как же нам понравился этот Божий свет! Как легко мы вздохнули и как нам показалось светло, хотя уже наступил вечер. Все пошли чиститься, умываться и есть раков из Черной речки. Потом Елпатьевские повели нас недалеко в цыганский лагерь. Цыгане, получив хорошую подачку, угостили нас дикими плясками и песнями. Девочка лет десяти лихо плясала с выкриками и взвизгиваниями и, как истая цыганка, трясла худенькими плечиками. Цыган, подплясывая, бил по гитаре и дергал за цепь медведя. Медведь ревел и тоже плясал, а кругом нависли горы, и в темноте, освещенные кострами, розовели цыганские кибитки, фыркали лошади, и Черная речка, пенясь, гремела камнями. Незабываемая картина!

Вот я опять в Крыму в Форосе. Опять я в кругу милых, приветливых людей. Опять я пишу своих любимых лошадок. Теперь я начал большую картину — табун рысистых маток. На ней, к моему огорчению, я должен был, исполняя желание заказчика, изобразить табун в пейзаже южного берега Крыма. Это, конечно, нелепо. Но это так было на самом деле. Григорий Константинович Ушков перевел свой конский завод из подмосковного имения, которое он продал, в Форос, на южный берег. Странно смотреть на рысистых лошадей на фоне Крымских гор. Я старался на картине горы отодвинуть подальше, а склоны, где пасутся лошади, сделать отложе.

Где теперь эта картина — я не знаю. В Форосе новый управляющий. Это совсем молодой человек, только что окончивший Сельскохозяйственную академию в Москве. Он украинец — типичный хохол с висячими усами и глазами с хитрецей. В его семье я познакомился с дивной женщиной, с женщиной кристальной души и громадного таланта — с Бекман-Щербиной. Это удивительная женщина, всегда приветливая, веселая, она великолепно играла на рояле, и ее слушать было истинное наслаждение. Как-то, шутя, она легла животом на крышку рояля и играла вниз головой.





ФОРОС

Наверху — гора Яйла. Перевал Байдарские ворота. Внизу берег и синее море. Над перевалом парит орел, над морем хохочут чайки. А между морем и перевалом имение Ушакова — Форос. Дворец в стиле ренессанс и громадная терраса. Вокруг террасы — каменная балюстрада. На широких перилах стоит круглая клетка. На клетке — серый попка Жако. Он великий мудрец и философ. Сидя на одной лапке и держа в другой редиску, он задумается и грустно скажет: «О темпора, о мореса!» Но бывает, что он дурачится как мальчишка. «Флера, Флера!» — кричит он голосом Григория Константиновича. Датский дог Флера бежит на зов. Никого нет, Флера в недоумении. Где же хозяин? Хозяина нет. Попка доволен и уже весело кричит: «Сплю, сплю», точно подражая голосу совки-сплюшки.

Характер у попочки неуравновешенный — то он очень ласковый и всем позволяет гладить ему головку, то вдруг нахмурится и никому не позволяет фамиллярничать. Он ласков с Поликарпом, и мне иногда позволяет взять себя на руку и посадить на плечо. Он нежно берет клювом мое ухо или губу, а у меня мелькает мысль, а вдруг ему взбредет на ум откусить кусок уха или губы? Немного страшновато. Но попочка благороден, таких случаев еще не бывало.

С террасы обширный вид на море. В море, кувyrкаясь и выпрыгивая из воды, плывет стая дельфинов, летят по прямой линии бакланы, медленно машут крыльями чайки. А море такое спокойное, такое ласковое, так нежно плещутся волны о прибрежные камни, что попке хочется на берег, ближе полюбоваться на море, посидеть у самой воды на камушке.

Попка слезает со своей клетки и, не торопясь, идет по перилам балюстрады, потом вниз по лестнице, а там по дорожкам парка к морю. Вид у попки очень важный, и он очень похож на генерала Николая Николаевича, который строит в Форосе громадный бассейн для воды. Генерал в серой шинели с широкими красными лампасами на брюках, и попка в сером костюме с красным хвостом. И походкой он похож на Николая Николаевича, так же важно, не торопясь, выступает, да и клювом сильно смахивает на нос Николая Николаевича, а уж если скажет генеральским басом: «За ваше здоровье!» — и при этом крякнет, тут уж отличить попку от генерала и совсем невозможно. Попка ушел.

Лакей Поликарп отправляется к морю на поиски и приносит Жако на плече. Но в Форосе серый Жако не один. По парку летает белый с желтым хохлом какаду. Он иногда кричит так громко, что, я уверен, его слышат турки через Черное море.

На террасе пьют вечерний чай. Какаду, стремительно полетев, садится на спинку плетеного кресла. Его угощают печеньем, конфетами и чешут ему головку. Он очень ласковый и доверчивый. Он свободно летает по всему парку, а живет он в оранжерее, где у него большая клетка и купальня. Как-то я увидел его, сидящего на краю крыши, на желобе. Вдруг из-за трубы появилась кошка и стала подкрадываться к попугаю, наверно принимая его за голубя. У меня сердце упало от страха за него. Прыжок... но мимо. Кокаду вовремя заметил кошку. Он быстро взлетел и тут же бросился на нее сзади. Своим железным клювом он схватил ее за хвост и, конечно, здорово сжал. Несчастная кошка с воплем слетела с крыши. А попугай поднял свой громадный хохол и громким криком



возвестил победу. Я думаю, что в будущей своей жизни кошка твердо будет помнить разницу между голубем и попугаем какаду.

В Форосе прекрасный парк. Розами обсажены все дорожки: их больше пятисот сортов. Там сотни видов деревьев и кустарников.

Очень часто в Форос приезжают экскурсии. Их обычно водит садовник, а иногда его помощник. Садовник — немец Герман Андреевич, а помощник — грузин Кето. Идет большая экскурсия студентов и курсисток. Девушкам непременно надо знать, как называется каждое дерево, а Кето все позабыл, да и жарко очень. Сидеть бы теперь в тени, в прохладе и попивать красненькое вино.

— Скажите, пожалуйста, какое это дерево? — Кето молчит. — А это как называется? А это? — Кето молчит. Девушки очень любопытны и сыплют вопрос за вопросом.

Наконец Кето не выдерживает:

— А какое тебе дело? Он стоит, тебя не трогает. Проходи мимо!

У Кето очень вспыльчивый характер и очень плохая память.

Я и конюх Федя отправляемся на охоту на верх Яйлы за косялами. Федя откуда-то добыл двух гончих, и мы начали подъем. Раннее утро, и пока еще не жарко. Подымаемся по крутой тропинке все выше и выше. Собаки убежали вперед и уже наверху.

Наконец и мы добрались до вершины и идем в сторону Ялты. Собак не видно и не слышно. Солнышко уже принялось за дело, и становится жарко. «Стой, как будто гонят». Прислушиваемся, и правда — отдаленный гон. Все ближе и ближе. Вот обе наши собаки с яростным лаем промчались мимо. Кого они гнали? Кто пробежал тут? Мы, конечно, опоздали — косяля прошла раньше, чем мы поднялись на вершину. И опять тишина.

Зовем собак. Трубим в дуло ружья. Собак нет. Собаки чужие — за них отвечать придется, коли они пропадут. Сидим отдыхаем. Ждем. Федя уверен, что собаки погнали косялю и теперь долго не придут. И вдруг — вот они. Прибежали, языки висят, часто дышат. Прибежали и легли около нас. Охота, конечно, кончена. Спускаемся по ущелью Шайтан-Мердвень, что значит Чертова лестница. И правда, по этой лестнице только, может быть, черту удобно ходить, а нам трудновато... С



опаской спускаемся со ступеньки на ступеньку, а некоторые из них вышиной с дом. Из-под ног вылетели два стенолаза. Я так и замер. Первый раз в жизни я увидел этих птиц. Нарядные, как бабочка с красными пятнами на крыльях, они взлетели и высоко над нами прилипли к скалам и стали, распустив крылья, взбираться вверх. С наслаждением я смотрел на этих дивных птичек, пока они не скрылись, перелетев за скалу.

Спустились на шоссе и пошли, а идти было еще далеко. Мы изрядно устали. Слышим, кто-то нас догоняет. Из-за поворота выбежала пара лошадок, запряженных в можару. В пустой можаре — татарин.

— Эй, знаком, подвези!

Татарин останавливает разбежавшихся лошадок. Мы садимся на кошму и катим. Угощаем татарина папиросами и с наслаждением отдыхаем на кошме. Ах, если бы я знал, какую муку я перенесу за этот отдых на кошме. Если бы я знал! Но нам не дано предвидение, и мы бредем по жизни вслепую и натыкаемся на всякие беды.

Итак, мы катим, не чуя горя. Вот и Форос. Татарин поворачивает на Мшатку, а мы слезаем с можары, пожимаем

татарину руку, и я бегу в дом. Отдаю ружье Поликарпу и вхожу в столовую.

Все уже садятся за стол, генерал Николай Николаевич встречает меня:

— А! Вот и вы! Ну как охота? Соль-то небось забыли? Эх вы, горе-охотники! Лучше вот рюмку водки выпейте.

Сажусь за стол. Григорий Константинович наливает мне стаканчик красного, хозяйка дома Маргарита Эдуардовна на своем месте во главе стола приветливо улыбается. С ней рядом сестры. Со мной рядом мадам Виц — француженка, напротив мисс Жаксон, вся сияет, как утренняя звезда. По бокам у нее мистер Дон и мистер Белл; им-то и сияет мисс Жаксон. Справа от хозяйки сидит старуха миллионерша Морозова с двумя дочками. В конце стола гувернантка с детьми.

На столе, посередине, громадная ваза на высокой ножке с громадным букетом. Стол парадно накрыт — хрусталь, серебро.

Генерал что-то шутит с француженкой. Англичане — лошадаики, и разговор у них с Григорием Константиновичем о лошадях на английском языке. Морозиха говорит только по-русски, и потому общий разговор на русском языке.

Я сижу ни живой ни мертвый. Проклятая кошма! Долго буду помнить ее. Я весь горю. Как будто раскаленными иглами колет мне все тело. Какой ужас! Все тело чешется нестерпимо, а надо сидеть смирно, улыбаться, говорить дамам комплименты и в то же время думать, как бы эти проклятые блохи не выползли мне на рубашку. Как бы кто не заметил их. Вот будет позор! Меня бросает то в жар, то в холод. Конца нет этому обеду! И черт меня понес в столовую. Прошел бы к себе во флигель, и все было бы прекрасно. Завидую Феде, который, наверно, уже выкупался в море. А я?

Обед наконец кончился, и я стремглав помчался во флигель, сбросил с себя все и, надев все чистое, облегченно вздохнул.

Будь она проклята, эта кошма!





ДИКАРЕВА ДАЧА

Большая поляна спускается к оврагу. Оврага не видно — его закрывают высокие старые березы. Зимой они стоят как серебряные, в инее. На них видны черные точки — это косячи. Они обклеивают почки, а на закате, если снег глубокий, они по косой падают и исчезают в нем. На поляне небольшой домик и четыре сарая. Из трубы высоко в небо подымается дымок — это Андрияшка топит печи. По двору бегают собаки: и гончие, и борзые. Гончие — это Румянка, Найда и Флейта, а борзые — Поражай, подарок Озерова, и дети Поражая — Ураган и Пурга от суки наездника Чернова, к которому я ездил прошлую зиму с Поражаем.

У Петра Чернова большой дом и имение. Свои лошади, свои борзые собаки — живет барином. Все это получил в придачу к мадам Гильбих. У него я провел два дня. Он в это время жил один и готовил тройку. Шорник сидел у него наверху и шил сбрую. Я научился у шорника вязать узлы, плести ремни и прочей шорной мудрости. Здесь, в Марьиной пустоши, я связал и сшил всю сбрую на одну лошадь. Подлачил дугу, подкрасил саночки и запряг Орлика. Поеду в Троице-Сергиеву лавру.

Одно время я довольно много работал в издательстве Сытина. Я был дружен с Василием Ивановичем. Я частенько бывал у него, и он приходил ко мне. У Василия Ивановича была дружная, уютная семья, большая квартира на пятом этаже в доме, где теперь «Известия». С балкона его квартиры видна была чуть ли не вся Москва. В квартире были два громадных полукруглых окна, одно выходило на Тверскую, другое — на Страстной монастырь (площадь Пушкина). В столовой в кадushках стояли пальмы и араукарии, громадные, до потолка. Людмила Владимировна любила цветы, и эти громадные окна зеленели, как сады. Василий Иванович увлекался пчелами, и на время цветения в Москве лип привозил из Поворовки один улей и ставил его на балконе. Он потом угощал своих друзей этим московским липовым медом, а мы смеялись и говорили, что пчелы собирают свой мед по пивным и что мед пахнет пивом. У Василия Ивановича никогда не подавалось вино. Ни водка, ни пиво, ни красное, ни белое. Чай, и только за чаем и за разговорами иногда засиживались подолгу. У Василия Ивановича были пухлые губы, и он улыбался обворожительной улыбкой. У него был прекрасный характер, и дети его очень любили. Его нельзя было не любить, и работать с ним было приятно и легко.

Мои работы, кроме Василия Ивановича, просматривал Иван Дмитриевич Соловьев. Иногда я приходил на фабрику в цех литографии и рисовал на камне. К сожалению, я мало рисовал на камне, а это очень интересно, и можно сделать много всяких вариантов.

Получив записку от Ивана Дмитриевича, я отправлялся к артельщику получать деньги. Артельщик за окошком кассы сидел как идол — такой неподвижный, благообразный, с большой бородой. Рядом с ним громадный мохнатый кот. Идол брал у меня записку и, напевая что-то церковное, долго читал ее и потом спрашивал: «Сколько тебе деньжонок-то надо?» Говорю сколько. «На, голубок, получи все до копеечки». И он отсчитывал рублики. Никогда он не удерживал ни гроша, как это делают иные кассиры.



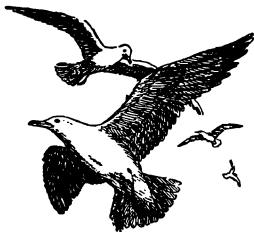
ПТИЧИЙ РЫНОК

Встаю в шесть часов и иду на Птичий рынок. Там уже собрался народ — покупают-продают. Вот ходит мальчик лет десяти, в руках у него куролеска, в куролеске чижики, клетка маленькая, без дверки, без кормушки. Поилку прикрепляют снаружи, а птичку пускают в клетку через донышко. Очень неудобная клеточка и к тому же очень маленькая. Чижики там в ужасной тесноте. Чтобы попить, он просовывает головку и пьет из коровьего рога, а корм насыпают через прутики в крышечку от помадной банки. Мальчишка продает чижики: «Вот сидельный, кому, налетай». За сиделого чижики он просит гривенник, а только что пойманный стоит копейку, самочка — на копейку пара. Щегол подороже, и пять и десять копеек. Зяблик еще дороже — десять и пятнадцать копеек. У щегла считают перья в хвосте, и если их двенадцать, это очень ценный щегол.

Иногда на рынке появляются и другие птицы — дрозды, скворцы. Как-то я купил иволгу с подстреленным крылом. Я залечил крылышко, и моя иволга даже пела в клетке. Принес я с рынка подорлика, он взмахнул крыльями, испугался его мой сокол-дербник, оборвал цепочку, бросился в окно и улетел, а подорлик основательно запустил когти в мою руку.

На рынке, на ступеньках лестницы, ведущей в торговые ряды, восседал Николка. На лестнице стояли его клетки с птицами, на дверях рядов тоже. Николка-кривой — мой приятель. Он сбывает мне тот товар, который никто не берет, — хищных птиц, разных зверюшек, морских свинок. Со мной на рынок иногда ходил мой приятель Митя Гурьев. Митя много меня моложе, но он славный, умный мальчик, и мы с ним были дружны.





ШВЕЦИЯ

С заграничным паспортом и небольшой суммой денег отправляюсь в Швецию. Там в местечке Трольхеттан живет мой приятель, шведский офицер Олав Бергрэн. Сажусь в Питере на большой морской пароход и еду. Переехали море, подходим к шведским берегам, и пароход входит в каналы. Едем не то по морю, не то посуху. Кругом поля, лесочки, небольшие поселки. Много шлюзов. Небольшие пристани. Пароход подходит к такой пристани, сгружает какие-то товары. На пристани ни души. Стоят бидоны, бочонки, ящики. Пароход забирает их и уходит. Едем по озерам. Громадное озеро Вёнерн. На этом озере наш пароход сильно покачало — так, что со стола слетела вся посуда и разбилась. Вот наконец и Трольхеттан. Слезая на малолюдную пристань. В руках у меня небольшой чемоданчик и здоровенный портплед. Куда с такой обувью пойдешь? Бросаю его на пристани, с тайной надеждой, что его кто-нибудь уташит. Иду пешком искать домик Олава. Оказывается, Олава нет — он в Стокгольме. Знакомлюсь с его родителями и сестрами. Сестер три — молодые девицы, румяные, хорошенькие, веселые и любезные. Они всеми силами стараются меня занять, поют мне шведские песенки, показывают альбомы фото. Я тоже стараюсь — декламирую стихи, рисую и кое-что пытаюсь им сказать по-немецки. В общем,

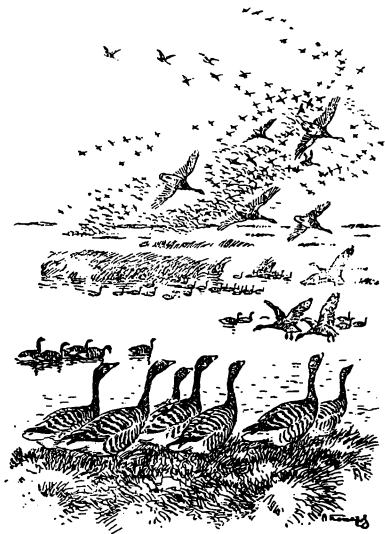
разговор идет оживленно. Они ведут меня показать водопад Трольхеттан. Водопад большой, с большой каменной головой тролля. Он снабжает электроэнергией всю страну. Мощная электростанция обслуживается одним человеком.

В разговоре я старался по-немецки и рисунками объяснить, что на пристани остался мой портплед. Кто-то сейчас же позвонил на пристань, и мой злосчастный портплед через час был опять у меня.

Я в Стокгольме. Олав ведет меня показать частное собрание картин. Там подобраны главным образом картины Лильефорса. Я давно был поклонником Лильефорса, и тут картины его, которые я знал по репродукциям, меня очаровали. В них все живое, все дышит. Краски скромные, теплые, позы животных простые, живые. Он пишет только своих, шведских зверей и птиц в типичном шведском пейзаже. Сосновые леса на каменистых склонах, болотистая тундра, шхеры. Изредка он пишет домашних зверей — собак и кошек, всегда в природе. Других домашних животных я у него не видал. Не видел я у него и крупных зверей — лосей, оленей, медведей. Он — страстный охотник, и в картинах у него всегда охотничьи птицы и звери. Вот сырая, болотистая тундра. Туманное утро. Серые гуси делают поворот в воздухе и хотят садиться на землю. Чудесен пейзаж и гуси. На заре в глухом сосновом лесу поет глухарь. Гаги сидят на плоском камне в море. Белохвостые орланы нападают на гагару. Вот токуют глухари в каменистых скалах. Видно, что художник до тонкости знает то, что пишет. Знает и любит и переживает свои картины.

В Норвегии я видел Цорна. Не знаю, кто из современных художников, кроме Серова и Коровина, может соперничать с ним. Большие полотна дышат, полные света, легкие, прозрачные. Кажется, сама природа вошла в них, не верится, что это мог сделать художник.

Цорн тоже живет и дышит своей родной природой, своими родными людьми. Его купальщицы — молодые, румяные, пышущие здоровьем шведки, на которых глядишь и не наглядишься. Вот ослепительно блестящая деревянная лестница, освещенная солнцем. По лестнице спускается девушка с шубкой на руках. Вот румяная блондинка с деревянными ведрами. На большом полотне каменистый берег моря, три молодые женщины сидят на камнях, собираясь купаться. Море тихо, бегут небольшие волны. Да, волны действительно бегут. Пол-



ная иллюзия. Вся картина светлая, и кажется, что и море, и камни, и женщины — все радуются солнцу и теплу.

Все картины Цорна жизнерадостны, на всех крепкие, блестящие здоровьем люди и радостная природа.

Стою я на берегу реки в Стокгольме, облокотился на перила и смотрю, как мальчишки ловят рыбу. Подходит ко мне человек интеллигентного вида и обращается ко мне: «Do you speak English?» Я ему показался иностранцем-англичанином. Я пробормотал по-русски: «Нет, не говорю». Он очень обрадовался: «Так вы русский?» Он оказался наш, москвич, крупный режиссер Евгений Багратионович Вахтангов. Познакомились, подружились и вместе ехали до Москвы.

Когда ехали на пароходе через море, была сильная качка. Наш пароход то носом нырял, то кормой. Все пассажиры, да и прислуга, лежали пластом. Вахтангов, я и две девушки — зубные врачи — сидели посреди парохода, на палубе у трубы, болтали и не сдавались морской болезни.

НОРВЕГИЯ

Я еще не сказал ничего о самой Норвегии. Я видел много фотографий, рисунков, картин, изображающих фиорды, но фиорды в натуре — это что-то, что ни в сказке сказать, ни кистью написать. Поезд бежит по склонам гор, то и дело ныряя в тоннели. С гор серебряными змейками бегут водопады, а внизу громадное зеркало, чистое, прозрачное, и в нем горы, и бегущий поезд, и водопады. Вот по зеркальной глади, как маленький жучок, бежит пароходик, и за ним тоненькая ниточка — след, и вверх облака, и внизу облака, и вверх вершины гор, и внизу вершины гор, и нет у зеркала дна.

В Бергене сажусь рисовать пароходы на пристани. Подходит рабочий и грозно говорит что-то. Говорит, размахивает руками и явно показывает, чтобы я убирался ко всем чертям. Бдительность у рабочих была уже в те спокойные времена. Пришлось уйти, не кончив этюда. Такой случай, правда, был только один раз. Обычно я рисовал без помех, даже всегда прохожие старались деликатно обходить сторонкой.

В Швеции и Норвегии меня удивили базары — на базарах горы рыбы и цветов. Каждая хозяйка, купив продуктов, обязательно покупает букетик цветов — полевых или садовых. У нас в те времена цветов на рынке не было, даже цветная капуста была за редкость.





ЯМАНТАУ

Какое наслаждение не торопясь ехать верхом по лесу, с горы на гору, смотреть, как трепещут листья на осинах, как перебегают солнечные зайчики на стволах берез, как бежит горная речка Зигазинка, то прыгая по камням, то ныряя под упавшие стволы деревьев.

Я еду, понемногу взбираясь на Уральские горы. Подо мной каурый жеребчик башкирской породы. Он, помахивая гривой, идет спорой иноходью, слегка покачиваясь с боку на бок. За спиной охотничье ружье, через седло переметные сумы. В сумках котелок, чайник, кружка, мисочка, нож, вилка, ложка и пищевые запасы, там же палатка, одеяло, подушка, альбом, краски, карандаши, стульчик.

Моя цель — сделать наброски пейзажей, башкирских кочевий, костюмы и типы людей, лошадей и скота.

Вот уже два дня я еду один. Приходится самому готовить пищу, заботиться о лошади, ставить палатку. А когда же рисовать? Нет, так дело не пойдет. Надо найти верного Санчо Пансу. На третий день я его встретил. Он ехал верхом на мохнатой лошадке. Его лицо мне понравилось. Поздоровались.

— Куда едешь?

— А ты куда?

— Домой еду, в гости ходил!..

— Хочешь со мной ехать? Будешь кашу варить, рыбу ловить, лошадку кормить и за это каждый день по пятьдесят копеек получать. Понял? Подумай и ответ давай...

Мой новый знакомый постоял минут пять. Потом вдруг просиял, заулыбался.

— Якши, хорошо, поедем, друзьями будем... Ты с этого места никуда не гуляй, а я домой побегу... Бабе скажу, а завтра утром тут буду.

Он стеганул свою лошаденку и рысцой затрусил куда-то в лес, а я поставил палатку и стал кипятить чайник.

Теперь у меня есть верный Санчо Панса. Его зовут Гариф Улла. Утром он явился. С этого момента мы стали делить по-братски радости и печали, пишу и ложе в палатке. Мы ехали не спеша, приезжали в башкирское кочевье, угощали женщин и детей конфетами, мужчин папиросами, и я зарисовывал их наряды, их быт. Гариф Улла иногда ловил рыбу или стрелял рябчиков. Рыба в горных речках — это форель или, как ее там называют, пеструшка. Уха из форели не имеет себе равной, и котелок этой восхитительной ухи мы с наслаждением уплетали.

Когда Гарифу Улле удавалось подстрелить рябчика или тетерева, он варил кулеш с пшеном. Ночью мы спали рядом в палатке, спали под шум деревьев или под шорох дождя, спали крепким сном, не опасаясь ни зверя, ни лютого человека.

Так день за днем мы понемногу поднимались все выше и выше, приближаясь к нашей цели, к вершине горы Ямантау. Название горы не сулит ничего хорошего. Ямантау — значит Дурная гора. Посмотрим сами — так ли она дурна. Эта гора не может похвастать ни своим ростом, ни своими неприступными скалами, ни снеговой шапкой. Но она все же самая высокая гора на Южном Урале, и на ее горных лугах пасется много табунов башкирских коней.

Мы на вершине Ямантау. В голубой дымке тонут горные дали. Кое-где пестреют стада, кое-где видны косяки лошадей, слышны звуки боталов, конское ржанье и мычанье коров. Горный ветер треплет полы нашей палатки, которую мы стараемся поставить. Ветер вырывает колышки, ветер сдувает огонь с костра и раскачивает котелок. Наступает ночь. Небо все усеяно звездами, только на горизонте темнеет туча и порой вспыхивает далекой молнией. Слышны глухие раскаты грома.

Кажется, где-то притаился грозный зверь и злобно, угрожающе рычит. Наши кони неподалеку пасутся, и нам слышно, как они переступают и пофыркивают.

Мы лежим в палатке и опасливо прислушиваемся к приближающейся грозе. Гром все слышней, молния уже ярко освещает надвинувшуюся тучу, и ветер все злее и злее накидывается на нашу маленькую, беззащитную палатку. Всеми шестью колышками она вцепилась в землю. «Держите меня, держите! Я улечу от вас в объятиях ветра! Держите меня, держите!» Но было уже поздно. Три колышка вылетели из земли, палатка взметнулась в страстном порыве, затрепетала и, обессиленная, упала на землю. Три других колышка удержали ее, не дали ей улететь. Над нами уже не было спасительного полога — над нами нависла грозная туча.

Грозная туча увидела нас. Нас, беззащитных, напуганных. Сверкнула ослепительная молния, страшный треск — и холодный ливень обрушился на нас. Ставить палатку под таким ливнем, при таком ветре — и думать нечего. Мы на корточках присели на войлок, кое-как укутались палаткой и предоставили грозовой туче измываться над нами, как ее душеньке будет угодно.

Как мы могли бороться с грозной стихией? Мы только ежились и кричали, когда холодные струи текли по спине. Ежились и стучали зубами...

Гора оправдала свое название. Дурная гора. Но этого ей показалось мало... Дождь хлестал нас немилосердно, и вдруг мы слышим приближающийся топот и могучее ржание...

Гариф Улла сбросил полотнище, схватил палку от палатки и опрометью помчался к лошадям. «Скорей, бери палку и беги! Он лошадок кончать будет. Он косячный жеребец, он к своему косяку бежит». Этого еще недоставало, чтобы этот разбойник загрыз наших смиренных лошадок. Мы встали возле них и, держа в руках палки, приготовились к защите.

Ржание и топот все ближе. Ближе... Сердце готово выпрыгнуть из груди. Трах, трах... Слышен бешеный карьер совсем рядом... Мимо нас в темноте промчалось что-то, тяжело дыша и храпя, и обдало нас брызгами из-под копыт. Этот разбойник, косячный жеребец, к нашему счастью, не обратил никакого внимания на наших лошадок. Топот и ржание уже где-то далеко-далеко.

Мы опять закутались в палатку, сжались и с нетерпением стали ожидать лучей солнца. Коротка летняя ночь.

Солнышко сжалилось над нами и занялось нашей просушкой. Это ему удалось довольно скоро, и мы тронулись в дальнейший путь.

Едем, обсуждаем события прошлой ночи.

— Ямантау,— говорит Гариф Улла.— Мы к нему в гости пришли, а он нас как угощал.

«Дурная гора»,— думаю я. Мы едем по альпийским лугам. Высокое разнотравье цветет и благоухает. Горные трясогузки, луговые коньки, шеврицы все время вылетают из травы, садятся на высокие зонтики цветов и с тревожным писком пролетают дальше...

Высоко в небе кружат каниуки, наполняя воздух мелодичной, печальной трелью. Здесь царство травы. Самой лучшей, самой питательной травы, какая только бывает на свете. Ее много, очень много, но башкирин косить и сушить сено не любит. Он покосит немного осенью, когда трава на корню высохнет, а лошадок он кормит всю зиму ильмом. Загонит лошадок в открытый всем ветрам загон и обставляет его кругом ильмовыми стволами и ветками. Грызут лошадки ильмовую кору, и к весне это уже не лошадки, а только конские кости, обтянутые мохнатой шкурой.

Придет весна, выйдут эти несчастные скелеты на луга, а недели через две их не узнаете. Куда там! Скачут по лугам сытые, блестящие красавцы, и их веселое ржание разносится далеко по Уральским горам.

Мы едем по лугам, понемногу спускаясь к темнеющим вдалеке лесам. Вот недалеко пасется косяк. Лошади сытые, блестящие, между ними резвятся жеребята. А вот и наш ночной гость — косячный хозяин — жеребец. Каурой масти, гривастый, с длинным хвостом и злобными, дикими глазами, он, пригнув голову к земле, карьером носится вокруг табунка.

Мой верный Санчо круто повернул коня.

— Айда за мной! — крикнул он, и мы поспешно стали отступать за бугор.

Встреча с таким субъектом ничего хорошего не сулит. Хорошо, что мой жеребчик не успел заржать — тогда наверняка этот разбойник набросился бы на нас.

Мы въезжаем в лес. Сначала редковатый, он, чем ниже становится, все гуще, все выше поднимаются вершины деревьев, все толще стволы лип и ясеней. Как флейта, звучно, красиво свистит иволга, кукушка с трелью перелетела с дерева на дерево. Вертишейка громко, однотонно кричит «ки, ки,

ки» — как ястреб-перепелятник. Дятел барабанит свою любовную дробь. Большая полянка. Под могучей, развесистой липой мы прыгнули с лошадей, расседлали их, стреножили и пустили на траву. Я стал акварелью рисовать поляну со старым, побуревшим стогом, с пасущимися лошадами и с далекой горой Ямантау.

Гариф Улла занялся кашей и чайником. Может ли быть на свете что-либо вкуснее пахнувшей дымком жиденькой пшенной кашицы с салом или рябчиком и тоже пахнувшего дымком чая. Тишина, солнце, ароматы цветов, пение птиц и этот вот дымок от костра — все они лучше всякого повара и кашицу сварят, и чай вскипятят.

Пьем чай, беседуем.

— Скажи, Гариф Улла, у тебя одна жена?

— Я не бай, не мулла, я бедный человек. Я прошлый год женился. Большой калым давал. Хороший баба взял, молодой.

— Вот ты жену оставил, со мной по лесу гуляешь, а она там одна скучает?

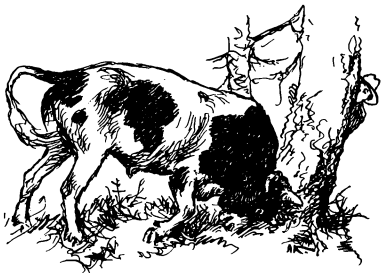
— Зачем скучает? К ней сестра приходит, песни поют, вместе баранчук в люльке качают. Мой баба совсем молодой, в куклы играет, а то танцевать станет. Веселый такой. Скучать не будет. Вот ты мне деньги заплатишь — я ей хороший платок куплю.

— Ты слышишь, Гариф Улла? Кто-то там гудит?

Из леса на полянку вышли две-три коровы и за ними еще и еще, потом с грозным гуденьем вышел громадный породистый бык. Бык был явно чем-то раздражен. Он останавливается и, грозно гудя, злобно роет и ногой, и рогом землю.

— Пойдем лошадок возьмем, — говорит Гариф Улла.

И мы бежим через поляну к своим лошадам, бежим на виду у быка. Это окончательно вывело его из терпения, и он бросился за нами. Я оказался к нему ближе или его возмутила моя соломенная шляпа, но только он помчался за мной. Тут было не до шуток, и я припустился со всей скоростью, на какую был способен. Мчусь мимо стога, а бык уже близко. Я слышу за спиной его топот и сопенье. Сейчас догонит! Бурый стог прошлогоднего сена тоже не понравился быку, и он стал яростно разметывать его рогами. Эта короткая задержка спасла меня — я успел добежать до дерева. Теперь я был в безопасности, теперь я мог смело говорить ему всякие обидные слова. Бык в слепой ярости только рыл землю и гудел. Задержись я в своем беге на две-три секунды — и этот мер-



завец сделал бы из меня отбивную котлетку. Как я его ругал, какие только обидные прозвища я не давал ему! Он этого вынести не мог и, бросив на меня последний, грозный взгляд, повернулся и рысью побежал за ушедшими коровами.

Ах, эта гора Ямантау! Все время она устраивает нам всякие неприятности. То бурю на нас напустит, то жеребца, то быка, то чуть было не укусила Гарифа Уллу гадюка.

Я изрисовал два альбома, Гариф Улла расстрелял все патроны, палатка наша сильно потрепалась, и в ее прорехи беспрепятственно лил дождик.

Пора домой. Мы ездили по лесам, по горным лугам, от кочевья к кочевью почти что месяц. Кое-где в деревенских лавочках мы пополняли свои запасы сахара, чая, всяких круп и муки. Мы совершили чудесное, увлекательное путешествие, и домой я привезу много рисунков, много рассказов, а мой верный Лепорелло — и деньги, и подарки. Пора домой. Мы все время, день за днем, спускаемся вместе с горными речками все вниз, все вниз. Проехали Усольский стекольный завод. Широкими полями приближаемся к реке Белой, к селу Табынску.

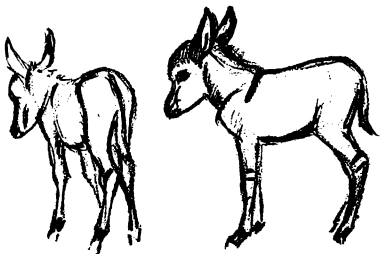
Вот и домик моего друга — агронома Александра Осиповича. Друзья радостно приветствуют нас, объятия, поцелуи.

Нас сажают за стол, угощают. Они убеждены, что мы там голодали и питались чуть ли не одними грибами. Пьем чай со сливками, с горячими сдобными булочками, со сладким пирогом. Вот этого у нас не было. Но было много-много другого, такого, чего не достанешь ни в одном ресторане, не купишь ни за какие деньги. Мы питались чистым горным воздухом, мы пили ароматы цветущих лугов, мы ели кашу, пахнущую дымком, мы хлебали уху из пеструшки... А где вы получите такой крепкий, такой освежающий сон? Где?

В табынском универмаге я купил в подарок Гарифу Улле часы с цепочкой и шапку, а его жене Бибигуль ярко цветистый сатин на платье и золоченый браслет.

Мы расстались закадычными друзьями.





ЧЕРЕЗ КАВКАЗ В ПЕРСИЮ

Мой друг Анатолий написал мне, чтобы я приезжал погостить к нему в Мцхету, что в Грузии тепло, все цветет и красота прямо сказочная.

Прекрасно! Сидеть в Москве нет никакого резона, и я быстро собрался и покатил.

Это был 1914 год. Год первой войны. Стерлитамакская дружина, в которой служил Анатолий, стояла в Мцхете и ждала приказа, чтобы отправиться к Ардагану, где шли бои. Успею ли я застать Анатолия в Мцхете? Может быть, дружина уже под Ардаганом и там сражается с турками.

На почтовой таратайке трясусь по Военно-Грузинской дороге, подымаясь по Дарьяльскому ущелью. Облака густым туманом закутывают горы. Сырой, холодный ветер пробирается в каждую щелочку одежды. Кое-где лежит снег, стаями летают красноносые альпийские галки.

На задок моей таратайки прицепился какой-то оборванец с разбойничьей мордой и что-то оживленно лопочет с кучером на тарабарском языке.

Круто поднимаемся по берегу Терека. Терек бешено мчит-ся вниз в белой пене, гремя камнями, прыгая по уступам скал. Вот высокая башня, а вот и еще такая же. В которой из них жила царица Тамара? Кто теперь живет в этих башнях?

Выше, все выше поднимаемся в горы. Открылись широкие просторы, покрытые снегом. Здесь ветер гуляет, то нагоняя, то унося облака. Набежит облако, и все окутает туманом — в трех шагах ничего не видно.

Подъезжаем к станции Казбек. Тут меня ожидает пренеприятная новость: дальше ехать нельзя — дорогу завалила снежная лавина и надо ждать, когда ее расчистят. Погода гнусная — то дождь, то снег, нависли тяжелые тучи, и холодный ветер пронизывает до костей.

В буфете ничего нет.

В мрачном настроении хожу по дороге и представляю себе, как теперь мой друг Анатолий ждет меня в Мцхете, как там все весело готовятся встречать Пасху. Там пекут куличи, стряпают всякие вкусные блюда. Светит солнце, тепло, радостно, а я тут буду сидеть один в заплыванной каморке, в холоде и сырости.

Мои мрачные думы прерывает казак:

— Послушай! Может, свести тебя через завал? Дашь три рубля?

Я готов расцеловать казака. На радостях даю ему пятерку. Казаки надели на меня бурку, усадили на коня, и мы поехали. Наши кони переправились через завал прыжками по брюху в снегу. Светило солнце, и снег сверкал так ослепительно, что глазам было больно. Завал оказался не очень длинный, не больше километра, а там мы выехали на сухую дорогу, и перед нами открылась панорама цветущей Грузии. На станции я распрощался с казаками, сел в почтовую тележку и покатил вниз, вниз, в Мцхету, к друзьям.

Вот и Мцхета. Как перстень бывает украшен сияющим бриллиантом, так Мцхета может гордиться своим собором, построенным в IV веке во имя Двенадцати Апостолов.

Громадное здание собора — строгое, лаконичное — снаружи украшено каменными орнаментами, а внутри вся древняя роспись замазана известью по распоряжению какого-то русского митрополита. И мне не удалось в те годы любоваться древними фресками — собор внутри имел унылые забеленные стены.

В Мцхете знакомлюсь с людьми и достопримечательностями. Конечно, надо посмотреть монастырь, в котором «жил» Мцыри, полюбоваться реками Курой и Арагви. С Кавказом мы знакомы по дивным стихам Лермонтова, и когда смотришь на эти горы, невольно представляешь себе мчащегося коня с

мертвым князем или летящего к Тамаре Демона. Все-все на Кавказе овеяно лермонтовской поэзией — каждый горец, каждый уголок природы.

У нас готовится свадьба. Анатолий и Катюша решили повенчаться. В древнем соборе, с грузинским попом, под пение грузинских певчих произошло венчание. Я держал венец над головой Катюши, над Анатолием — полковник Талоцкий. После венчания пировали всю ночь. Вино лилось рекой, пение, танцы, черномазые грузины, черноглазые грузинки, а кругом горы, а рядом гремит камнями бешеная Кура. Теплый ветерок шелестит листьями пирамидальных тополей, и с темного южного неба глядят яркие, большие звезды.

Отпраздновали свадьбу, и жизнь опять вошла в свою колею.

Анатолий должен съездить на станцию Гудауры. В дружине есть автомобиль, и вот на нем-то мы и поедem. Это точная копия «Антилопы-Гну», на которой ездил Остап Бендер. У этой машины дьявольский характер: она фыркает, хрипит, грохочет, и если заупрямится — ни с места! Такой же характер и у ее шофера. Шофер — армянин Ахан Бабаян — набит до отказа взрывчаткой: неожиданно он взрывается, и очень опасно быть близко около него.

Едем на «Антилопе-Гну». Она хрипит, гремит, чихает и вообще производит столько шума, сколько вряд ли удастся какой-либо другой машине. На дороге впереди показался доисторический фургон, запряженный парой буйволов. Ахан что-то кричит по-армянски. Погонщик тоже кричит и старается повернуть буйволов, но повернуть буйволов — дело нелегкое. Завизжали тормоза «Антилопы». Ахан взорвался. Он выскочил из машины, схватил здоровенный камень и бросился на погонщика. Тот кубарем покатился под откос к светлым струям Арагви. Вслед ему Ахан запустил свой камень.

Вдоволь наругавшись, Ахан садится за руль, и «Антилопа» вплотную проходит мимо буйволов. Мирно продолжаем свой путь дальше до следующей встречи.

Как-то полковник Талоцкий говорит мне:

— Пойдемте прогуляться, кстати, посмотрим наши посты.

У первого же поста мы увидели умирительную картину: ружья составлены в козлы, а все часовые мирно спят в тени кустов кизила.

Полковник отнес и спрятал ружья и разбудил солдат. Каков же был их ужас, когда они увидели полковника и не знали, где их ружья. Ведь это грозит расстрелом! Но полковник только крепко поругал их, тем дело и кончилось. Времена были патриархальные!

Мне захотелось посмотреть руины монастыря, где «жил» Мцыри. Я попросил у Анатолия его лошадку — Джургу и верхом отправился в путь. День солнечный, жаркий. По дороге тащатся арбы, запряженные буйволами. Буйволов неодолимо манят прохладные струи Арагви, и они, не обращая внимания на крики и удары палок, лезут в воду и ложатся в реке. Вброд переезжаю реку и поднимаюсь на гору, ведя в поводу лошадку к развалинам монастыря. Одиноким монах приветливо встречает меня, низко кланяется и показывает мне свое жилище, свою келью. В ней стоит гроб, в котором спит монах, и маленький аналой, где лежит священная книга на грузинском языке. В разрушенном храме — огромный кубический камень. Это бывший жертвенник; на нем приносились в жертву богам и животные, и люди. Две овечки бродят по развалинам храма. Две овечки и один монах — вот все, что осталось от бывшего величия. Когда-то здесь толпы людей поклонялись кровожадным богам, потом здесь курились фимиамы и звучали заунывные напевы грузинских монахов, и вот теперь — один монах и две овечки да камни, поросшие травой.

Делаю наброски монастыря, кельи монаха, его самого. Даю ему немного монеток на помин души и прощаюсь с ним. Монах дарит мне грубо вырезанную деревянную ложку с благословляющей рукой. Сажусь на своего конька и спускаюсь к реке. Монах и две овечки долго смотрят мне вслед, а я им на прощанье машу рукой.

Стерлитамакская дружина получила приказ ехать в Персию к Ардагану. Погрузили солдат, лошадей, имущество и покатали через Армению мимо Еревана, мимо Арарата — к Джульфе.

Адская жара и ветер, как из печки, с песком, с мелкими камешками. Изнывая от жары, кое-как переживаем ночь в Джульфе. Утром по мосту через буйный, мутный Аракс переходим границу и шагаем уже по персидской земле. Красная, глинистая пустыня с кое-где торчащими кустиками колючек. Жара и пыльный ветер. Солдаты еле плетутся. Они побросали свои ранцы и ружья, кидаются к каждой луже и пьют грязную,

мутную воду. В конце каравана едут повозки и подбирают брошенную амуницию. Повозки доверху нагружены ранцами, шинелями, ружьями. В одной из них сидит полковой мишка. Он сидит в тени под пологом повозки, раскрыв рот, и тяжело дышит. Бедный мишка не привык к такой жарнице. Он родился и вырос на склонах Казбека, где, если подняться немного, можно поваляться на снегу и весело побегать, печатая следы своих лап. А тут?! Тут — дьявольская жарница — ни кустов, ни деревьев, ни воды — одна красная глина и камни. Куда мы попали? В сердце мишки закралось отчаяние, и он начал тихонько поскуливать и похныкивать.



Но вот наконец довольно большой ручеек. Над ним склонились громадные деревья, в их тени — заросли цветущих кустов и высокой, сочной травы, темно-лиловые крупные ирисы богатым ковром украшают ручей. К ручью ринулись солдаты и тут же вволю напились, умылись, освежились, напойли лошадей и тронулись в дальнейший путь веселее, да и солнышко уже склонилось к закату и не так рьяно старалось выжечь все живое.

Я иду стороной и с интересом наблюдаю жизнь этой новой для меня природы — скупой, выжженной солнцем пустыни. Толкнешь кустик колючки ногой, и из него брызнут во все стороны ящерицы. Разные ящерицы: и круглоголовки, и какие-то тоненькие, полосатые, необычайно быстрые. Там же, под кустиками, прячутся черепахи — круглые, горбатые, с панцирем твердым, как стальная броня.

Солнце село. Дышать стало легче. Все приободрились. Перед нами дома, деревья и минареты Хоя. Муэдзины запели свои молитвы под аккомпанемент бесчисленного лягушачьего хора. Розовые скворцы стаями перелетают по вершинам тутовых деревьев. По большой дороге бесконечной лентой тянутся караваны беженцев-айсоров. Скрипят повозки, мычат и блеют стада, запыленные, измученные люди тащатся со

своим скарбом. Кое-где дорога обсажена громадными эвкалиптами, карагачами, шелковицами.

Мы въезжаем во двор караван-сарая и занимаем верхний этаж. Это большая комната, окруженная крытым балконом, а над ней — плоская глиняная крыша. На этой крыше я и доктор Полещук устраиваем свое спалье. На двух раскладушках под темным звездным небом мы засыпаем крепким сном.

Хой — это небольшой городишко с великим множеством собак и лягушек. Лягушки поют хором не переставая, и так же не умолкает собачий брех.

По дороге к крытому базару все время движутся арбы, идут ослики, верблюды. «Хабарда, хабарда!..» — кричат погонщики, продираясь сквозь толпу.

В крытом базаре — полумрак и какой-то свой, особый запах. Под ногами кучами лежат собаки, и надо все время смотреть под ноги, чтобы не споткнуться. Собак никто не бьет и не прогоняет, и они чувствуют себя хозяевами города.

По обе стороны крытой галереи, как ниши, темнеют лавчонки, и в каждой сидит важный перс в окружении своего товара, который он может достать рукой, не сходя с места.

Ремесленники тут же, на глазах, шьют обувь, делают бисерные уздечки для верблюдов, седла и сбрую.

В лавчонках можно купить сушеные и свежие фрукты, всякие сладости и можно закусить шашлыком и пловом.

Меня привлекает большая дорога. Я зарисовываю, сидя на своем балконе, беженцев-айсоров, их повозки, их скот, лошадей, осликов.

Иногда по дороге прогарцует молодой перс. Под ним пляшет красавец персидский жеребец. Всадник надменно глядит на толпу, кокетливо опираясь на плетку. На нем черный плащ и черная круглая шапочка, на коне — расшитое шелком седло, яркий малиновый чепрак, и на уздечке малиновые же кисти.

А вот едет на ослике богатая персиянка. Она закутана в чадру, завешена паранджой. Ее сопровождает слуга.

На дороге какое-то оживление. Это женщины-айсорки ловят своих овец, чтобы подоить. Догнав овечку, они садятся на нее верхом, задом наперед, и в таком положении, согнувшись дугой, доят одной рукой, держа в другой чашку.



Под громадной шелковицей расположилось на отдых семейство айсоров. Двухколесная арба завалена домашним скарбом. На ней ехали ребятишки, а взрослые люди шли пешком. Теперь они сидят усталые, бездомные, безнадежно глядя в неведомое будущее. Над ними, на шелковице, сидит наш знакомый мишка и со вкусом чавкает сладкие ягоды. Он очень рад, что кончилось путешествие по раскаленной почве пустыни и теперь можно и полакомиться ягодами, и полазить по развесистой шелковице.

Ну и здорово досталось прошлой ночью и мишке, и доктору Полешуку!

Этот легкомысленный доктор, плохо изучивший медвежий характер, привязал своего подопечного мишку на балконе, и только глинобитная стена отделяла мишку от кровати, на которой спал полковник. Медведи — народ деятельный, беспокойный, они не любят сидеть «сложив руки», они всегда что-нибудь копают, ковыряют, разрушают. Мишка тотчас занялся глинобитной стеной, он очень скоро проковырял в ней дыру и, учуяв спящего полковника, загорелся желанием устроиться рядом с ним на мягкой постели. Представьте ужас и негодование полковника, когда к нему пододеяло забрался медвежонок! Вот тут-то и досталось доктору Полешуку.

Этот доктор Полещук был еще совсем молодой человек, только что окончивший университет, добродушный, рассеянный, часто служивший мишенью дружеских острот и шаржей.

Ему, как полковому врачу, полагалась лошадь, но ездить на этой лошади он не мог. Я с ним был в приятельских отношениях, но это не мешало мне искренне веселиться, когда он садился на лошадь. Дело происходило так: конюх-башкир подъезжал верхом на коне. Башкир слезал с коня и подводил его Давиду Абрамовичу. Давид храбро подходил к лошади с правой стороны. Тогда я в самых изысканных выражениях напоминал ему, что на лошадь во всем мире принято садиться с левой стороны.

— А черт ее знает, где у нее левая сторона,— пытается оправдаться доктор.

Тогда я даю ему совет: «Вы станьте перед ней, и где будет ваша правая рука, напротив будет ее левое плечо».

— Ну знаете... Я еще хочу пожить на свете... чтобы я встал перед лошадию? Нет, увольте!

После всяких советов и уговоров он наконец взбирается на лошадь.

Лошади, как известно, прекрасно чувствуют седока. Лошадка начинает вертеться, кружиться — и ни с места, а применить плетку доктор не решался — она сейчас же подымалась на дыбы.

Кончается эта комедия тем, что доктор слезает с лошади и, чертыхаясь и ругая ее, отправляется пешком. Придет солдат-башкирин, сядет — и лошадка шелковая.

Среди ясного дня набежала туча и полил проливной дождь, а за ним — град, да ведь какой! Чуть что не с куриное яйцо!

Перед нашим домом на поляне стояли дружинные лошади. Они были привязаны к коновязи, и когда их начал бить град, стали рваться и прыгать. Несколько лошадей оторвались и принялись носиться по поляне, ища спасения. С нашей крыши слетел голубь и тут же упал, убитый градиной.

Полковника Талоцкого сняли, а на его место приехал другой. По-видимому, на него кто-то донес. Слишком откровенно полковник признавался, что он терпеть не может военщины, что он мирный человек и любит заниматься мир-

ными делами. Вот его и сняли и доставили ему удовольствие заниматься мирными занятиями на скудную пенсию.

И вот мы уже катим в коляске с полковником на станцию Джульфа и опять переезжаем Аракс, и опять нас никто не осматривает, никто не спрашивает документы, как будто и нет границы между Персией и Россией.

Времена были патриархальные.

ПОЕЗДКА НА «АНТИЛОПЕ-ГНУ»

В один прекрасный, солнечный день Анатолий, Катюша и я на нашей «Антилопе-Гну» покатали в Тбилиси за покупками и по военным делам.

На улице города мы столкнулись с телегой, запряженной буйволами, и наш шофер долго и яростно ругался. На базарной площади я с интересом рассматривал продавцов мацони, фруктов, шашлыка, вареных яиц и прочих деликатесов. В закоулочке между домами приютился фотограф. На полотне в рост человека изображен всадник, одетый в черкеску, с обнаженной саблей, верхом на коне. Вид самый геройский. Вместо головы у него прорезана дыра. Желаясь сняться, чтобы поразить своих односельчан, просовывает свою физиономию в эту дыру, и фотограф щелкает лихого всадника, размахивающего саблей. Через десять минут карточка готова.

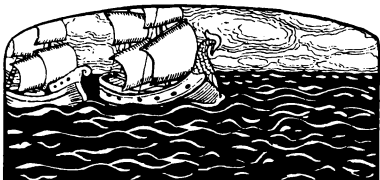
В эти десять минут герой может выпить фруктового сока, съесть шашлык или плов или сыграть в веревочку. Меня заинтересовала палатка, в которой продавался фруктовый сок. В ней сидел старый армянин с громадным нависшим носом, сплошь заросший волосами. Казалось, из густых дебрей выглядывал не нос, а какой-то очень любопытный зверь. Сбоку палатки висела дощечка, на которой было написано: «Если хочешь сил моральных и физических сбережь — пейте соков натуральных, развивайте грудь и плечи». Старый армянин не мог служить хорошей рекламой натуральных соков — весь скрюченный, он напоминал какую-то мохнатую гусеницу.

Мы зашли в большой продовольственный магазин. Хозяин с приветливой улыбкой и с грузинским акцентом угощает нас: «Кушай, пожалуйста, кушай! Изюм кушай, кишмиша кушай! Все кушай, пробуй, я с тебя денег не прошу, пробуй!

Вот балык, пробуй! Большой осетр из река Кура. Смотри, какой свежий, сегодня коптили». И хозяин отрезает кусок балыка и подает на ноже. Пробуй!

«Хороший балык — купишь, нехороший — не покупай!» Поневолe купишь у такого продавца, и мы покупали и балыка, и кефали, и сыра, и фруктов.





«СВЕТЛЯЧОК» И ДРУГИЕ ЖУРНАЛЫ

Я долго работал в журнале «Светлячок». Потом появился «Путеводный огонек», а в советское время «Мурзилка». Редактором этих журналов был Александр Александрович Федоров-Давыдов. Всегда одетый в черный сюртук, с большим черным галстуком-пластроном, он сидел в своем кабинете за большим письменным столом. И стол, и шкафы по стенам, и пол около его кресла — все было завалено книгами. Невозможно было понять, как он мог в таком хаосе найти нужную книгу, но он совершенно спокойно и уверенно доставал все, что ему было нужно, и уверял, что это не хаос, а как раз тот порядок, в котором только и можно работать. На столе у него всегда горела свечка, от которой он закуривал иногда свою папиросу или подогревал чуть-чуть чайную ложечку с опиум. Он поминутно вливал себе в нос наркотик и курил без передышки, зажигая одну папиросу от другой. Длинные прямые волосы падали ему на лоб. В черном сюртуке, бледный, с длинными волосами, с тихим глуховатым голосом, с большими грустными глазами и доброй, тоже грустной улыбкой, он мне всегда казался вышедшим из романов Диккенса. Он всегда радовался моим рисункам и хвалил их, и мы сразу понимали и дополняли друг друга. Кабинет Александра Александровича находился в квартире издателя, и надо было пройти редакцию,



чтобы попасть в него. В редакции сидели девушки-сотрудницы и ходила издательница журнала мадам, кажется, Гилбрехт. Она всегда была шикарно одета и звенела браслетами. Жгучая брюнетка, блестя бриллиантами, она производила впечатление, и я, тогда еще робкий юноша, спешил поскорее в кабинет Александра Александровича. Как-то я пришел к нему с ячменем на глазу. Это был мой первый ячмень, а благодаря Александру Александровичу и последний. «Стойте, стойте, да, никак, у вас ячмень? Я его сейчас заговорю, и у вас никогда больше не будет ячменя. Слышите? Никогда!» Александр Александрович пошептал что-то над моим глазом, приложил свое кольцо и сказал: «Вот и все!» Через день у меня уже не было никакого ячменя, и вот я прожил долгую жизнь — и никогда больше у меня ячменей не было. Что это? Случайно?

Но вот отгремела революция, все переменялось, перевернулось, но Александр Александрович все так же сидит согнувшись в своем кресле, все так же из ложечки вливает себе в нос, все так же улыбается доброй улыбкой. Мы с Анатолием

иногда приходим к нему, приносим с собой немного дров и картошки. Затапливаем у него камин, печем картошку и ведем тихие разговоры. «Светлячок» и «Путеводный огонек» умерли, «Мурзилка» еще не родился. Я в это время стал работать в советских издательствах с Николаем Андреевичем Андреевым, с Демьяном Бедным. Познакомился через Александра Александровича с художницей Соборовой, и с ней и еще с каким-то латышом расписывали агитпоезд. Писали гигантские плакаты и лозунги. Нам за это давали что-то пожевать. По вечерам иногда собирались у Соборовой и в обществе Александра Александровича пили чай с сахарином и лепешками из отрубей.

ВОКРУГ «БУРЖУЙКИ»

Возле железной печурки-«буржуйки» сидели три человека. Они вытаскивали из печурки, обжигая руки, горячую, душистую картошку и, посолив, с удовольствием ели.

Комнату освещал малюсенький огонек самодельной лампадки. Он хитро подмигивал. «Ничего, ничего,— говорил он,— потерпите. Вот «буржуйка» да я будем лучшими вашими друзьями. Потерпите — все имеет конец». Один из сидевших, в черном сюртуке и галстуке-пластрон, кутался в большой теплый плед и поминутно вливал в нос наркотик. Папиросу не выпускал изо рта. Другой — с большим турецким носом и тоже укутанный шарфом, с ногами, обутыми в самодельные сапоги из волчьей шкуры, с веревочными подметками. Это художник Анатолий Осипович Вальтер. Он кончил Школу живописи, ваяния и зодчества, кончил академию и, разочаровавшись в своем таланте, поступил в Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную академию. Теперь он студент. Третий был я.

Я давно работал в журнале «Светлячок». Там я рисовал танцующих лягушат, мышей, жуков, играющих на скрипке кузнечиков, зайчат, мишек и прочая, прочая.

Мы сидели в кабинете Федорова-Давыдова и рассказывали, как пилили сосну, несколько поленьев от которой мы принесли ему в подарок. Теперь они весело горели в «буржуйке», лаская нас своим теплом.

Десять дней тому назад сосна стояла в лесу Петровско-Разумовской академии и по ее веткам прыгали белки, пестрый



дятел стучал клювом, вытаскивая личинок, ее обдувал холодный ноябрьский ветер. Эту сосну начальство академии разрешило спилить Анатолию, и мы отправились в лес. Лесник показал ее нам, выдал двухметровую пилу, топор и ушел. Перед нами стояла невысокая, но очень толстая сухая сосна. Мы обошли ее кругом, постучали по ней топором, смерили — оказалось два с половиной обхвата, покрутили головой, потом попле-

вали в руку и стали пилить. Появился какой-то человек неопределенной профессии, остановился неподалеку и начал издеваться над нами:

— Тоже, пыльщики! Руби дерево по плечу! Да разве вам справиться с этим дубом. Он упадет и вас задавит, как червяков. Лучше бросьте, ребята...

Анатолий не выдержал:

— Эй, ты, скептик, уходи подобру-поздорову, пока цел. Уходи — я чемпион по боксу. Понял? — Человек неопределенной профессии скрылся...

Наша пила все глубже и глубже вгрызалась в ствол. Мы уже не видели друг друга, мы сняли теплые куртки и пилили в одних рубашках. Наконец дерево рухнуло. Ломая сучья, с треском и гулом ударились о землю. Теперь, лежа на земле, оно казалось еще толще. Мы разметили ствол на шесть полен. Мы здорово устали, пожевали немного холодной картошки и направились к дому. Нелегкая работа пилить деревья на голодный желудок. На другой день мы распилили ствол на громадные круги. Осталась вершина и сучья. К нашему горю, погода сильно изменилась. Очень потеплело, полил дождь. Снег растаял. Ни на санях, ни на колесах не вывезешь. Придется подождать санного пути. Прошло пять дней. Наконец выпал снег, подморозило. Анатолий получил из академии лошадь, и мы поехали за сосной. Большое огорчение ожидало нас. От вершины и веток ничего не осталось. Лежали только шесть громадных кругов, и все. Мы закатали их на дровни и пошли следом за санями в Москву, на Малую Бронную. На дворе мы сложили круги, их мы раскололи на поленья и на горбу перетащили на пятый этаж.

Дрова мы рассовали под столы, под кровати, в диваны. Теперь мы были богаты. Мы затопили «буржуйку», пригласили друзей на огонек погреться. Даже устроили «пир горой», так как у нас было два мешка картошки, тоже выращенной нами в Разумовском.

Время было трудное. Шел девятнадцатый год. Холод и голод забрались в Москву. Далеко не у всех были «буржуйки» и печеная картошка, и назябшиеся гости, обогретые теплом «буржуйки», блаженно улыбались.

Частенько к нам приходил Василий Иванович Сытин, сестры Груздевы, Мария Тимофеевна Дроздова. Все старались вобрать в себя как можно больше тепла.

Я в то время работала в Охране материнства и младенчества, у Веры Павловны Лебедевой. Как-то я приволок оттуда целый пуд муки. Вот это была радость!

Часто приходил к нам дядя Абраша — Абрам Александрович Йоф. Он тоже был сотрудником Охраны материнства и младенчества. Это был художник-дилетант и очень милый человек. Он был знаком со всеми художниками и привлекал их работать для выставки «Охрана материнства и младенчества». Сидя в тепле «буржуйки» и перекидывая с руки на руку горячую, слегка обуглившуюся картошку, мы вели душевные беседы. Хорошо рассказывала о своих необычайных приключениях Мария Тимофеевна. Это был наивный, непосредственный человек, и с ней всегда случались такие истории, какие не случаются с обыкновенными людьми. Мы хохотали над ее рассказами.

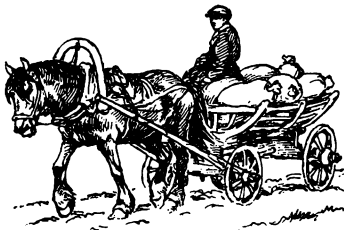
— Алексей Никанорович, помните, вы меня устроили рисовать с микроскопа в зоологическом саду, — начала свой рассказ Мария Тимофеевна. — Надо смотреть и в микроскоп, и на рисунок, и туда, и сюда, и опять туда-сюда. Очень скоро у меня закружилась голова, стало тошно, я ослабела, я ничего не могла делать. Не окончив работу, с трудом побрела по дорожкам сада к выходу. На улице я вспомнила, что тут, совсем рядом, на Красной Пресне живут мои друзья. Когда я пришла к ним, они испугались моей бледности и слабости и скорей уложили в темной комнате на кровать. Когда я полежала и немного пришла в себя, я поняла, что у моих друзей гости и им не до меня. Если я выйду к гостям в таком ужасном состоянии, они испугаются и уложат меня опять, а мне надо скорей домой. Дома я покойно полежу, и все пройдет. Надо как-то подвеселить себя, уничтожить эту бледность,

дать румянец лицу, подкрасить губы, убрать синяки под глазами. У меня были только акварельные краски. Я знала их расположение в ящике и смело стала, послонив палец, в темноте подрумянивать свои щеки, кармином подкрасила губы, белилами закрасила синяки под глазами. Вот теперь у меня здоровый цвет лица и я могу показаться людям. Когда я вышла из темной комнаты в ярко освещенную переднюю, ко мне подошла хозяйка квартиры. Взглянув на меня, она ахнула и чуть не упала. «Мария Тимофеевна, что с вами?» Я бросилась к двери. «Куда вы бежите?! Иван Петрович, поиди скорей сюда. Я не знаю, что с ней!» Я не стала дожидаться Ивана Петровича и помчалась что есть духу по лестнице вниз, на улицу. Скорей домой. Был уже поздний вечер, и на улице было темновато. Редкие прохожие с удивлением смотрели мне вслед. Скорей, скорей домой. Только бы не упасть на улице. Я напрягала последние силы и мчалась мимо зоосада вверх к Садовой. Вот открытые ворота Краснопресненской пожарной части. В воротах толпятся солдаты. Увидя меня, они стали хохотать. «Эй, красotka, не беги, погости у нас!» Какие-то еще крылатые словечки летели мне вдогонку, я не стала слушать и припустила как только могла. Вслед солдаты хохотали и свистели. Вот наконец и Малая Бронная, вот и Гирши. Напрягая последние силы, добралась до второго этажа. Звоню. Отворяет сестра. Взглянув на меня, она покачнулась, отскочила... «Машка! Ты напилась. У тебя все лицо разбито!» Я упала на кровать. Когда утром я посмотрела в зеркало, я поняла и ужас моих друзей, и смех пожарников, и негодование моей сестры.

Мы откровенно хохотали.

— Спасибо за рассказ, Мария Тимофеевна. Недаром Антон Павлович Чехов любил слушать ваши рассказы. А теперь возьмите эту печеную картошку. Кушайте. Вот соль.





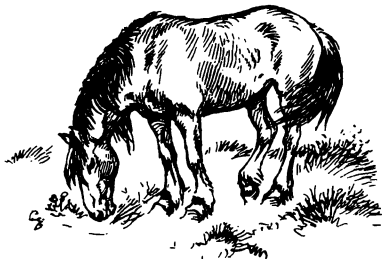
ОГОРОД

В Москве было трудное, голодное время.

— Если хотите, я с удовольствием отведу вам кусочек земли. Сейте, сажайте, Андрей вам вспашет, а остальное уж делайте сами. — Так была нам предложена помощь от наших друзей Березовских. Они жили на платформе Битца крестьянским хозяйством — мать и четверо детей. Всей семьей они обрабатывали маленький клочок земли, и обрабатывали хорошо, даже очень хорошо. Я с женой поехал туда, и мы горячо взялись за дело.

Три длинные грядки были нами тщательно обработаны, по шнурочку отбиты, по шнурочку посеяны. Мы обильно полили их и долго ими любовались.

Возле огорода ходила кобылка Машка и мирно щипала травку, молоденькую весеннюю травку. Она тоже любовалась нашими грядками. Ей они так понравились, что она решила на них поваляться. На беду, она завалилась хребтом между грядок. Ей было трудно подняться, и она долго билась, разрушая наши труды. Когда она поднялась на ноги — грядки потеряли свои четкие очертания, потеряли ровную поверхность. Мы со слезами попросили Машку удалиться. Тяжело вздыхая, мы принялись лопатой и граблями поправлять наши злополучные грядки. Все испорчено. Все перепутано. Теперь



на грядках вырастет какая-то беспорядочная чепуха, и морковь, и лук, и свекла будут расти кучами и между грядок. Грустно. Пропала работа, а главное, пропали надежды.

Живем в Москве. Надо бы поехать полить наши грядки, но у нас пропал к ним всякий интерес. Что поливать, когда все вконец испорчено. В эту весну погода была на удивление — днем тепло, солнце, а ночью дождь. Мы наконец решили поехать посмотреть наши грядки. Со страхом подходим к огороду, и... Мы глазам не верим — все выросло, все зеленеет ровными рядочками. В двух-трех местах, правда, есть пропуски, но очень маленькие. Когда мы исправили все грехи, то огород выглядел блестяще. Мы даже простили Машке. Надежды воскресли. Надежды оправдались. Вырос урожай. Да ведь какой! Свекла с арбуз, морковь в руку толщиной... а лук, а репа! Хоть на выставку тащи. Мы собрали наш урожай в мешки. Андрей запряг Машку в телегу, и вот я, торжественно посседаая на мешках, еду в Москву. Еду через Красную площадь, мимо Василия Блаженного, это в телеге-то, нагруженной мешками, с горой сена и запряженной деревенской лошаденкой. В то время и такие экипажи ездили по Москве. Овощи доставлены на Бронную. Нас подмывает похвастаться своими достижениями в сельском хозяйстве. Мы отбираем самые крупные свеклы, самые мощные и самые красные мор-

кови, красавицы помидоры, луковицы, репы, моем их и красиво укладываем в корзину. Сверху кладем кисти фасоли, гороха, бобов — корзина просится на картину. Чудный натюрморт...

Одному нести такую корзину трудно. Увязываем салфеткой и тащим вдвоем нашим друзьям Хачатурянам. Сурен Ильич и Саррочка восторженно встречают нас. Это наши давние друзья, с которыми мы переживали и хорошие, и плохие годы.

Вместе с Суреном жили и его братья — Леон и Арам. Арам тогда был еще совсем молодой — ему было лет девятнадцать-двадцать. К глубокому нашему сожалению, Сурен умер совсем молодым.

Саррочка была сибирячка — Сарра Михайловна Дунаева. Я ее знал еще девушкой, когда она училась на Высших женских курсах. Это была веселая, умная, необычайно добрая, деликатная девушка. Настоящий культурный человек.





НАРКОМЗДРАВ

Голодные годы.

Звонок. Отворяю дверь. Входит человек небольшого роста в крылатке.

— Вы художник Комаров?

— Чем могу быть вам полезен?

Крылатка вешается на крючок, человек с приветливой улыбкой входит в комнату.

— Вот что, батенька. Нам нужен художник-анималист. У нас работает Архипов, Спасский и хорошие шрифтисты. Наркомздрав устраивает выставку «Охрана материнства и младенчества». Есть плакаты с животными, и вот мне порекомендовали вас как анималиста. Я, батенька, тоже художник и заведу оформлением выставки, а зовут меня Абрам Александрович Йоф. Нам нужен плакат на тему: «Зачем ты пьешь мое молоко? Разве твоя мама не кормит тебя грудью?» Надо нарисовать младенца в колясочке, сосущего молоко из бутылочки, и рядом маленького тельенка, который спрашивает его. Только, милочка, поскорей давайте. Ладно?

Так мы познакомились с дядей Абрашей, а потом и подружился. Я стал рисовать плакаты для выставки. За плакаты платили мукой или деньгами. Помню, принес я целый пуд муки — то-то был пир. Напекли лепешек, стали мечтать о

пироге с капустой. Дядя Абраша заходил часто и стал своим человеком — другом дома.

Выставкой управляла Вера Павловна Лебедева — женщина очень умная и деловая, а где-то недосыгаемо высоко сидел Н. А. Семашко — первый нарком здравоохранения. Гонорары нам, художникам, выплачивал Райц. Он говорил, что хочет есть свой хлеб с маслом, а потому из нашего гонорара он удерживал хороший процент.

ХОМЯК

Я принес его за пазухой и посадил на стол. Прежде всего он стал вылизывать и расчесывать свою шерстку. Выражение мордочки у него было самое серьезное и озабоченное. Он считал, что это самое важное и необходимое дело. Ну хорошо! Я не стал с ним спорить — делай как знаешь. На столе лежал арбуз. Я отрезал кусочек арбуза и предложил ему.

Это было как раз то, чего ему хотелось. Он с жадностью стал есть сладкий сочный арбуз. Ел из моих рук, ел, как будто он всегда был моим другом, как будто он с детства привык, чтобы я кормил его. Достаточно закусив, он неожиданно вцепился в мою руку и прокусил насквозь мне палец. Этого я не ожидал от него. Обидно все-таки. Я к нему всей душой, а он насквозь палец прокусил...

Я принес и поставил под стол в своей комнате большой деревянный ящик. В него я положил сена, положил морковки, овса, конопляного семени, подсолнушков. Поставил плошку с водой. Рядом стоял такой же ящик. В нем, повизгивая и турлыкая, веселились морские свинки. Оба ящика сверху были без крышек, но морские свинки не могли, да и не стремились вылезать. Я думал, что и хомяк будет вести себя так же. О, как я плохо знал хомяка. И как был за это наказан!

Утром я обнаружил, что все пять морских свинок загрызены. Загрызен и скворчик, ночевавший на перекладине под моей кроватью, а сам разбойник хомяк забился в угол за комод и злобно скрежешет зубами.

Пришлось купить проволоки, мягкой жести, досок и смастерить клетку. Вот так-то лучше, уважаемый хомячок; так и вам покойнее, и другим зверюшкам безопаснее. Очень уж у



вас характер неуживчивый. А вот с виду вы такой ласковый, приветливый, такой уютный, чистенький, в белых перчаточках, в черной бархатной жилеточке. Всегда причесанный, пушинке не даст сесть — обязательно снимет. А как он устроил свое жилище! Красота! В самом темном, самом покойном углу он из сена смастерил гнездо. Тепло, уютно. Рядом с гнездом кладовая. Тут аккуратными кучками положены всякие

запасы: овес, пшеница, кедровые орешки, горох, подсолнушки. Все по сортам. Все бережно. Уборная в самом дальнем углу. Чистота и порядок изумительные. Ни соринки. Сам хозяин все время вылизывает свою шкурку. И все-то он чистится, все-то он обирается. Рисую с него портрет за портретом.

Телефонный звонок. Незнакомый голос: приятный, бархатный баритон.

— Я имею удовольствие говорить с художником Комаровым? Я редактор издательства Мириманов. Я бы очень хотел, чтобы вы сотрудничали в моем издательстве. Если вы согласны, прошу вас зайти ко мне для переговоров.

Захожу. Мириманов чрезвычайно любезен. Приглашает на чашку чаю. Знакомит меня со своей супругой и сыном. Там же был Василий Алексеевич Ватагин и поэт-футурист Каменский. Я и Ватагин оба удивляемся, как это до сих пор мы были не знакомы? Я очень часто бывал в зоосаду, и он там тоже бывал часто, да так там и не встретились.

Стол прекрасно сервирован: торты, печенье, варенье. Мириманов до приторности сладок, подкладывает куски торта, в чай подливает ром.

Случайно я заметил грозный взгляд Мириманова, когда сын хотел взять себе кусок торта. Сын сразу изменил свое намеренье и взял штучку печенья.

Это меня насторожило, и я стал внимательно наблюдать за ним. Мириманов все время обчищается, снимает пушинки с рукава. На нем полковничий мундир, вычищенный и разглаженный, до блеска начищенные сапоги, ослепительной белизны воротничок и манжеты. У него привычка облизывать

губы и все время чуть-чуть поплевывать, как будто к его губам пристали крошки.

На кого же он похож? Кого он мне напоминает?

В это время входит новый гость — художник Иогансон. Мириманов знакомит его с нами и усаживает за стол. Он развивает перед нами планы своих изданий, рисует радужные перспективы. По его словам, через год, а то и раньше мы будем загребать деньги лопатой. За рисунки он будет платить нам втрое, вчетверо больше, чем теперь, а пока издательство еще не окрепло, оно еле-еле сводит концы с концами.

Мы с Ватагиным сидим, слушаем, молчим. Каменский не поддается жалостным речам Мириманова. Он сразу ставит вопрос: «Сколько за строчку?» И объявляет свою цену, и ни копейки меньше.

Ватагин, конечно, согласится на самую нищенскую оплату. Я слышал от художников, что бывают случаи, когда он отказывался от хорошего гонорара, говорил, что это слишком дорого и он может работать за более скромную плату. И теперь Мириманов предлагает нам эту самую скромную плату. Очень скромную, за которую не согласится работать ни один рядовой художник. А вот мы соглашаемся. Ульстил нас, усахарил, наобещал. Чего только не наобещал! Очень уж умеет он мягко стелить.

Но все же кого, кого он мне напоминает? Кого? Да, конечно, моего разбойника — хомяка! Все ухватки такие же. Хищник, а с виду прямо ангел. Ласковость необыкновенная — весь к вашим услугам, но пальца в рот не клади. И гнездышко он себе устроил уютное: чистота в нем умопомрачительная, и кое-что про запас в банке у него наверняка лежит. Мы книжечки рисуем, а он денежки складывает. Глядь, а на Пречистенском бульваре уютный домик вырос. Незаметный домик, в углу между большими домами, и сидит в нем, как паук, Мириманов, и в паутинку к нему глупые мушки влипают.

Махровым цветом расцвел Мириманов во время нэпа, и мы немало тому способствовали. Кирпичики ему в домик подкладывали.

Много таких хомячков во время нэпа себе в норки кое-чего понатаскали.

ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ

Госиздат. Демьян Бедный хлопает меня по плечу: «Погоди, Комаров, заживем богато, толстый будешь». В те годы я был нежирен, но толстым быть я все же не собирался и об этом не мечтал. С Демьяном я сделал несколько книжек-сказок.



Начинаю работать в Учпедгизе. Учпедгиз только что образовался — художников хороших нет, рисуют такие ужасные «наглядные пособия», что вспомнить страшно. Работы много, и я влипаю в это дело до ушей. Заведующий Лазоревский вцепился в меня и завалил работой.

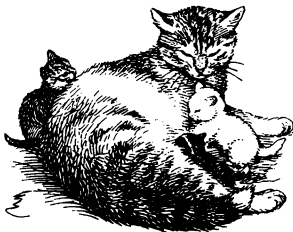
В Учпедгизе я работал очень много лет и сделал там пропасть рисунков для учебников, картин по развитию речи, настенных картин, наглядных пособий по зоологии и географии горами сложено в запасниках Учпедгиза. Я всегда старался сделать эту работу как можно лучше, художественней. Иногда мне в этом мешали требования педагогов-авторов. Иногда на обсуждение картин приезжали из министерства, и даже сами министры просвещения. Был такой случай. Обсуждается моя картина для наглядных пособий «Тетерев-косач». Я его изобразил в позе токования, когда птица блещет красками и показывает свой наряд, желая затмить противника и прельстить подругу жизни. То есть я показал тетерева-косача с самой лучшей стороны. Но

министр понял по-своему. «Это может навести детей на вредные мысли,— сказал сей мудрый педагог.— Нарисуйте его в обыкновенной позе».

ПЛАТФОРМА БИТЦА

Вскоре мы переехали на станцию Битца в дом Юлии Степановны Измайловой. Мой друг Анатолий недавно уехал с большим трудом в Стерлитамак к своей жене и детям. Вдруг мы получаем телеграмму: «Толя умер от холеры». Горе окутало нашу семью. Жена собралась и поехала в Стерлитамак за вдовой и детьми брата. Я остался ждать их. Телеграмма. Еду встречать на Казанский вокзал. Вот они. Забираю часть вещей, сажаю на плечо маленькую Олю. Димка с ночным горшком, в котором гремит банка сгущенного молока, держась за юбку Катюши, бодро топает рядом. Жена моя волочит какой-то узел. Вся эта процессия шествует по Москве на Курский вокзал. Вот мы и дома. Все вместе. На Битце у нас большая дача. Рядом с нами совхоз «Измайлово», детский дом на даче Грина, и с третьей стороны клочок земли Ольги Александровны Березовской. Ольга Александровна — наша старинная знакомая, старый друг. Ольга Александровна вдова, у нее четверо детей — Леля, Лидя, Андрей и Юра.





ПИТОМНИК. 1927 ГОД

Жена моя работала в Сасыкольском питомнике Астраханской области. В питомнике выращивали саженцы деревьев, которые шли в посадку для укрепления движущихся песков. Питомник был расположен на берегу Ашулука, притока Ахтубы. С другой стороны близко к нему подступали барханы сыпучего песка. В километре от питомника была деревня Сасыколи. Эта деревня ежегодно подвергалась угрозе быть засыпанной песком. Улица между домами была почти непроходима из-за сыпучего песка. Чтобы спасти деревню и остановить движение песка, нужно было посадкой растений укрепить его. Вот в питомнике для этой цели и выращивали деревья и кустарники.

На берегу речки работал мотор, подающий воду, и питомник, хорошо орошаемый, был весь в зелени. На территории питомника было несколько домиков для служащих и сараев для лошадей и верблюдов.

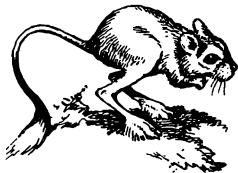
Летом я приезжал в это чудесное райское местечко. Домик, в котором я жил вместе с женой, был окружен высокими канадскими тополями, которые за шесть-семь лет жизни выросли в громадные, высокие деревья. Живая изгородь вокруг питомника была из колючего кустарника гледичии, с колючками до десяти сантиметров длиной, и шелковицы, к осени

покрытой сладкими черными ягодами. Тут гнездились и жило много всяких пичужек.

Под жарким астраханским солнцем и при обилии влаги быстро и пышно разрастались все растения. Но стоило выйти за ограду питомника, как ты попадал в совершенно другой мир. Это была барханная пустыня с редкими кустиками песчаного овса, кумарчака и джужгуна. Песок почти все время в движении. С вершин барханов при малейшем ветерке струится песок. Вся поверхность песка ребристая, как волны на воде. Днем, в жару, все безжизненно: ни насекомых, ни ящериц, ни птиц. Зато рано утром, пока на солнце не высохла ночная роса и песок не начал свое движение, сколько следов ночной жизни увидишь на песке. Следы тушканчиков, всевозможных ящериц, насекомых. Весь песок исчерчен тропинками, продырявлен норками. Разроешь, бывало, норку, иногда очень глубокую, во всю руку, до сырого песка и вытащишь ящерицу-круглоголовку. Сначала она старается убежать, но потом, видя, что ей это не удастся, раскрывает пасть с большими красными лопастями по бокам, поднимает хвост с черной закорючкой вверх и начинает нападать: подпрыгивая, старается уцепиться за руку. Стоит только оставить ее в покое, она успокаивается и начинает мелко и быстро дрожать, и благодаря вибрации тела песок под ней раздается, она погружается и засыпается песком. Минуты через три-четыре ящерицы уже не видно.

Хорошо было в песках ранней весной, когда еще не обжигало солнце. Местами по низинкам, где песок не был таким подвижным, разрастался джужгун, странный кустарник, у которого вместо листьев тонкие зеленые веточки. Летом джужгун выглядел почти мертвым кустиком, весной же расцветал изумительными ароматными розоватыми цветами. Кустик был так красив среди песчаных барханов, что чувство восторга охватывало каждого, кто видел его. Любил я ходить по пескам, взяв с собой киргизскую борзую Лашку, с короткой черной шерстью, очень тонкую и изящную. Нужно было видеть, как она радовалась прогулке. Она стремглав носилась по пескам и, высматривая тушканчиков, высоко подпрыгивала, вертя головой во все стороны.

Много птиц привлекал к себе зеленый оазис питомника. На высоких деревьях тополя иногда селились дикие утки. Они занимали старые заброшенные гнезда и выводили там утят. Утята мягкими, легкими шариками валились сверху и, падая на



траву, не ушибались, а тут же бежали за матерью на ближайший водоем.

По дорожкам и по грядкам питомника бегали удоны и, распуская и складывая хохолки, покрикивали: худо тут, худо тут. Своими длинными, тонкими клювами они вытаскивали из земли медведок и этих страшилищ засовывали птенцам в глотки. Несколько гнезд было у нашего дома в заваленке. Очень интересно следить за жизнью семьи. Птенцы все разного возраста, так как самочка, положив первое яйцо, садилась высиживать и в течение нескольких дней докладывала остальные. Птенцы были очень прожорливы и горласты. Увидев родителей, они поднимали страшный шум и возню. Мне захотелось поближе подойти и рассмотреть птенцов, но я был здорово наказан за свое любопытство. Все птенцы при моем приближении повернулись задиками ко мне и сбрызнули меня отвратительной зловонной жидкостью, от которой я еле отмылся.

При питомнике жила кошка, трехцветная, с зелеными глазами. Она была страшная хищница и охотница. У кошки появились котята, и когда они немного подросли, кошка, желая приучить котят к охоте, приносила добычу живьем. Мы обнаруживали у себя в комнате, где были котята, прыгающих лягушек, бегающих мышей, ящериц и полуживых птичек. Как-то ночью проснулись от сильного шума. Через открытое окно прыгнула кошка, в зубах у нее был коростель. Коростель был жив и, выпущенный кошкой, заметался по комнате и захлопал крыльями. Я поймал птицу, но она была сильно ранена и скоро погибла. Три ночи подряд кошка приносила коростелей. Видимо, она ловила птичек во время их пересе-



ления на юг. Ведь они совершают свой поход с юга на север и обратно пешком.

Как-то в колючих кустах гледичии обнаружили разоренное гнездо сорокопута-жулана, оно было сброшено вниз, но в нем нашли еще живых пять птенчиков. Жена взяла их и стала выкармливать. Это был очень большой труд. Через каждый час в глотку птенцам нужно было всовывать червей, бабочек, мух. Они начинали орать с четырех часов утра, и жена схватывала лопату и мчалась копать червей. Затыкала им глотки, и птенцы на время успокаивались, но скоро опять начинали орать. Птенцы подросли, оперились, научились летать, стали очень ручными. Не умея добывать для себя пищу, они требовали ее от нас. С раннего утра они подлетали к нашим кроватям и до тех пор орали над ухом, пока кто-нибудь, бранясь и проклиная надоедливых птиц, не вскакивал с постели и не засовывал им что-нибудь в глотку. Потом мы огородили себя от птенцов, догадавшись на ночь к себе на постель класть кошку, которую они очень боялись и подлетать близко не решались. Пока они были маленькие, нам удавалось сберечь их от кошки, когда же они стали летать, это сделать было труднее. Кошка караулила их. Едва сорокопут сядил на спинку стула, она снизу старалась подпрыгнуть и схватить его. Это ей кое-когда удавалось. Птенцов становилось все меньше и меньше, и наконец остался только один, самый умный и осторожный. Он почти не расставался с людьми, всюду летая или за мной, или за женой. Садился на плечо, на голову. Научился сам ловить насекомых и ящериц. Крупных насекомых и ящериц он всегда накалывал на колючки или острые сучки, потом расклевывал и съедал. Однажды он

прилетел с окровавленной лапкой, а через несколько дней пропал. Видимо, и он попался кошке.

Осенью мне пришлось уехать в Москву. А ранней весной я получил маленькую посылочку. В ней были крошечные черепашки, чуть побольше пяточка. Они сидели в траве, и около некоторых лежали пленки от яйца, из которого они вылупились. В посылке была записочка. Жена писала, что в песке нашла кучку яиц черепахи. Черепашки начали уже выводиться и были так хороши, что ей захотелось послать их мне. Когда я открывал посылку, ко мне пришли гости — артисты Художественного театра. Они были в таком восторге от крошечных черепашек, что им захотелось показать их в театре, и они выпросили их у меня. Черепашки разошлись по рукам артистов.





ХУРУЛ

«До свидания, до свидания! Мы завтра вернемся!»

Володя сел на козлы, я и Наташа уселись в тарантасик. Лошади дружно влегли в хомуты, и мы резво покатали. Мы едем через луга к берегу Волги, где стоит калмыцкий монастырь — хурул. Когда мы ехали по пескам мимо деревни, мимо мельниц, нас обдувало ветерком, жара была незаметна, и лошадки наши все прибавляли ходу. Но вот мы свернули в луга и покатали по сыроватой черной дороге, бегущей между небольшими лужами, оставшимися от разлива Ахтубы. Трава еще не выросла и не зацвела. Тут на нас набросились озверелые слепни, кровожадные мухи всех калибров и всех пород. Эти варвары набросились с таким азартом и так зверски принялись вгрызаться в лошадей, что бедняги стали останавливаться и отбиваться всеми четырьмя ногами. Кровь струйками стекала по шерсти.

Мы наломали веток и что есть силы стали бить этих кровопийц. Потом вскочили в тарантасик и погнали лошадей. Мы мчались во весь дух, а наши мучители не отставали; они роem носились вокруг нас и жалили, жалили наших несчастных коней.

Вот на двух бычках, не торопясь, едет калмык. Рой слепней вьется вокруг него, но ни бычки, ни калмык не обращают

внимания на них. Калмык с бычками остался далеко позади. Перед нами овражек, или, как тут называют, «ерик», в нем довольно много воды. Мы выбрали, где поуже, и с разбега с лошадьми и тарантасиком завязли в глубокой грязи.

Лошади попрыгали, попрыгали и легли.

Пришлось, по колени в грязи, распрячь лошадек и на вожжах вытащить экипаж на тот берег. И мы и лошади, как свиньи, извалялись в грязи. Лошадей кое-как обмыли, но сами так и остались в довольно будничном виде.

Калмык на своих бычках догнал нас и спокойно переехал ерик в широком месте и скрылся на горизонте.

Мокрые наши лошадки стали дрожать. Мы скорее запрягли их и помчались вскачь.

Вот и хурул. Несколько небольших домиков, несколько полуразрушенных часовенок, и посередине довольно большой деревянный храм. Храм какой-то полукитайской архитектуры, весь расписанный символическими фигурами, какими-то чудовищными колесами. Я спешно зарисовываю храм и снаружи, и внутри. Рисую домики монахов, часовенки.

В монастыре только два монаха-гилюна. Один из них пьяный, необычайно ласковый и приветливый, другой хмурый, суровый. Оба одеты в длинные красные халаты.

В полуразрушенных часовенках лежат, отдыхая, козы, и под ними мы находим писанные на шелку иконки, затоптанные в песок бронзовые фигурки будд и других святых, колокольчики и иные ритуальные предметы.

В предыдущем году был большой разлив Волги, и хурул некоторое время находился под водой.

Мы обратились к суровому гилюну с просьбой разрешить нам подобрать гибнущие на земле ценности, но он грозно отверг нашу просьбу. Все же, несмотря на запрет, мы набрали немало всяких фигурок и иконок.

Мы не долго пробыли в хуруле и к вечеру уехали домой. Мне было очень интересно это место, и мы с Наташей немного погодя пришли в хурул пешком. Монастырь и поселок были пусты — все мужское население было где-то на совещании и должно было вернуться к вечеру.

Мы хорошо рассмотрели внутренность храма. Там сидел громадный золоченый Будда и стояло много больших прекрасных икон. Вдоль стен выстроились будды меньшего размера и бронзовые фигурки богинь. В храме же находился

целый склад каких-то барабанов, колокольчиков и других предметов для ритуальных обрядов.

Я сделал много зарисовок, и к вечеру, здорово устав, мы пошли к стогам, чтобы там устроиться на ночь.

Тем временем вернулись мужчины с совещания и, узнав, что по монастырю бродили какие-то люди, что-то записывали и зарисовывали, заподозрили неладное и всем народом пошли ловить их, чтобы допросить и учинить расправу.

Мы легли около стога и стали уже засыпать, когда услышали какие-то голоса и в темноте увидели осторожно обходящие нас фигуры. Несколько человек подошли и грубо приказали:

— Вставай.

Нас повели в селение, в сельсовет. За столом сидел председатель, перед ним лежал револьвер.

Лица у всех были суровые.

— Кто такие? Откуда?

Все что-то кричат, хотели вязать нам руки. Мы кое-как старались объяснить, что мы из Сасыкольского питомника от Макара Макаровича. Услышав, что мы от Макара Макаровича, все разом успокоились. Председатель убрал свой револьвер в стол.

— А, Макарка! Макарка — хороший человек, мы знаем Макарку...

Нас отпустили на волю, и мы отправились под свой стог и мирно уснули.

На другое утро на обратном пути мы набрали на калмыцкое кочевье.

Во все времена и у всех народов женщины любили и любят украшать себя яркими платьями, серьгами, браслетами, кольцами. Их костюмы всегда блещут красками и привлекают нас, художников, больше, чем одежды мужчин, обычно темные, будничные, — и здесь в этом кочевье мне очень понравилась одна калмычка, сидящая возле своей юрты, очень милостивая и нарядно одетая.

Я уговорил ее позировать: с неохотой, но она согласилась и села у входа своей юрты на подушечку. Я быстро стал ее зарисовывать в свой альбом. Кругом стояли ребятишки и женщины, смеясь, сыпали свои замечания и критику.

Вдали показалась пара запряженных быков, они медленно подъезжали к нам. Это был хозяин; не спеша распряг он быков, посмотрел на мою работу, обошел кругом натурщицу

и вдруг неожиданно сзади с размаха дал ей жестокого пинка... Бедняжка покатилась кубарем, потом с плачем убежала в юрту. Там продолжалась эта дикая семейная сцена. Вот так иногда кончаются мои сеансы портретной живописи.

Обычно же все обходилось мирно, и натурщики были довольны самой скромной платой, а то и вовсе ничего не брали. Забавно видеть, как калмыки принимали мои портреты. Когда работа подходила к концу и они видели сходство, они начинали неудержимо хохотать, тыкать пальцами в рисунок и хохотать, хохотать до упаду.

ОЗЕРО БАСКУНЧАК

Мы подъезжали к озеру Баскунчак. Запряженный в телегу верблюд гордо шагал по степи, изредка срывая растущие у дороги колючки и своими бархатными губами спокойно забирая их в рот. Этого я не мог понять. Колючки так остры и так тверды — как стальные иголки, а верблюд их ест, как сочный салат. Вообще это животное какое-то сказочное и характер имеет самый удивительный. Верблюд доверху переполнен важностью. С величайшим презрением смотрит он на мир своими чудными темными глазами из-под длинных ресниц. Он выше всего. Самолюбия у него бездна. Он не позволит в чем-нибудь превзойти его. Однажды я ехал верхом на резвом иноходце. Впереди едет на верблюде, запряженном в телегу, крестьянская девушка. Догоняю верблюда. Равняюсь с ним и хочу обогнать. Не тут-то было. Верблюд презрительно посмотрел на меня и, задетый за живое, так наддал, такой развил бешеный аллюр, что бедная девушка в ужасе кричала: «Чу, чу!» — и что есть силы тянула вожжи. Верблюд не хотел уступить и, не обращая внимания на крик и на вожжи, мчал галопом. Мой конек тоже был с характером и рванул во всю прыть. Не знаю, чем бы кончилась эта скачка, на счастье, у девушки оборвалась одна вожжа, и оставшейся вожжой она завернула верблюда. Потеряв меня из виду, верблюд опомнился, с него соскочил задор, и вернулось его величавое спокойствие.

Ну довольно о верблюдах. Итак, мы подъезжаем к озеру Баскунчак. Вдали что-то белеет. Что это, снег? Нет, это соль. Здесь царство соли. Вся земля вокруг озера насквозь просоленная. Вот маленький прудик. Вода в нем насыщена солью. Но это не мешает тростнику расти в ней. Кругом, на сухой



земле, растут солянки — растения с толстыми сочными листьями и такими же стеблями. Они напитаны солью. Их едят только верблюды. На пятнадцать верст протянулось озеро. Пятнадцать верст по длине, три — пять верст ширины и глубиной на много метров, и все это сплошная соль. Идешь по озеру, как по паркету, по твердой окаменевшей соли. По озеру проложены рельсы. Экскаватор вгрызается в твердую соль. Соль дробит машина, промывает и грузит в вагоны.

Только у берега тянется полоска воды — да и то это не вода, а рапа — перенасыщенный раствор соли. Ложись в эту воду и не утонешь — вода вытолкнет тебя наверх. Да и мелко тут, не выше колена. Киргизы босиком, с засученными до колен штанами выгребают лопатами соль из рапы в небольшие кучи. Идет верблюд по рапе, везет телегу, на верблюде киргизенок сидит, гикает. Подойдет верблюд к куче соли, нагрузят телегу, и везет он телегу к огромным, как двухэтажные дома, кладям соли.

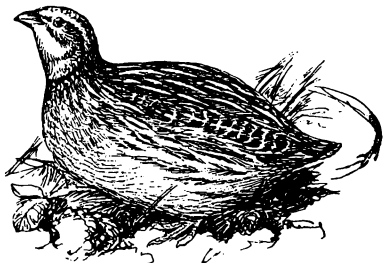




СРЕДНЯЯ АЗИЯ

Гляжу в окно из своей мастерской. За окном летит, кружится снег, качаются вершины сосен. Все бело, все в вихре летящего снега. Много дней не было видно солнца, и в комнате все время потемки. Хочется тепла, света, ясного синего неба. Невольно вспоминается Самарканд. Вспоминаются голубые купола мечетей, дивные орнаменты стен, шумная толпа, караваны верблюдов, маленькие ослики и солнце, солнце, все заливающее своими лучами. Я брожу по городу и зарисовываю все, что попадется мне на глаза: и людей, и повозки с громадными колесами, и лошадей, украшенных расшитой бисером сбруей, и громадные карагачи, и тополя. Я не боюсь солнца и не обращаю внимания на жару.

Захожу в чайханы и пью чай со сладким виноградом вместо сахара. Здесь все выскочило из сказок Шахразады — и люди, и минареты, и базары. Все сказка. Вот джинн, превратившийся в скрюченного старика в чалме и пестром ватном халате, вот красавица Бибигуль пробирается глухими переулками на свидание с молодым певцом. Лицо ее завешено паранджой, на ней черное одеяние, и никто не узнает ее. Медленно шагают верблюды, выюки их покрыты коврами, уздечки расшиты бисером, громадные разноцветные кисти мотаются под их мордами. Первого верблюда ведет узбек, сидящий на спине кро-



хотного ослика, на последнем верблюде висит громадный медный колокол.

Вот статный джигит на красавце коне гарцует среди пестрой толпы. Вот целые горы арбузов и дынь, семенит ножками серый ишачок, нагруженный янтарным виноградом. На базаре непрерывный крик перепелов, у каждого торговца висит клетка с перепелом. Очень просто сделана клетка — половина тыквы и колпак из рыболовной сетки. Вот и все. Подскочит перепел, ударится головкой о сетку и не ушибет головку.

Любят узбеки перепелиные бои. Встретятся на базаре два любителя, отойдут в сторонку и сядут на корточки в тени, под деревом. Из рукавов халатов выпустят двух славных бойцов. Кругом уже стоят игроки и ставят монетки на своих фаворитов.

Над базаром, высоко на куполе мечети, громадное гнездо аиста. Шумит базар, копошатся люди, а там, в вышине, стоит на одной ноге мудрая птица и безучастно смотрит куда-то вдаль.

Как-то летом в Москве, изнывая от пыли и духоты, мне пришла счастливая мысль поехать куда-нибудь подальше: ну хотя бы в Среднюю Азию. Я пошел в редакцию журнала «Мурзилка» и высказал свое желание своему другу Алек-

сандру Александровичу Федорову-Давыдову, редактору этого журнала.

— Прекрасно,— сказал он,— поезжайте! Это очень интересно, а я дам вам командировку от газеты «Правда». Вы для моего журнала сделаете несколько набросков, а командировочка может вам очень пригодиться.

И правда, бумажка эта оказалась прямо сказочной. Приезжаю в Андижан — номеров в гостинице нет. Показываю бумажку — и ключ от номера у меня в кармане. И так везде. Из Андижана еду в Наманган, а дальше на длинной мажаре, которая направляется к леснику за жердями, пробираюсь в горы.

Подъехали к дому лесника среди ночи и остановились шагах в ста от дома. Собаки на нас лают, мы стоим молчим. Лесник принял нас за бандитов и уже хотел пристрелить нас, но вовремя одумался, и мы, вместо того чтобы лежать хладными трупами на мокрой траве, сидим в теплой избе и пьем чай. Наутро я с лесником верхами отправились в горы к озеру Сары-Челек. Едем через лес, в нем громадные деревья грецкого ореха. На них часто вырастают наплывы, иногда величиной в два обхвата, а то и больше... Эти наплывы распиливают на листы фанеры для оклейки мебели. Часто на этих листах бывают красивые узоры, которые ярко выступают после полировки. Лесник говорит мне, что недавно распилили такой наплыв, отполировали, а на нем проглянула такая картина: стоит кибитка, рядом верблюд и узбеки сидят, чай пьют. Все как вырисовано.

Едем по узкой тропинке, нам навстречу на быках и яках — каракиргизы. Женщины — в громадных белых тюрубанах, в ярких платьях. Очень красиво. Останавливаю их, дарю им несколько кусочков сахара и прошу постоять минут пять — десять. Спешно рисую киргизку на быке, хочу зарисовать другую на яке, но им стоять надоело, и они, нахлестав быков, быстро поехали по крутой тропинке вниз.

Вот и озеро Сары-Челек. Подъезжая, мы спугнули табунок диких свиней. Громко рывкнув, они опрометью бросились в кусты кизила.

Сары-Челек — значит «Желтое ведро», и на самом деле его окружают желтые горы. Они отражаются в чистой прозрачной воде. Сажусь писать этюд этого озера. Надо мной дикая яблоня, с нее на меня валятся небольшие, но вкусные яблочки.

К сожалению, мне пора возвращаться в Москву. Возвращаюсь в Наманган. Через несколько дней иду на вокзал, показываю начальнику станции чудесную бумажку.

— Пожалуйста, сейчас я вам принесу билет — тут один пассажир отказался, и билет свободен.

Спасибо Александру Александровичу — бумажка действительно чудесная!

В Ашхабаде я встретился с археологом, он отыскивал здесь старинные вещи, посуду, украшения и т. п. Мы вместе ночевали в Доме крестьянина, а утром, уходя, сцепили наши чемоданы цепочкой, прикрепили их к спинке кровати и зашелкнули замком. Ушли на целый день. Я рисовал, мой новый знакомый что-то писал. Мы вместе пообедали и вечером вернулись в Дом крестьянина. Тут на нас напали уборщицы. Разъяренные бабенки кричали, что мы своими чемоданами так загрузили кровать, что они не могли сдвинуть ее с места, а им нужно было мыть полы, что они будут жаловаться на нас начальству и нас выселят отсюда. Кое-как уломали и задобрили свирепых бабенок. Здесь, в окрестностях Ашхабада, я зарисовывал белуджей, туркменских женщин, лошадей. Из Ашхабада мы поехали в Самарканд. Я хотел купить халат, но мой приятель все халаты расхаивал и говорил, что мы достанем настоящий, хороший халат. Так я и не купил халата. Пожалуй, это было и лучше — на что он нужен? В Самарканде я купил рулон хорошего немецкого ватмана и отправил его по почте в Москву. В Москве о ватмане давно забыли.

В Самарканде же я приобрел колит. Это чертовски неприятная болезнь, крайне неудобная в густонаселенном городе. Отсюда, кое-что нарисовав и посмотрев, мы отправились в Бухару.

Вернувшись в Москву, я, к великому огорчению, обнаружил, что в Азии я приобрел не только колит, но и брюшной тиф. Я слег. Все в моем сознании перепуталось, я лежал и постепенно начал остывать. Моя жена, Екатерина Осиповна, мужественно боролась с моей болезнью. Она обложила меня кругом бутылками с горячей водой. Доктор Андреев впрыснул мне какую-то жидкость, от которой моя рука стала гореть, как будто ее поджаривали на костре. Я не ел ничего несколько дней, может быть, пять или шесть. Тогда наступило такое блаженное состояние, такой покой, такая необыкновенная

легкость и полнейшее равнодушие ко всему — я как будто был где-то в другом мире. Я слышал, что говорили обо мне, я видел людей, но они были где-то далеко, где-то по ту сторону. Потом наступило выздоровление. Я вернулся в наш мир, я как будто родился вновь. Меня все радовало, все интересовало. Прежде всего я хотел есть. Еда была главным моим желанием. Я мечтал о костном мозге, о рыбьем жире. Три раза в день мне давали по столовой ложке рыбьего жира. Я стал тихонько бродить по комнате. Мне захотелось что-то делать, захотелось природы, сажать кусты, поливать цветы. Я пошел в зоосад, и там на новой территории вместе с Ватагиным и садовником мы устроили и засадили тростником, водяными растениями и кустами прудик для фламинго и цапель. Прудик вышел очень живописный, а когда пустили туда птиц, он мог очаровать самого равнодушного зрителя. Так закончилась моя поездка в Среднюю Азию.





ДАРВИНСКИЙ МУЗЕЙ

Подходит Сергей Сергеевич с высоким человеком в очках, с бородой с проседью и высоким лбом, переходящим в лысину, и говорит: «Вот, знакомься, это директор Дарвинского музея Александр Федорович Котс». Я давно слышал про Александра Федоровича и давно хотел побывать в Дарвинском музее, но все как-то не удавалось. Александру Федоровичу понравились мои тетерева, что я писал для зоомузея, и он стал настойчиво приглашать меня к себе, и вот я в Дарвинском музее. Александр Федорович показывает мне залы музея, битком набитые чучелами, скульптурой, картинами. Тут хватит на пять музеев, а он мечтает о новых и новых экспонатах. Он полон энергии, и замыслы его грандиозны: он мечтает о музее с тридцатью залами, о таком музее, где бы не было ни одной надписи и все было бы ясно для посетителя и без них. Он хочет создать такой музей, в котором не было бы ни одной банки с заспиртованными лягушками или двухголовыми младенцами, такой музей, где сами экспонаты говорили бы ясно и понятно, что хотел сказать создатель музея. Он хочет, чтобы я написал ему целую серию картин, говорящих языком Дарвина.

Я начинаю работать в Дарвинском музее, я знакомлюсь с семьей Александра Федоровича и с сотрудниками музея. Там

работает Василий Алексеевич. Он лепит фигуры доисторических людей, пещерных медведей, гигантских ленивцев, им уже сделано много чудных рисунков экзотических птиц, попугаев и пр.

Василий Алексеевич обогатил музей прекрасными фигурами Дарвина, Линнея и других ученых. Василий Алексеевич вложил колоссальный труд в музей. Он да еще Филипп Федулов, который сделал для музея сотни чучел зверей и птиц. Федулов был как бы членом семьи Александра Федоровича, да и другие сотрудники музея жили одной семьей, и всем были близки и дороги интересы музея. Работал там художник Езучевский, но я с ним не встретился: он неожиданно умер, когда я вступил в сотрудники музея.

Я тоже полюбил музей и всех его сотрудников и работал в нем, не гоняясь за деньгами и за славой, работал под влиянием Александра Федоровича, который заражал меня своими идеями и знанием природы.

Работать в музее было удобно. Большой зал, громадные окна, тишина, всегда можно было найти в коллекции музея зверя или птицу, нужную для картины, всегда можно было посоветоваться с Александром Федоровичем или с Ватагиным. В 1934 году я съездил с зооэкспедицией Зоомузея на Алтай и там сильно обогатил свой запас пейзажей. Моя первая картина, написанная в музее, — охотник-алтаец с белым тетеревом. Тут мне очень пригодился алтайский этюд. Александру





Федоровичу хотелось как можно скорей осуществлять свои замыслы, и он все время торопил меня и не давал дописывать и переделывать картины. «Довольно, довольно! Очень хорошо! Ни убавить, ни прибавить!» — говорил он и уже описывал новую картину и приносил чучела или шкуры для нее. Все мои работы ему очень нравились, и он искренне восхищался.

Работал там и художник Трофимов Вадим Вадимович. Он слепил серию «Происхождение лошади». Все скульптуры были в на-

туру. Вадим Вадимович знает лошадь — он одно время был жокеем на скачках и близко был знаком с лошадыю.

Александр Федорович еще до нашего знакомства был директором Московского зоопарка, и был в самое тяжелое время — во время революции, когда голод, холод и война косили животных; тогда Музей Дарвина обогатился многими крупными зверями. Тут были и слоны, и жирафы. Когда я увидел музей, в нем было так много чучел, что в двух залах наверху пройти можно было только протискиваясь бочком между зверями. Но Александру Федоровичу все было мало, и он и выменивал, и приобретал все новые и новые экспонаты. Федулов непрерывно работал, и из шкур возникали новые звери и птицы. Возникла целая серия собак всех пород. У меня издохла южнорусская овчарка, и она тоже попала в музей.

Александр Федорович рассказывал мне, как создавался музей. Еще пятнадцатилетним мальчиком он задумал создать музей. Он ходил на Трубную площадь и покупал у торговцев мертвых птичек и делал сам из них чучела. Эти первые экспонаты сохранились и до сей поры, и он показывал их мне. Эта идея создания музея крепко держалась в сердце Александра Федоровича. Он пронес ее через всю свою жизнь. Он мечтал создать особенный музей. Всеми силами он старался добиться от правительства признания и постройки музея, но идеи Дарвина не всем были понятны, и так при жизни Александр Федорович и не добился постройки музея. Уже начали



строить на Набережной, но потом отдали здание балетной школе — видимо, она нам нужнее.

Так и умер величайший энтузиаст, крупный ученый и человек неизменной энергии, не добившись осуществления своей мечты. У Александра Федоровича были проекты всех тридцати залов с точным указанием места для каждой картины, для каждого чучела. И вся эта колоссальная работа свелась на нет.

Построят ли когда-нибудь музей, осуществляются ли мечты целой жизни? Или так пропадут, распылятся по другим музеям уникальные коллекции, мировые ценности. В музее имеются редчайшие выродки тетеревов: белые, пестрые, желтые, куроперые, которых Котс и Лоренц собирали в течение сорока лет в Охотном ряду. Через Охотный ряд ежегодно проходил приблизительно один миллион тетеревов. Молодцам, которые их продавали, было обещано вознаграждение за каждого необычного тетерева, и они откидывали таких в сторону и потом вручали Александру Федоровичу или Лоренцу. Таким образом, за сорок лет из сорока миллионов тетеревов было отобрано около десятка выродков.

В музее три или четыре белых орла, — когда во всех музеях мира имеется только два орла, белый ворон, белая ворона, галка, белая сорока и т. д.

А волки — и белые, и черные, и рыжие, и все они были убиты в одном выводке в Тульской области. Белые лисы и другие звери. Уникальная коллекция райских птиц, коллекция колибри, экзотических бабочек, жуков — и чего-чего только нет. А сколько чучел зверей и птиц, а скульптура, а какая масса картин. Только моих картин в музее сто сорок три штуки, а Ватагина, а Езучевского и других художников. Богатства музея очень велики, и сердце болит за их сохранность.

В ... году Александр Федорович приезжал ко мне в Пески и погостил у меня около месяца. Он очень воспитанный, крайне деликатный человек, и все невольно около него подтягивались.

Гостила у нас и Надежда Николаевна Ладыгина-Котс. Много раз приезжал к нам и Дмитрий Яковлевич Федулов, один из семьи Федуловых — препараторов. Один Федулов работал препаратором в зоомузее, а два у Котса и, кажется, где-то еще есть препараторы Федуловы.

Работая в зоопарке, зоомузее и в Дарвинском музее, я перепознакомился со многими зоологами, и многие из них бы-

вали у меня в Песках. В Дарвинском музее я привык к большому холстам, и меня уже не пугал холст в два-три метра, холсты небольших размеров теряются на большой стене в большом зале. Все это было бы хорошо, если бы не спешка. Многие картины надо бы прописать, доработать, довести до конца, а мы с Александром Федоровичем говорили: «Ладно, довольно, хорошо, а лучшее враг хорошего!» И отставляли ее к стене, а сами брались за новую. Более удачные мои картины-панно были написаны в Песках. Я привозил в Пески шкурки зверей и птиц и писал не торопясь. В бытность свою в Песках Александр Федорович восхищался нашим садом, тишиной и воздухом, но все время болел душой за свой музей, и к нему часто приезжал Федулов Дмитрий Яковлевич и докладывал, что в музее все благополучно и все здоровы. Ночевал Александр Федорович в моей мастерской, подымался рано и, чтобы не разбудить меня, выходил через окно. Окно было не высоко.





АЛТАЙ. 1934 ГОД

В один прекрасный летний день (это было в 1934 году) я зашел к своим друзьям-профессорам в зоомузей.

В знакомой комнате было что-то невообразимое: на полу стояли деревянные сундуки, картонные большие коробки, палатки, постельные принадлежности. На столах ружья, патроны, походные чайники, сушеные овощи, пакеты с провизией, дневники. Директор музея Сергей Сергеевич Туров и Владимир Георгиевич Гептнер с озабоченными, но радостными лицами что-то укладывают, что-то записывают, советуются, что еще надо купить, что оставить, что взять.

Оказывается, они едут в экспедицию на Алтай. А почему бы и мне не поехать с ними? Робко высказываю свое желание, которое с каждой секундой разгорается во мне все сильнее и сильнее. А вдруг не возьмут? Начальник экспедиции профессор Туров грозно и испытующе смотрит на меня, молчит. Душа уходит в пятки. Не возьмут, конечно, не возьмут. И вдруг милостиво:

— Ну что ж, присоединяйтесь, места хватит.

Спешно собираю художественные принадлежности, перекидные сумы, спальные вещи, табак и трубку. Я готов.

На вокзале нас провожают жены, машут платочками, и вот наконец мы едем!

Началась волшебная сказка. Добрый джинн, стуча колесами, пыхтя и фыркая дымом, помчал нас в неведомые страны. Вот мы и в Бийске. От Бийска до Уалы (Горно-Алтайска) добрались на трехтонке. Здесь нас должны были встретить подводы из заповедника. Подвод не оказалось. Пришлось их ждать и сидеть в Уале. Но вот и подводы. Две длинные можары в одну лошадку и два алтайца. Грузим свои ящики для коллекций, пищевые запасы, палатки, ружья — и в путь. Нас, москвичей, четыре человека: Сергей Сергеевич Туров, Владимир Георгиевич Гептнер, препаратор Федулов и я. Идем пешком рядом с лошадьми. Наконец добираемся до заповедника. Из заповедника на лодке едем к устью реки Кыги, где будем ожидать лошадей и проводников.

И вот караван полностью собран. У нас тринадцать лошадей, два проводника и гербаризатор. Лошадки небольшие, но крепкие. Один проводник русский, другой ойрот Кибезеков. Кибезеков, старик лет шестидесяти, ведет нас уверенно по тем местам, по которым он ходил с отцом еще мальчишкой. Длинной цепочкой растянулся наш караван, пробираясь то альпийскими лугами, то по глухой тайге, то спускаясь в ущелья или поднимаясь на вершины гор. Целый день идет караван, целый день я сижу в седле и любуюсь дивными пейзажами. Вот суровое ущелье, старые замшелые кедры по склонам, по дну мчится бурный поток, через него перекинулись громадные стволы. За сердце хватает эта дикая красота. Вот бы сесть тут и написать, но караван идет, идет, и нельзя отстать от него. С грустью смотрю на эти дивные красоты и стараюсь запомнить их. А эти красоты сменяют друг друга и кажутся одна лучше другой. Но караван идет все вперед и вперед, и дивные картины остаются позади, а остановимся, как всегда, в самом неинтересном месте, там, где удобно разбить палатку, где можно пустить на траву лошадей, где бежит горный ручеек. Вот громадный старый кедр. Передние лошади остановились, остановился весь караван. Проводники снимают с лошадей вьюки, расседлывают. Разводят костер, ставят палатку. С удовольствием прыгнув с лошади, делаю разминку и скорей-скорей хватаю альбом или этюдник. Пока сварят суп и вскипят чайник, я кое-что успею зарисовать.

Профессора ставят ловушки на мелких зверьков, Федулов садится препарировать убитых по дороге птичек. Горит костер. Фыркают пасущиеся лошади, набегают вечерние тени... Над



костром порхают летучие мыши, иногда, привлеченная огнем, перелетит полянку летяга.

Поели, напились чая и, отдыхая, сидим вокруг костра. Сидим и смотрим на огонь. Смотрим, как пляшут духи огня. Эти духи огня очаровывали еще пещерных охотников и первых огнепоклонников.

Кибезеков тихонько поет церковные молитвы, Федулов толкает его в бок:

— Брось панихиду гудеть! Расскажи лучше что-нибудь: ну с каким зверем ты встречался? Что в тайге видел?

— Что видел? Много видел... Всякий зверь видел... И хороший зверь, и плохой... Вот в этом самом месте я на колонка плашки ставил. Отец вниз пошел к реке, а я тут в лесу стою... мало-мало думаю... Я еще тогда молодой совсем был... Глянул в сторону — вижу, медведь на меня смотрит. Ух, и большой медведь! Красивый медведь... Весь черный, а холка и голова как золотом блестят. Смотрит на меня и с лапы на лапу переступает. Прицелился я, хорошо прицелился и выстрелил... Пропал медведь, нет медведя! Куда девался? Пошел я за ним, тихо иду, гляжу, хорошо гляжу... Нет медведя. Большой елка лежит. Подошел я к валежине, а он как выскочит. За ней он лежал... Да на меня. Не успел я стрелять. Ударил он меня по голове лапой. Сильно ударил. Упал, лежу... Подошел он, нюхает... Перевернул меня. Я лежу как мертвый. Тихо лежу.

Обошел он кругом. Еще раз перевернул меня и давай хворост огребать. Захватит охапку и на меня кладет. И ветки, и мох, и землю загребаёт и все на меня кладет. Большой бугор на меня навалил. Я лежу ни живой ни мертвый, от удара голова чужой совсем. Потом маленько опомнился. Дышать надо. Прокопал я маленько в мусоре норку. Воздух надо, дышать надо! Лежу тихо. Всю ночь пролежал я. На заре пришел зверь, стал меня откапывать. Тут больно страшно мне было. Почует, что я живой, и начнет ломать! Тут я его близко смотрел... Левое ухо все в крови — это, знать, моя пуля его мало-мало дырка делал. Думай, что делать? Ружье где? Не знаю. А медведь тут. Вдруг слышу — собака лает. Это отец меня ищет, а Вынга на медведя лает, и вот, чую, меня кто-то лапками теревит и лицо лижет. Вынга! И отца ко мне привела. Умный собака, больно умный. А медведь ушел, совсем ушел.

Караван наш идет альпийскими лугами. Трава выше роста человека, кое-где последние кедры. С одной стороны высятся скалы, а под ними каменная россыпь. Здесь, в лугах, объявлена стоянка. Простоим два дня. Я доволен. Тут я поработаю без спешки, с удовольствием. Отправляюсь к каменной россыпи, удобно устраиваюсь между камнями и начинаю работать.

Недалеко от меня выбежала сеноставка, вспрыгнула на высокий камень и стала внимательно смотреть на меня. В зубах у нее большой пучок травы. День был жаркий, солнечный, и у нее покос в полном разгаре. Она положила принесенное сено на нагретый солнцем камень и скрылась. Немного погодя она появилась опять с новым пучком травы. Вид у нее был самый деловой. Она не хотела терять ни одной минуты солнечного дня. Я сидел тихо, и она трудилась, не боясь меня. Мудрый инстинкт приказывает ей делать запасы на зиму, и она делает их. Трудись, трудись, я тебе не помешаю.

Я написал несколько этюдов. Профессора наловили и настреляли зверьков и птичек. Лошади отдохнули. Утром караван трогается в путь. Едем. Кибезеков увидел медведя. Остановка. Сергей Сергеич Туров осторожно подходит. Выстрел, медведь остался на том же месте, только лег на брюхо. Я стремительно бегу его зарисовывать. Потом медведя кладут на седло и везут к лагерю. Федулов снимает шкуру. Вырезают печенку, и мы на прутиках жарим ее над углями.



Давно у нас не было мяса, и мы с аппетитом уплетаем этот шашлык из печенки. Кибезеков вырезает желчь и осторожно завертывает ее в тряпочку. Это ценное лекарство. Шкуру натирают солью и свертывают, медвежатина значительно увеличила наши пищевые запасы.

День и ночь на свежем воздухе, всегда в движении, всегда в хорошем настроении, окруженный дивными красотами природы, я имел волчий аппетит, да и не один я — все ели так, что многие горожане позавидовали бы нам. Во время похода мы не пили, как бы ни было жарко.

На горных вершинах воздух чист — там нет сильной жары, нет ни комаров, ни мух, ни мошки. Спать можно покойно — никто тебя не укусит. Спали крепко и снов никаких не видели.

Однажды на одной стоянке отошел я от лагеря в тайгу и сижу пишу этюд. Место дивное, дикое. И тут на меня рассердился бурундук. Я стал его уговаривать:

— Очень прошу тебя: не сердись, не цокай, не взмахивай хвостиком. Я тебе не мешаю. У тебя твое дело, у меня свое.

Он остановился на стволе поваленного дерева, сердито смотрит на меня, злобно урчит и размахивает хвостом. В зубах у него толстая стопочка каких-то листьев. Он бежал в свою норку, чтобы положить там этот груз, и вдруг перед ним сидит человек. Сидит на самой дороге и делает что-то непонятное. Бурундук возмущен. Как ему втолковать, что я не покушаюсь ни на его жизнь, ни на его добычу. Я сижу и рисую акварелью этот замшелый ствол поваленного бурей кедра, покрытые ли-

шайниками громадные камни, сосны, кусты и вечернее небо. Я не знал, что тут его участок, его родовое поместье. Я нарисую этюд и уйду — я ничего не возьму, ничего не испорчу. Я сижу тихо и работаю.

Бурундук исчез. Через несколько минут он опять появился на том же стволе, но у него во рту уже не было пачки листьев. Он добежал до середины ствола, гневно взмахнул хвостом и с досады даже подпрыгнул.

— Не надо так возмущаться. Я скоро кончу и уйду.

Но у бурундука характер строптивый и вздорный — он любит уединение и не терпит непрошенных гостей. Я тоже люблю уединение и с наслаждением тихо сижу в дремучей тайге или где-нибудь на берегу озера, сижу и рисую дикую нетронутую природу. Это лучшие часы в моей жизни. Рабочие часы. Когда-то, по преданию, Бог выгнал человека из рая и наказал его трудом. Как же был удивлен Бог, когда это проклятие, этот труд сделали человека человеком и сравняли с Богом.

В вечернем воздухе тишина. Бурундук куда-то скрылся. Где-то далеко постукивает дятел да изредка хрипло закричит кедровка. И вдруг, прорезав тишину, грянул выстрел, потом другой, третий, четвертый.

Четыре выстрела прогремели из того места, где находился наш лагерь. Четыре винтовочных выстрела... Кто может стрелять и в кого? А вдруг? Вчера мы, проезжая, наткнулись на шалаш браконьеров. Совсем свежие следы. Вот тут у них горел небольшой костерик, а над ним тренога, на которой висел котел для варки пантов. В шалаше три постели из лапника. По всему видно, что тут очень недавно жили люди. Какие люди? Наш проводник Кибезеков говорит:

— Плохой люди. Тана Тува плохой люди. С ними встречаться худо. Им ружье надо, патрон надо. Тана Тува худой люди.

И вот мне приходит в голову, что эти «худой люди» могут позариться на наши ружья, на патроны, и... В Москве грабят, а тут? Тут глушь, бездорожье, и Тана-Тувинская граница рядом. Ищи ветра в поле.



Ну кто же мог стрелять в лагере? С такими страшными мыслями спешно укладываю краски, кисти, альбом и, совсем забыв о бурундуке, ухожу из его владений.

У меня никакого оружия нет — только палка от зонтика с острым железным наконечником, вот и все. До лагеря не больше километра. Стараюсь подойти осторожно, скрываясь за стволами деревьев. Мне страшно увидеть лагерь... А вдруг там?... А вдруг там лежат убитые, ходят чужие люди... Чем я могу помочь своим друзьям? Стараясь идти неслышно, все ближе и ближе подхожу к лагерю. Если случилась эта страшная беда, то ведь и я пропал. Как я один доберусь до человеческого жилья? Ружье мое, конечно, я не найду, пищи и одежды тоже не найду. В кармане у меня один наполовину пустой коробок спичек, и в кисете немного табаку. Вот и все. Мысли мои бегут все быстрее и быстрее, а картина представляется все ужаснее.

Подкрадываюсь еще ближе. Какие-то голоса... Еще несколько шагов — и мне стала видна палатка. Палатка стоит на месте... И вдруг я вижу... я вижу Сергея Сергеевича и Гептнера. Они стоят и что-то горячо обсуждают. Слава тебе... Мне стало тепло, даже жарко. Со всех ног я бросился к лагерю, запутался в своей амуниции, упал и наконец добежал до них, до моих зверски убитых друзей.

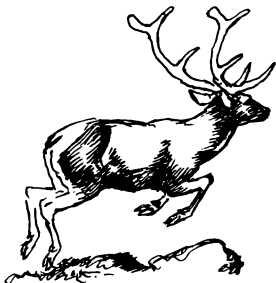
— В кого вы стреляли? Кого убили? Ну и напугали вы меня! Я подумал, что на вас напали тувинцы и вы лежите бездыханные. Нельзя же представить себе, что на вас напал медведь или лось.

— Не лось, а марал. Промчался как ветер через лагерь. Понимаете, мимо палаток, мимо костра... Но самое забавное, что наш гербаризатор дрыхнет и сейчас в своей палатке. Над ним мы стреляли, мертвый бы вскочил, а он дрыхнет. Вот это сон! За ноги можно из палатки вытащить — и не проснется!

Но что же заставило этого марала мчаться через лагерь? Ведь не по доброй же воле и не из озорства он влетел сюда?

— Мы вдогонку ему стреляли,— оправдываются охотники.— Досадно, черт возьми, рядом ведь был!

Куда мчался марал? Кто его напугал? Это так и осталось тайной. Он мчался через лагерь, явно ища защиты у человека. Но ведь не все бывают такие добрые, чтобы промахиваться по рядом бегущему крупному зверю. Могли ведь нечаянно и



попасть! Но марал умчался, сделав переполох в лагере и напугав меня.

Мы долго обсуждали это событие и так и недодумались, чем и кем был напуган марал.

Этим не кончилась эта история. В душевном расстройстве я потерял палку с острым концом, к которой привертывается зонтик. Без нее — как без рук. Объявлена награда — пять рублей, и Кибезеков нашел. Все в порядке. Едем дальше.

Караван идет по склону горы. Шагах в трехстах два медведя мирно переворачивают камни и раскапывают мышиные норы. Нам они видны как на ладони. Туров и Гептнер хватают ружья и спускаются к медведям. Два выстрела. Один медведь лег, потом вскочил, сделал несколько прыжков и опять упал. Другой пустился наутек. Вдогонку ему прозвучали два или три выстрела, что только прибавило ему прыти. Убитый медведь был черный, довольно крупный. Честь разбойного нападения на него принадлежала Гептнеру.

Пришлось недалеко разбивать лагерь, снимать шкуру, жарить шашлык, развешивать на веревках присоленное мясо. Я, конечно, радуюсь остановке: рисую и медведя, и пейзажи, лагерь и костер.

Два месяца едем по звериным тропам, по альпийским лугам, по тайге, по горным вершинам. За все это время мы не видали ни одной человеческой души. И вот только теперь, когда мы проезжали высоко в горах вдоль Тана-Тувинской границы, нам встретился отряд пограничников. Их было пять человек и собака. Они ехали верхом на крепких алтайских лошадаках. Отряд переезжал горную бурную реку. Это были рослые красивые молодцы. Они смело переправились через реку и подъехали к нам. Поздоровавшись, они спросили, кто мы, зачем и куда едем. Узнав, что это научная экспедиция Московского университета, они пожелали нам успеха, дружески распрощались с нами и уехали.

Эта встреча мне показалась интересной. Я хорошо запомнил ее, и когда в 1938 году в Москве открылась выставка «20 лет РККА и Военно-Морского Флота», я поставил туда свою картину «Пограничники», которая была приобретена Музеем Красной Армии и одобрена в печати.

Наше путешествие подходит к концу. В последний раз мы поднялись на перевал.

Прощайте, горные вершины, не сердитесь на нас, что мы нарушали ваше извечное безмолвие. Прощайте! Я никогда не забуду вас. Никогда не забуду ваши просторы, ваши туманные дали, плывущие по вашим склонам облака, бурные реки, цветущие луга, глухие ущелья, звериные тропы и тишину, ничем не нарушаемую тишину.

Мы стоим на вершине крутого откоса. Внизу перед нами долина реки Чулышмана. Нам видны крытые берестой юрты и около них люди, лошади, собаки. Дня три, как у нас кончился табак, и мы страдаем. Теперь мы надеемся, что эти люди дадут нам табак, и мы оживем. Начался спуск. Очень трудный спуск. Приходится развьючивать лошадей и переносить вьюки на руках. Тропинка такая узкая (с левой стороны каменная стена) — не даст пройти завьюченной лошади. Развьючивать и опять завьючивать — это большая работа, и это надо проделывать часто на крутом откосе, с которого, того и гляди, покатишься вниз в глубокую пропасть. Наконец мы внизу. Запасаемся табаком. Курим сырые табачные листья. Мерзость ужасная, но другого нет — рады и этому.

Мы поставили свои палатки неподалеку от алтайских юрт и стали готовиться к ночлегу. Я стал зарисовывать юрты ал-

тайцев. Это конусовидные постройки из жердей и березовой коры. Из одной юрты вылез на четвереньках ребенок лет двух. Он был совершенно голый, на траве была изморозь, и холодный ветерок тянул с горных вершин. Он вылез из-под двери и пополз по мороженой траве, как будто это был бархатный ковер в теплой комнате. Немного погодя вышла из юрты женщина, взяла за руку ребенка и, как шенка, отнесла его в юрту.

Заповедник. Это последний этап нашего путешествия. Здесь, в туристической базе, мы приобшились к мировой культуре. Обедали за столом. Гептнер сделал себе гоголь-моголь, о котором он мечтал на горных вершинах, Федулов выпил стакан водки. И вот, нагрузив большую лодку своими вещами, мы с проводником на корме поплыли по реке Бии.

Прощай, Алтай. Прощайте, горные просторы. Прощайте, звери и птицы.





ЛЕШИЙ

Эта история началась с того, что я пошел за чем-то в Союз художников и там увидел объявление, предлагающее вступать в члены дачно-строительного кооператива. На станции Пески можно выбрать по вкусу участок, войти в члены кооператива и построить себе дачку. Прекрасно! Довольно дышать газом, довольно сидеть на пятом этаже. Скорей в лес, в луга, в поле! В первое же раннее утро я сажусь в вагон с моими новыми знакомыми — членами ДСК. От станции двадцать минут хода, и я в дивной березовой роще. Сторож дядя Вася указывает мне мой участок.

На участке стоит избушка в три окошка на курьих ножках. Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом! Она повернулась, и я вошел в нее. Вошел в нее и остался! Из этого окошка я буду смотреть, как лесной конек с песенкой взлетает вверх и с песенкой, распустив крылышки, опускается на тот же кустик. Придет вечер, и я увижу, как месяц спрячется за лесом, как светлей засияют звезды и все задремлет до утренней зари. Буду слушать, как сова запоеет свою весеннюю песню, как затрещит козодой. Послушаю и засну. Коротка весенняя ночь, короток и прозрачен сон. Смотрю, в окне на фоне весенней ночи появилась косматая голова, косматые плечи и руки. На голове, мне показалось, что-то похожее на рожки. Руками мой

гость уцепился за подоконник и молча смотрел на меня. Из окна пахло свежим воздухом с ароматом клейких березовых листочков. Где-то, совсем близко, защелкал соловей.



«Послушайте, что вам надо? Вы же видите, что я сплю, и лезете в окошко. Вы кто такой?» Голова прошелестела, как шелестят листья деревьев: «Простите, я думал, что вы не спите. Заглянул побеседовать». — «Да кто вы? Отвечайте!» — «А я здешний леший. Вот и хотел с вами познакомиться... Соседи ведь будем! Привык я к здешним местам — тихо, покойно тут, даже за грибами бабы ходить бояться — я их маленько попугал, так, знаете ли, поухал, как филин, — ох и припустили, до дома без передышки. С тех пор реже стали сюда ходить. А вот, на мое горе, сюда наехали художники, и я вижу, мне пришел капут. Куда мне на старости лет деваться? Хоть в омут головой». — «Вот что я вам посоветую, дорогой леший. Забирайте вы свои пожитки и бегите куда глаза глядят, и чем дальше вы убежите, тем для вас будет лучше. Здесь вам не житье — настроят дач, патефоны, радио... Тут не то что леший — все лесные птицы и звери удерут. Бегите, бегите без оглядки!»

Я вижу, что мой ночной гость приуныл и задумался.

«Знаете ли, какая история? Один-то я бы смог убежать, а ведь у меня... Не один я... Куда я со старухой?»

«С какой старухой?»

«Да с бабой-ягой. Мы с ней тут полвека живем, в этом году золотую свадьбу справлять хотели — и вот на-поди... Сами знаете, баба без хозяйства жить не может — завела там птиц разных. Гамаюнов, сиринов развела — каждый день их два раза кормит. Прожорливые — страсть! А еще у нее кот черный, старый-престарый. Видите сами, какая у меня обуза. Куда я с этой оравой пойду!»

Мне было очень жаль бедного лешего, и я сказал:

«Я бы охотно предложил вам свой участок, да у меня леса мало — поляна открытая. Вам здесь будет неудобно, да к тому же я тоже не один... А знаете, женщины боятся



всякой чертовщины. Увидит вас моя супруга — визг подымет, хоть святых выноси!»

Мы оба призадумались и долго молчали. Близился рассвет, и небо стало бледнеть. В кустах запела птичка. «Крапивничек поет! Это пятый час,— сказал леший.— Ну, мне пора. Пойду к своей старухе. Прощайте. Спасибо за ласку!» И он исчез, а я заснул крепким пред-рассветным сном.

На другой вечер в моем окошке опять появилась голова с небольшими рогами.

«Вы не сердитесь на меня? А я опять пришел побеседовать с вами. Много есть всяких вопросов. Вот я и пришел. Сказал я вчера своей старухе, что вы советуете бежать отсюда, так она такой тарарам подняла, я уж поскорей от нее в кусты... Кричит: «С ума ты сошел, старый хрыч, собрался на Байкал ехать! Да на чем ты поедешь, старый дурень? Ступа-то у меня сгнила, вся растрескалась, на ней далеко не уедешь, на метле хорошо только на короткое расстояние, а ежели далеко... Сидеть-то на ней неловко! Да и привыкла, говорит, я к этим местам». Что делать? Не будешь же спорить со старухой. Она тут привыкла, тут у нее на селе, в старых домах, много родных, знакомых и подружек: домовые, дворовые, кикиморы, шишиги, шептухи, овинники, а в реке водяной ей дядей приходится. По ночам она привыкла с русалками в подкидного дурака играть. А ведь привычка — вторая натура. Придется нам тут остаться — как-нибудь устроимся».

Леший печально вздохнул и стряхнул с шеи лесного клопа.

«Вы не спите?» — спросил он меня.

«Вот что, дорогой, если вам что-то надо от меня, то говорите поскорей и уходите — я спать хочу!»

«Уж чуточку потерпите — я не долго... Участок у нас большой и лесок есть, а ежели по моим советам поступать будете, то годика через три-четыре тут такая чащоба будет — прямо медвежий угол. Вот я вас и прошу — не копайте землю, не корчуйте деревья и кусты — пусть все растет, как ему хочется. Вы сами увидите, какая красота будет. Тайга! Берите краски и пишите прямо с крыльца. Вам никуда и ездить не надо —

все дома будет, и цветы будут расти. Наши русские цветы: кукушкины слезки, колокольчики, иван-да-марья, анютины глазки. Красота! А сколько будет ландышей! Сплошь засядут под кустами. Да что там цветы? Птичек сколько будет! Гнезд понастроят и на ветках, и на земле. Только ходить надо осторожно, чтобы не наступить на гнездышко. На земле пеночка построит свой шалашик, и овсянка, и козодой, а на кустах — сорокопуты, дрозды, в дуплошках синички, вертишейки, и все петь будут, и на всех вы в бинокль любоваться будете!» Что еще мне говорил леший, я не слышал — я спал крепким сном. Спал и не слышал его добрых советов.

Я купил железную лопату, грабли, топор и принялся переделывать природу на свой лад. Надо было раздобывать посадочный материал. Привезли из Коломны целый воз кустов сирени, жимолости, жасминов. Несколько человек художников из нашего кооператива поехали в Мичуринск за яблонями и грушами. И пошла работа! Выкорчевали прекрасные замшелые пни, чудные кустики можжевельника, полетели осинки, березки, нарыли ям, вскопали землю.

Я забыл мудрый совет лешего. Не надо было покупать лопату, не надо было копать землю... И завертелась машина... Уж некогда было любоваться природой, некогда было слушать птиц, ходить купаться, некогда говорить с соседями, разложить пасьянс. Надо было сажать, копать, удобрять, полоть, обрезать, поливать, поливать без конца.

Выросли чахлые кустики, чахлые деревца. Потом покупались машины навоза, машины химических удобрений, привозилась земля. Сколько денег было закопано в эту землю — это никто сосчитать не сможет, да и не нужно считать. Леший, по-видимому, на меня обиделся и беседовать со мной не приходил.

Была темная летняя ночь. Все в природе как будто притаилось, притихло и чего-то ожидало. Деревья стояли неподвижно, не шевелился ни один листок, даже замолчали лягушки, даже ночные бабочки куда-то попрятались, даже светляки потушили свои фонарики. Иногда на горизонте слабо вспыхивали зарницы, казалось, что какой-то великан мигает



глазами. Мигнет, осветит и опять захлопнет веки. Издали все ясней и ясней доносились раскаты грома. Гроза приближалась медленно, но верно.

Я сидел у окна и прислушивался к приближающейся грозе. Темная туча поднималась над горизонтом и гасила звезды. Под окном появилась знакомая фигура лешего. Я очень обрадовался ему. «Вот и вы! А я, признаться, думал, что вы обиделись на меня!» Леший грустно улыбнулся и сконфуженно потупился. «Я на вас не обижался — я же знаю, что люди не могут любоваться природой и не уродовать ее — это могут только бесплотные духи и животные. Все это время я трудился, трудился и переживал. Вот пятьдесят лет прожили душа в душу, а теперь, подумайте, какое дело: ведь я с бабой-ягой развожусь. Сделал ей новую ступу — и катись, матушка, куда хочешь. Правда, ступа-то осиновая, но ничего, еще поработает. На ее век хватит. Укатила старая карга. Теперь я вольный казак! Куда хочу, туда и полечу. Вот я и пришел с вами попрощаться, кстати, поздравьте меня, я женился...» — «Что вы говорите? Неужели женились? Ну, поздравляю! Совет да любовь. Скажите, если не секрет, на ком?» — «Русалочка тут в реке есть. Молоденькая, бойкая, быстрая, как рыбка, вот я и врзался на старости лет. С ней вместе хочу на Байкал поехать». — «Поезжайте, поезжайте! Там можно тихие места найти, а тут нам оставаться не следует». В это время туча закрыла почти все небо, и гром прогремел уже совсем близко. Налетел ветер, деревья зашумели, закачались, оконная занавеска затрепетала, захлопала. «До свиданья! — сказал леший. — Мне пора». И он исчез.

А я заснул. Тем и кончилась эта правдивая история.





ПЕСКИ

По-другому о том же

Как я уже говорил, в Союзе художников я увидел объявление, что организуется дачно-строительный кооператив художников возле станции Пески Рязанской железной дороги. Михаил Иванович Калинин утвердил выбранное для поселка место, и даже был отпущен лимит на постройку.

Рано утром еду туда.

Крупный сосновый лес, кое-где дубы, осины, а вот светлая березовая роща. Зяблики заливаются в ее вершинах, молодые, зеленые листочки чудно пахнут.

Мне указали мой участок. Другие участки уже разобраны, и осталось свободных только два. На моем участке много пней от больших сосен, кое-где дубы, березы, молодой осинник и кусты можжевельника. Рядом тянется дремучий бор. Кое-где лежат стволы поваленных бурей деревьев. С вершины куста с песенкой подымается лесной конек. Черный дятел с диким, унылым криком перелетает со ствола на ствол. Наступил вечер, первый вечер в Песках. Неподалеку зашелкал соловей. Козодой затянул свою бесконечную трель. Майские жуки закружились около молоденькой березки. Это было уже через край.

Заборов тогда еще не было, и доступ на любой участок был свободным. Как-то, примчавшись на истошный женский крик, я увидел соседку Беккер, сидящую в глубокой яме, приготовленной для посадки яблони, и возле нее весьма агрессивную корову, старавшуюся рогом помочь госпоже Беккер вылезти из ямы. Но почему-то эта коровья услуга моей соседке была не по вкусу, и она в ужасе дико вопила. Корову я попросил удалиться, а даме помог вылезти из ямы.

Я уже упоминал, что участки наши или совсем не имели ограды, или она была представлена одной не очищенной от коры жердью, что давало возможность беспрепятственно проходить по ним любому любознательному субъекту. И вот как-то среди кустов бересклета и можжевельника предо мной предстала прекрасная дама. Видя мое крайнее изумление, она улыбнулась и сказала:

— Не удивляйтесь, я ищу участок Оленина.

Когда я немного пришел в себя и обрел дар речи, я предложил ей отдохнуть под моей крышей и, прежде чем отыскивать этот участок, выпить чаю и подкрепиться. Из дальнейшего выяснилось, что ее фамилия Оглы-Гамза и ее участок вот тут совсем рядом — через переулок. Этот участок сначала принадлежал Ватагину, теперь был взят Лениным. Оглы-Гамза горячо взялась за стройку, и под ее руководством возникло довольно странное сооружение. Два малюсеньких срубка взгромоздились один на другой и явно хотели сыграть роль башни царицы Тамары. Роль царицы Тамары весьма успешно исполняла Оглы-Гамза. Она блистала своими черными очами, и никто не мог устоять против ее очарования. Но она не долго украшала наш поселок. Ленин отказался от своего участка, и тот перешел к Елкину, а Елкин башню Тамары придвинул к своей даче, и про прекрасную Оглы-Гамзу люди забыли.

В первый же год своей жизни в Песках я познакомился с Александром Васильевичем Куприным. Это был красивый человек, довольно высокого роста, с острой седой бородкой «булянже», с большими руками и с лукавой усмешкой на губах. Он немного заикался, но это не мешало ему говорить интересно и остроумно. Часто в свою речь он вставлял шуточки, и нельзя было понять, говорит он серьезно или шутит. У него была жена — маленькая обворожительная старушка, всегда приветливая, с доброй улыбкой на лице и с папиросой во рту.

Александр Васильевич был скупенек, и добрейшая Анастасия Трофимовна курила самые дешевые папиросы, от которых на лету дохли мухи. Сам Куприн не курил и не пил ничего, кроме чая.

В моей избушке сложили печку, утеплили потолок, подвели фундамент. Избушка могла служить убежищем на зиму. Снег в тот год выпал неожиданно, и сразу стала зима. Я остался зимовать в Песках один. Иногда приезжал Куприн и заходил ко мне побеседовать за чашкой чаю. Или один, или с Анисимовной, и мы очень оживленно проводили вечера. Куприн любил столярничать и делал это на высоком уровне. Он сделал себе в Москве орган и в Песках что-то вроде фисгармонии и играл на этих инструментах неплохо.

На ветру трепещут последние листья. С серого неба на мокрую землю опускается сырая, холодная мгла. Ветер северный, и надо ожидать снега. Почти все дачи стоят пустые — живут на дачах только коренные, убежденные зимогоры.

На даче Христофорова живут лето и зиму. Иоффе Марк Львович с женой и с ними постоянно их друг Марьяна Викторовна Борисова-Мусатова (дочь художника). Эти люди — страстные поклонники Песков и считают, что лучше Песков на нашей планете нет и быть ничего не может. В их душе всегда горит желание кому-нибудь помочь, кого-нибудь накормить. У них питаются брошенные жестокосердными дачниками кошки, собаки...

Вот уже тридцать три года я живу в Песках. Когда я приехал сюда, я еще имел темные курчавые волосы, а теперь я совсем седой и с трудом хожу. Много воды утекло, много нарисовано за это время рисунков, акварелей, масляных картин. Я думал, что Пески будут моей последней и тихой пристанью, но, к сожалению, мы пережили в Песках войну.

Немцы подходили близко. День и ночь слышна была канонада, немецкие самолеты все время летали над нами и бомбили железную дорогу. Мой песик-курцхар Марсик страшно боялся вражеских самолетов. Еще ничего не слышно, а он уже начинает волноваться, прячется, жалобно скулит — это значит, что приближается немецкий самолет, и действительно, ухнет бомба, дрожат стекла.

К нам в Пески приехали многие художники и артисты из Москвы, думали, что здесь безопасней и, может быть, сытней. Пожили здесь недолго и уехали дальше на восток.

Рядом со мной у Лентулова гостил Петр Петрович Кончаловский, на даче Беккера жила Алиса Коонен, у нас жила наша старинная приятельница Вера Александровна Станюкович, внучка писателя.

Наступила зима. У нас было достаточно дров, и мы не мерзли, но было голодно. У меня жил ослик, которого мне оставил Е. А. Львов. Ослик в морозы чувствовал себя плохо. Мы его закутывали всякими одежками, но у него заблели ножки, и он плохо стоял.

В самые лютые морозы из Непецина перегоняли на восток стадо племенных коров, и в лугах около нас они сделали остановку под стогами. Несчастные коровы лежали в мороз на снегу, на холодном ветру. Несколько коров замерзло. Одну замерзшую корову мы ухитрились привезти, и она здорово поддержала нас.

Весной мы ходили в поля и копали оставленную мороженую картошку, делали из нее крахмал и пекли лепешки. Осенью подбирали колоски, горох, лук.

По вагонам ходили толпами нищие — жуткие морды, выскочившие из повести Гюго или из кошмарного сна. В тесноте и темноте вагона я потерял калошу. Калоши купить было невозможно, и я, признаться, очень опечалился, и вдруг самая страшная из всех физиономия протягивает мне мою калошу: «Твоя, что ли?» Эта опухшая от водки физиономия, с подбитым глазом, грязная, сальная, оказалась любезной и бескорыстной.

Собрался я как-то с Верой Александровной ехать из Москвы в Пески. Добрались до Рязанского вокзала и ищем поезд. Поезда в то время имели обычай прятаться от пассажиров. Бежим, бывало, отыскивать поезд на запасных путях, а он притаился и стоит где-нибудь между пустыми вагонами, и уже в нем набилось много народу. Сидят, ждут. Оказывается, не этот состав пойдет, а вон тот, что ползет задом к перрону. Все бросаются к нему, отталкивая друг друга, на ходу вскакивают в вагоны, крик, шум. А потом окажется, что и это не тот поезд. Опять бегут, опять лезут, опять крик, шум. Посадил Веру Александровну на чемоданчик, сам бегаю, ищу поезд. Встречается Колобов — тоже ищет. Бежим вдвоем к началь-

нику станции. Тот говорит, что поезд будет через час. Проходит час, проходят два — никакого поезда нет. Вера Александровна старенькая — она устала. Отвожу ее в комнату матери и ребенка. Туда не пускают — у двери сидит злобная сторожиха. Умоляю злобную сторожиху впустить старого человека полежать на полу — вокзал битком набит народом — лечь негде. Сторожиха наконец сдается на мои мольбы и пять кусочков сахара и пускает нас. Укладываю старушку у стенки на пол, под голову ей кладу рюкзак. Ну, слава Богу, устроил. Опять бегу к начальнику станции.

— Будет поезд? — спрашиваю.

— Будет, когда придет из Коломны.

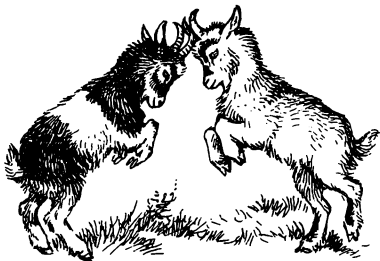
А когда придет — неизвестно. И придет ли?

Иду навестить мою старушку. Лежит спит. Под головой рюкзак, и, представьте мой ужас, из-под рюкзака течет большая лужа масла. Что делать? На паркете лужа масла. Сторожиха заест нас. Скорей бужу Веру Александровну. «Вставайте, вставайте! Надо бежать!» Вера Александровна в ужасе вскакивает. «Что такое, что случилось?» Показываю ей на лужу масла. Развязываю рюкзак — бутылка почти вся вылилась, и в рюкзаке полно масла, и из него течет. Как с ним идти? Выливаю из него масло и быстро, бочком, мимо сторожихи бежим в общий зал. Там встречаю Колобова, он говорит, что был у начальника станции и поезда сегодня не будет. Зря мы страдали.

Наташа и сестра Лиза собрались ехать в степь, в Воронеж, за мукой, за продуктами. Набрали все, что можно было поменять, все более ценное, что нашлось, и уехали. Это было невероятно героическое предприятие. Поезда не ходили, билетов не продавали, и только с большим трудом можно было втиснуться в товарный вагон. В нем было уже полно, и новых пассажиров встречали руганью и пинками.

В степи уже много народу перебивалось, и продукты были выкачаны. С трудом можно было поменять на муку, на крупу хороший платок или материю. За иголку давали чашку молока, за катушку ниток — ломоть хлеба. Ночевать приходилось на полу, рядом с овцами или телятами.

На станции Ряжск в темноте товарного вагона измученная Наташа задремала, и у нее украли мешок с таким трудом добытых продуктов. К счастью, кто-то заметил, поднял тре-



вогу, и мешок у вора отобрали. Мешок был очень заметный, с большой черной заплатой. Эта заплата и спасла продукты. Ну вот, наконец Наташа дома! Наташа цела и невредима добралась домой.

Настала весна, и мы, где только можно, стали сажать картошку. Сажали глазками и маленькими дольками. Наташа работала в лесничестве, и ей отвели кусок пахотной земли, и мы вспахали и посадили картошку, посеяли просо. Острый голод миновал. Были какие-то надежды. Правда, мы еще мечтали о таком времени, когда будет можно досыта поесть черного хлеба. Хлеб выдавали по карточкам. Стояла очередь за хлебом. До меня оставались только два человека. Ухнула бомба. Стекла в магазине вылетели. Нас всех из магазина выгнали. В это время фашистский самолет низко пролетел над нами и пустил по нам очередь. Девочка лет восьми, стоявшая недалеко от меня, упала. Ее отнесли в больницу, где она и скончалась.

Поезда в те страшные времена по ночам ходили без огней, даже если кто зажигал спичку, то дамы подымали шум: «Гасите, гасите!» Как будто немец мог заметить (немца еще не было слышно) этот маленький огонек.

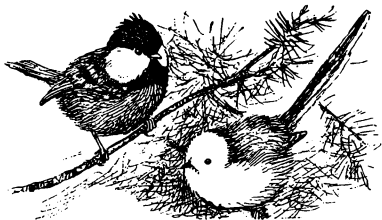
Я шел по путям домой. Со мной на поводке курцхар Марсик. Неожиданно Марсик бросается в сторону и рывком поводка стаскивает меня с рельсов. Через мгновение мимо проносится темная машина паровоза. На волоске держится наша жизнь.

В Песках у нас много было всяких зверей и птиц. Были коровы, козы, кролики, зайцы, лисы, джунгарские хомячки, сурки, куры разных пород, утки, гуси, ходили, важно распутив хвост, павлины, жили совы, вороны, галки, грачи и всякая мелкая птишка. И у каждого зверя, у каждой птицы — свой характер и своя история.

Наступили морозы. Навалило снегу. Уехал Львов и оставил мне ослика, серенького очаровательного ослика, которого он привез из Ташкента. Вопреки сложившемуся мнению, ослик не был упрям и шел покорно, куда его посылали. Я сам иногда садился на него, и это была незабываемая картина из библейских сказаний: что-то вроде въезда Господня в Иерусалим на осляти. В Коневом бору продавалась капуста. Тележки у нас не было, и я решил привезти ее на ослике. Из старых одеял сделал подобие седла, набил капустой два громадных мешка, нагрузил на безропотного ослика, и он пошел из Конева бора домой. Идет маленький ослик, потряхивает своими длинными ушами, несет мешки с капустой, и вот навстречу ему из леса выезжает фургон... Не знаю, за кого приняла лошадь моего маленького безобидного ослика, но она взвилась на дыбы, бросилась в сторону и понеслась галопом по полю. Фургон опрокинулся, и из него посыпались хлебы. Хлебы были раскиданы по всему полю. Возчику все же удалось остановить коня. Я же под градом самых лучших пожеланий поскорее убрался в ворота поселка и благополучно довез капусту.

На этой длинноухой зверушке очень любила кататься наша Таня. Программа этого катания была всегда одна и та же. Таня вскакивала на ослика, ослик трусцой бежал к заячьей полянке, там он припускал с горки. Подкидывал задом, и Таня кубарем летела на землю. Ослик поворачивался и галопом бежал домой. Таня на него не обижалась и опять и опять повторяла программу.

С наступлением зимы около дома появлялась стайка синичек, два-три поползня и пестрый дятел. Для них стоит кормушка — стеклянный домик, где всегда накрыт стол. Пожалуйста кушать. Весной синички разлетаются по лесу, и около



дома остаются две-три пары. У ворот висел большой самодельный почтовый ящик. Щель для опускания писем была сделана широкой, и синички облюбовали этот ящик для своего гнезда. Мы этого не знали, а когда заглянули в ящик, там уже восемь яичек в гнездышке. Зимой синицы безобразничают в моем тамбуре. Они истребляли до дыр ритуальную буддийскую маску, проклевали мои тюбики с масляными красками и выклевывали саму краску.

Все время в Песках я не переставал писать картины для Дарвинского музея. Много рисунков и картин я сделал бесплатно. Музей был мне близок — я сроднился с ним и не считал затраченное для музея время. С большим трудом приходилось добираться до Москвы. Поезда ходили не по расписанию. Занять место в вагоне, как я уже говорил, было очень мудрено. Народ бросался на подходящие вагоны и на ходу вскакивал в них, рискуя жизнью.

Война кончилась. Не слышен гром канонады, не летают немецкие стервятники. Фашистов с позором выгнали из России, но, к сожалению, отрубили не все головы у этого гада. Но все же воздух стал чист. Русский народ спешно заживает тяжелые раны.

Наши Пески оживились, началась стройка, ремонт. Наташа всерьез взялась за сад. И сад расцвел. Да как еще расцвел-то! И плоды, и цветы — все самое лучшее. Все на выставку. Кипы дипломов, медали, призы. Началась эра глади-

олусов. Много новых удачных сортов. Слава Наташи растет. Она уже известный цветовод-гладиолусник.

Пойдемте в эту калитку, нагнитесь и пройдите под аркой из актинидии — и вы очутитесь в раю. Да, да, в самом настоящем раю. Все, кто попадает в этот сад, всплескивают руками, стараются изобразить на своем лице восхищение и говорят так сладко, чуть дыша: «Да, это рай!...» Мы и сами знаем, что это рай, и потому постоянно пребываем в райском блаженстве. В жаркий летний день здесь можно встретить праправнучку библейской Евы в традиционном Евином костюме с добавлением двух перевязочек — на груди и пониже. Праправнучка загорает или вкушает плоды. В нашем раю можно вкушать плоды с любого дерева, не опасаясь архангела с огненным мечом.

Этот рай сделали мы сами — моя жена и я. До этого тут был песок, и на песке красовались пни, росли можжевельники, молодые сосенки, березки, осинки, и если бы мы не трудились с утра до вечера, то вскоре бы тут вырос густой осинник и была бы непролазная чаша. Волею судеб, после тяжелой московской жизни, я очутился здесь и сразу понял, что это место как раз то самое, какое мне нужно. Я построил себе хижину и прожил тут много лет. На заброшенной песчаной пустыне вырос райский сад. В мае — июне он полон цветов. В цветах деревья, кусты, клумбы, куртины. Дивным ароматом напоен сад, а от птичьего пения звенит воздух. Вот про этих-то певцов я и хочу рассказать кое-что...





ФАНТАЗИИ СТАРОГО ГРИБА

Когда я проснулся, то долго не мог понять, где я, и что я, и кто я. Рядом со мною сидела жаба величиной с крупную собаку. Надо мной высоко в воздух вздымались колоссальные стволы берез, погруженные в землю чудовищными корнями. Пел зяблик. Моя соседка-жаба что-то тихо урчала. Когда я более покойно огляделся, то увидел недалеко от себя красивый стройный гриб — мухомор. Скорее, это была мухомориха. Прижавшись к ней, смотрел на меня прелестный грибочек, весь беленький, круглый, в такой же беленькой кругленькой шапочке. Кое-где на шапочке проступали красные лоскутки. Ребенок был прелестен, и мухомориха смотрела на него с такой нежностью, с такой гордостью, что я невольно позавидовал ей и тут, только тут я понял — кто я... Да, я старый гриб! Старый мухомор! Никому не нужный, ни на что не годный. Края моей шляпки загнулись кверху, кое-где разлопались и побурели, и весь я побурел и нетвердо держался на своей ножке.

Воздух потемнел. В вышине зашумели березы, и я почувствовал, как мне на шляпку упали первые капли дождя. «Закройте, закройте вашего крошку — начинается дождь!» Мухомориха просияла улыбкой. «О нет! Он очень любит дождик! От дождя он делается все лучше и лучше. Смотрите, как он улыбается, как он доволен!»

Дождь недолго побрызгал и перестал. Опять засияло солнце, запели птицы. Зарянка в два прыжка подскочила ко мне, с разбега вспрыгнула на мою шляпку и стала пить. Там скопилось немного дождевой воды. Напившись, она прыгнула, отчего я чуть было не спалился на землю. Ах ты, старый гриб! Даже такая легонькая птичка, как зарянка, может свалить тебя с ног. Ну что же... Это неплохо, что ты напоил ее. Все-таки ты на что-то нужен. Тут я почувствовал, что кто-то меня царапает тоненькими коготочками. Плотно прижавшись ко мне, сидела ночная бабочка. Ее беленькие крылышки были незаметны на моей белой ножке, ее глаза с ужасом смотрели вслед упрыгавшей зорянке. «Как я вам благодарна! Я не могу опомниться от ужаса... У нее такие громадные глаза... Как она меня не заметила?»

Бедная ночная бабочка вся дрожала. «Как я вам благодарна!» Опять я кому-то оказался нужен. Непонятно... Старый, еле живой мухомор — и вдруг нужен...

Первая, кто заметил надвигавшуюся беду, была мухомориха. Она стала зорко всматриваться в даль и тихо прошептала: «Мы пропали!» Я так же тихо спросил: «Кого вы видите?» — «Лоси! Сюда идут лоси... Они съедят нас! Бедный мой крошечка...» Она в ужасе смотрела на своего очаровательного мухоморчика. Грибы не могут бегать... Им нет спасения... Теперь и я увидел двух лосей — они шли прямо на нас. Да это знакомые лоси. Сколько рисунков я сделал с них. Я их кормил ветками, я их ласкал, гладил.

Передняя лосиха уже увидела мухомориху с младенчиком и уже протянула морду... еще мгновение — и не станет счастливой мамы и прелестного крошки... «Аида! Аида! Не ешь, не ешь! Нельзя есть... Они ядовиты...» Как на крыльях ветра, подлетела Людмила Васильевна, трясущимися руками она ухватила шею Аиды и старалась оттащить ее от ужасных грибов. Но было уже поздно... Людмила Васильевна одним прыжком опередила Аиду. Удар ноги — я взлетел на воздух и рассыпался на куски... Я успел только ахнуть и взмахнуть рукой. Взмахнувши рукой, я задел за электропровод — лампа с размаха упала мне на голову. Железный абажур углом врезался мне в лоб, и я опять проснулся... Тут и мертвый вскочит. Ничего не понимая, ошалелыми глазами я глядел на раскрывшуюся дверь. В двери появляется женская фигура. Фигура подходит ко мне. Я вижу, из глаз у нее льются потоки слез...

— Что с вами, Людмила Васильевна? Что случилось? Ради Бога, скажите, что случилось?

— Простите, что я вас разбудила... Это ужасно... Я не перенесу... Он не хочет, не может понять меня... Это выше моих сил... Этот Те... Те... Те... Теплов...— Тут рыдания повалили ее на мою кровать.

Я скорей вскочил.

— Сядьте. Сядьте! Это ужасно... Что же произошло? Что же, наконец, произошло?

— Этот Теплов... Он угрожает мне... Он и слышать не хочет. Он говорит, что это может кончиться выстрелом в висок... Нет, я не перенесу этого...

Я растерянно оглядываю комнату, отыскивая стакан, чашку или кружку и кувшин с водой. Ни чашки, ни кружки, ни кувшина с водой. Хватаю свою фляжку, с которой я обычно хожу на этюды, и всю замазанную акварельными красками небольшую пластмассовую площадку. Кое-как, наспех, обмываю ее и наливаю воды. Стуча зубами, Людмила Васильевна пьет. Верхняя губа у нее стала ярко зеленой. Это чудная французская краска «*lafrane ef bouryeois*», но я все же хватаю тряпку и стараюсь стереть великолепную краску с губы Людмилы Васильевны. Потoki слез и предательская тряпка делают свое черное дело — лицо Людмилы Васильевны стало неузнаваемо. В самый разгар этой умирительной сцены в комнату ввалилась целая ватага неожиданных гостей. Ввалилась и застыла в недоумении:

— Простите... Мы, может быть, помешали...

Я в отчаянии бросил на пол злополучную тряпку и с яростью накинулся на Теплова:

— Смотрите, что вы наделали! Я не могу ее успокоить. Она говорит, что вы грозите ей выстрелом в висок. Несчастная женщина.

Теплов, спокойно глядя на расписанное лучшими акварельными красками лицо Людмилы Васильевны, тихо сказал:

— Это я хочу застрелить ее в висок? Нет, дорогой, скорей я сам застрелюсь от ее капризов. Подумайте, о чем плачет! Я распорядился убрать Аиду и Амнерис в загон. Загон большой, больше га. Свежий загон — никто в нем не был больше года. Сколько там травы, грибов, молоденьких веточек!.. А эта чертова Аида, того и гляди, кого-нибудь угробит. Вы знаете, удар передней ноги лося может насквозь проткнуть человека. Амнерис — та смиренная, ласковая, а эта Аида любит только Людмилу Васильевну, а на всех других уши прижимает, и того и гляди,



ударит. Людмила Васильевна, вы пойдете в Брыкин бор? Мы все идем туда и ваших дочек поведем.

Людмила Васильевна улыбнулась, кое-как привела себя в порядок, и мы всей толпой направились в Брыкин бор к зубровым загонам. С нами был и виновник всей этой кутерьмы, приехавший в заповедник записывать на магнитофон голоса природы, большой специалист этого дела Вепринцев. И вот случилось так, что Аида — эта баловница и любимица Людмилы Васильевны — невзлюбила Вепринцева. Недобрый огонек блеснул в ее глазах, и она решила прогнать несимпатичного ей человека с земли заповедника. Это бы ей, конечно, удалось, но ей помешали, и Вепринцев был спасен.

Наше шествие в Брыкин бор было весьма торжественно: впереди шел парень и вел в поводу обеих лосих — и Аиду и Амнерис. Дальше шествие растянулось по песчаной дороге. В самом конце шла Людмила Васильевна, удрученная тяжелой разлукой. Я всячески старался ее утешить... «Вы же понимаете, — говорила она, — как я могла привыкнуть, как могла полюбить этих моих девочек. Ведь я их выпоила с соски, я с

них не спускала глаз. Они считают меня своей мамой... А тут их запрут в загон, и за ними будут наблюдать грубые мужики. Разве они могут понять нежные чувства?...» Слезы опять закапали из глаз Людмилы Васильевны. Походка ее стала неуверенной. Я скорей подхватил ее под руку, и мы так продолжали наш тяжкий путь.

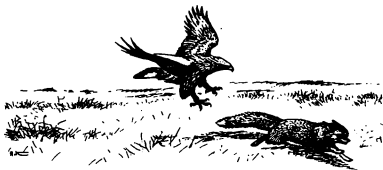
Вот и зубровые загоны. Огромный зубр при нашем приближении вскочил и, грозно помахивая рогами, подбежал к забору. Он только слегка стукнул рогом по бревну, а забор весь задрожал и качнулся. Да. Этому молодчику такой забор вряд ли будет преградой. Зубр долго шел с нами — он с одной стороны забора, мы — с другой. Иногда он грозно рывкал и ударял рогом по толстым бревнам. Вот и кормушки, вот и домик сторожа. Парень заводит в загон обеих лосих и снимает с них веревку. Я подхожу к загону, и... Да ведь это я! Я, старый гриб, а вот и мухомориха со своим очаровательным крошкой, а вот и жаба, и бабочка. «Мы пропали!» — слышу я задыхающийся шепот мухоморихи. Аида увидела нас, бросилась со всех ног, и через мгновение уже не было прекрасной мухоморихи, не было чудного крошки.

— Аида! Аида! Не ешь, не трогай. Они ядовиты! — Людмила Васильевна, как на крыльях ветра, подбежала к Аиде и трясущимися руками схватила ее за шею.

Ловким ударом ноги она сшибла меня, и я разлетелся на куски. Я, кажется, опять проснулся... Или все это сон? Кто же я? Старый мухомор или?... Кто же я, наконец? Старый мухомор? Впрочем, и старые мухоморы на что-то нужны... А за лосей не бойтесь, дорогая Людмила Васильевна, им мухоморы не страшны. Им они то же, что для вас редиска или помидорчик.

Что вы так удивленно смотрите? Я и сам не могу понять в этой истории, где тут сон, где явь. Так что вы, пожалуйста, извините меня!





КАЗАХСТАН. 1956 ГОД

Еду по улицам Алма-Аты. Улицы — это аллеи, обсаженные громадными осокорями, тополями, карагачами. С левой стороны над городом возвышаются горы с покрытыми снегом вершинами. Я приглашен принять участие в экспедиции в пустыню Бетпак-Дала. Меня пригласил Аркадий Александрович Слудский, профессор и страстный охотник, хорошо знающий эту пустыню. Во дворике его квартиры уже нагружается трехтонка. Накладывают спальные мешки, палатку, железные бочонки с водой, с бензином, со спиртом, ружья, провизию, теплую одежду. Утром мы выезжаем. Нас девять человек. Пять профессоров-зоологов, шофер, препаратор, студентка-зоолог и я. Все мы: и светила науки, и студентка, и я, — сбившись в кучу в кузове, подлетаем вверх на ухабах, стукаемся лбами, наваливаемся друг на друга, слегка ругаемся и мчимся, мчимся куда глаза глядят.

Вот она, эта пустыня! Страшная, безводная, каменистая пустыня Бетпак-Дала. В былые времена тут проходили караваны верблюдов, проезжали отважные всадники на крепких, выносливых лошадках, и немало и людей, и животных погибло в суровых, неприветливых просторах этой пустыни. Теперь

человек покорил ее. Смело мчится наша трехтонка по пыльной дороге. За нами на километр тянется облако белесой пыли. Машина шуршит шинами по баялычу, который похож, скорее, на путанку проволоки, чем на живое растение. Показались заросли аморфы, саксаула, розовые кустики тамариска. Вот блестит налетом соли такыр. Хорошо бы сделать этюд. Но... машина мчится неумолимо вперед, а Слудский обещает дальше еще лучшие пейзажи. С грустью смотрю на мелькающие мимо красоты, уверенный, что эти красоты не повторятся (так оно и оказалось впоследствии).

Неожиданно круто сворачиваем влево. Визжат тормоза. Машина остановилась. Маленький родничок и лужица. Стайка бульдуруков с нежной трелью поднялась от воды и умчалась. Я хватаю альбом, акварель — и скорей, скорей на бумагу эту лужицу, этот водопад бульдуруков. К такому источнику по ночам, наверно, подходят волки, робко, осторожно приближаются джейраны, сайгаки. Он мне пригодится для картины. Спешу, рисую, а на меня смотрят десять пар глаз... Скоро ли?

Вздохнув, складываю альбом, убираю краски, и снова мчмся, мчимся. Но вот пейзаж изменился. Появились на горизонте горы, горы все ближе, ближе. Поворачиваем направо и въезжаем в узкую долину. По дну бежит ручеек, справа и слева скалы. Блестя светлой грудью, с вершины скалы сорвался ягнятник и поплыл над ущельем, от воды поднялась стайка бульдуруков и дружно, как по команде, стала кружить над нами. Остановка. Все выпрыгнули из машины, с удовольствием разминают ноги, умываются, пьют чистую холодную воду ручья.

Вот наконец-то я смогу спокойно работать, не торопясь, наслаждаясь тишиной и видом дикой, первозданной природы. Вдали, сверху этого ущелья, прогремел выстрел. Туда пошел на охоту наш молодой препаратер. Я сижу и рисую это ущелье. Надо мной снова пролетел красавец ягнятник, весь розовый

в лучах заходящего солнца. Вечереет. Сгущаются тени, изменился весь пейзаж, с сожалением укладываю свои кисти, краски. Иду к нашему лагерю. Горит костер, все пьют чай, молчат, даже жизнерадостный балагур доктор Долгушин молчит и пьет горячий, крепкий чай.



В свете костра появляется фигура молодого охотника. Он с веселой улыбкой вытряхивает из рюкзака печенку и окорок архара. Остальная туша осталась на месте. «Я на нее положил стреляную гильзу. Волк не тронет». Охотник наскоро пьет чай и вдвоем с шофером уходит за тушей архара. Вот и шашлык!

Появились шампуры, и уже на них нанизывают кусочки мяса. Единственная девушка, чтобы как-то служить профессорам и отблагодарить за то, что ее взяли в экспедицию, старается изо всех сил. Охотники приволокли архара, с небольшими рогами и без гривы. Аркадий Александрович вытащил из машины канистру со спиртом и налил всем по чарочке, и — о ужас! — спирт неистово разит бензином. Делать нечего, пришлось пить бензиновку. Светила науки выпили, и нам, грешным, не отставать же — тоже выпили. Даже студентка выпила. Но зато какой шашлык — чудо!

Настал вечер, а мы все едем, едем... Стало темно, зажгли фары. Я сижу рядом с шофером и люблюсь. Фары освещают диковинный лес — заросли саксаула покрыты пылью, и под лучами света они кажутся белыми, схваченными инеем. Мы





едем по снежному лесу, необыкновенно причудливому, прямо сказочному. Вот из темноты засветились два огонька — это лисица смотрит на нас. Из машины гремит выстрел. Стоп. Доктор Долгушин убил зайца-талая.

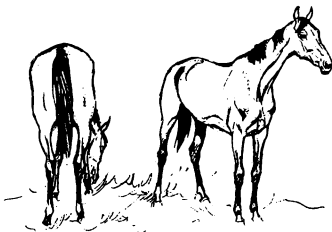
Сияющее утро, машина шуршит по кустикам баялыча. Мы подъезжаем к зарослям тростника. Между тростником блестят озерки. Над озерками проносятся стаи уток, розовым облачком полетели фламинго, белая цапля, плавно махая крыльями, поднялась из ближних кустов. Остановка. Здесь мы проведем весь день, а ночью будет охота с фарами на сайгаков. В тростниках, вдали, слышен собачий брех. К нам подъезжают верхом два казаха-охотника, подбегают собаки — полуборзики, черные, поджарые. С этими собаками охотятся на кабанов. Собаки душат молодых поросят и подсвинков.

Наша машина стоит возле громадной скирды не то соломы, не то травы. Все мы спим в палатках, забравшись в спальные мешки. Я лежу между двумя светильниками науки. Слева у меня Георгий Петрович Дементьев, справа Андрей Григорьевич Банников. «Смотрите, смотрите!» — шепчет Андрей Григорьевич, толкая меня в бок. Высовываю голову, как черепаха, из спального мешка и вижу: шагах в двадцати от наших палаток не торопясь идет табунок сайгаков, пощипывая траву. Совсем рядом, не боясь ни палаток, ни машины. С интересом и большим удовольствием смотрю на этих древних животных.

Так близко видеть сайгаков на воле мне пришлось впервые, эта картина осталась в моей памяти. Я попытался потом нарисовать ее.

В Алма-Атинский зоопарк меня провел Аркадий Александрович Слудский. Познакомил с директором и с художником зоопарка. Художник А. И. Синявский гостеприимно повел меня в свой домик, до отказа набитый ребяташками. Там меня угощали обедом, арбузами, поили чаем. Потом мы обстоятельно осмотрели всех животных зоопарка. Через весь парк бежит поток реки Алматинки. Он приносит во время половодья большие камни, ломает деревья. Мне очень понравилось рисовать в этом парке. К зверю можно подойти совсем близко, и, кроме того, там были такие звери и птицы, каких в нашем, Московском зоопарке, нет. Белокоготный медведь, камышовый кот, барханный кот, сайгаки.





ЛОШАДЬ

Самыми любимыми натурщиками у меня были лошади и собаки. С раннего детства я не мог смотреть на лошадь спокойно — она всегда восхищала, волновала меня, и я часами любовался ее формами и цветом. Лошадь — лучшее, что мог создать человек. Он из дикой, грубой, злобной и неподатливой лошади Пржевальского сумел сделать прекрасное животное, могучее, покорное, легкое и неутомимое. Красотою своих движений и форм она несравнима с другими домашними животными. Ее шерсть блестит и лоснится, на ее тонкой коже видны все жилки, и под ней мощные мускулы.

Много, очень много я перерисовал лошадей, много и поехал на них. Темною осеннею ночью, в дождь и бурю, когда из тарантаса не видно лошади и только слышно, как она шлепает по лужам, привяжешь вожжи к облучку и доверишься лошади — она, конечно, приведет домой. Зимой в метель, когда в двух шагах ничего не видно, лошадка не собьется с дороги, не завязнет в сугробе. Задремлешь, согревшись в тулупе, и проснешься от радостного лая собак у своего крыльца. Лошади имеют много мастей — от чисто-белой до черной, от светло-соломенной до темно-коричневой, от светло- до темно-серой, и, кроме того, частенько лошади бывают в «яблоках». «Яблоки» бывают на серых, на бурых, на гнедых и

соловых. «Яблоки» бывают округлой формы — темные, но мне приходилось видеть лошадей и со светлыми звездами по темной масти. Лошади бывают пегие, то есть по белой масти темными пятнами. Пегая лошадь всегда с темной грудью и головой и с пятном на крупе. Если у лошади есть белые места, то они бывают на лбу — звездочка и на носу — проточинка и на ногах — чулочки. На ногах белые чулочки бывают — если только на одной ноге, то всегда на левой задней, если на двух, то опять на задних. Бывают белые чулочки и на всех четырех ногах, но всегда начиная с левой стороны. На темной лошади белых пежин не бывает, бывает только наоборот — на белой шерсти темные пежины.

Если художник изобразит пегую лошадь с белой грудью и белыми передними ногами — это он изобразит феномен очень редкий. На картинах Юона есть лошади темные с белыми пятнами на боках, таких лошадок Юон не видел — это его фантазия.

ВСТРЕЧИ

В издательстве Сытина вышла «Книга Чтеца» Ольги Эрастовны Озаровской. Эту книгу оформлял я и познакомился и подружился с Озаровской, непревзойденной сказительницей русских северных сказок.

Как-то я был приглашен Озаровской на чашку чаю. Там я застал Никифорова, старого толстовца, лохматого, с большой бородой, в широкой блузе, хмурого от головы до пят, начиненного толстовскими идеями, и молодую девушку-армянку Мариэтту Шагинян. Мариэтта училась у Озаровской искусству художественного чтения. Желая чем-нибудь развлечь мрачного старика, Ольга Эрастовна просит Мариэтту прочесть «Леду» Мережковского. Мариэтта со всем пылом южанки и по всем правилам художественного чтения читает эту поэму темпераментно и хорошо. Мрачный толстовец угрюмо сидит, ничем не выражая своих чувств. Ольга Эрастовна наконец вкрадливо спрашивает его: «Ну как?» Толстовец молчит. «Похабщина», — изрекает он наконец. Все немного смущены. В этой поэме, конечно, не хватало толстовских идей.



Мне было 25 лет. Издательство Сытина попросило меня сделать несколько рисунков в красках для книги Телешева, а для какой книги, я не помню. Рисунки сделаны, хорошо бы их наклеить на картон. Под рукой был только столярный клей. Не смущаясь, я им и наклеил. Лакей приводит меня в кабинет Телешева. Богатая обстановка, кожаные диваны, темные тисненные обои, на полу ковер, на стенах картины, боль-

шие книжные шкафы, на шкафах бюсты писателей. Навстречу мне встает пожилой, интеллигентный человек и с приятной улыбкой здоровается со мной. Я разворачиваю свои рисунки. И, о ужас, я готов был провалиться: от них несло ужасной вонью столярного клея. Телешев, конечно, заметил мое смущение и, желая ободрить меня, стал угощать меня каким-то особенным ароматным дорогим табаком. Я курил этот ароматный табак, что-то в смущении бормотал на его похвалы и уж больше ни разу в жизни не наклеивал рисунки столярным клеем.

Как-то я шел с товарищем — художником Гильбертом — по берегу Виванского пруда недалеко от Троице-Сергиевой лавры. Навстречу нам брел старичок монах с книжкой в руке, а за ним шел молодой послушник с веточкой ивы. Это было так похоже на картину Нестерова «Под Благовест», что мы были поражены. Вежливо поздоровавшись с монахами, мы сказали старичку, что нас поразило сходство картины Нестерова, в которой так же изображены два идущих монаха, и приблизительно в таком же пейзаже. Старичок засмеялся.

— Да это же он с меня писал, большой, хороший художник Михаил Васильевич Нестеров.

Узнав, что мы тоже художники, старый монах пригласил нас в келью попить чайку. Там он много рассказывал нам о художнике Нестерове.

БАЛЕТ

Танец — это целая область искусства, и очень большая область.

С древнейших времен люди танцем выражали свое настроение: танцы были любовные, героические, военные. В наше время процветает балет. Классический балет. Какие чувства он выражает? Я не могу его понять, и для меня поза балерины с задранной к потолку ногой или вертящейся, как юла на «стальном носке», — пустое место. Я не вижу в этом красоты. Меня раздражают неестественные позы, бессмысленные движения.

В далекие времена я видел Дункан. Я шел смотреть ее с предубеждением и был сразу же покорен ею. Эта женщина

нашла в танцах простоту и естественность. Ее позы изящны и красивы. На нее можно смотреть, наслаждаясь каждым ее движением. После ее выступлений смотреть классический балет для меня невозможно. Это убожество и ложь. Айседора — это вакханка, пляшущая под лаврами Итаки. Это роспись на греческих водах. Это свежий воздух. Пантеры везут отяжелевшего от вина Вакха, его чело увито гроздьями винограда, вокруг стройные фигуры вакханок пляшут священный танец. Тут все фигуры, все позы полны грации, полны красоты. Вакханки не задирали к небу ног, не вертелись на одной ноге, как волчок, — их движения были просты и полны порыва, полны чувства.

СОСЕДИ-ХУДОЖНИКИ

Со многими художниками подружился я в Песках. Некоторые еще живы, а большинство уже умерло.

Ближе всех я сошелся с Куприным. Александр Васильевич был художник чуткий, и колорит у него был теплый, приятный. В молодости он увлекался Сезанном, а потом это увлечение прошло, и в его картинах не было крайних загибов. Любил он Крым, и только там мог он писать с увлечением. Наша подмосковная природа не находила в нем отклика, и здесь он писал только натюрморты. Мастерская у него была неуютная, темная от растущих под окном кустов сирени и берез и к тому же с желтым отсветом от бревенчатых стен и потолка.

Такая же темная бревенчатая мастерская была и у Лентулова. Лентулов в Песках работал мало, и я его видел большей частью лежащим в саду на самодельной скамейке. С Аристархом Васильевичем я был в самых лучших, добрососедских отношениях. Иногда мы заходили друг к другу, пили чай, беседовали.

У Куприна детей не было. Его единственный сын утонул, а у Лентулова была дочь Марьяна. Марьяна Аристарховна в Песках вышла замуж за кинорежиссера Якова Львовича Миримова. У них родился сын Сашенька, который сначала стал архитектором, а теперь переключился на кино.

Куприн, кроме живописи, любил столярничать. Он при мне сделал прекрасную шкатулку. Мне он смастерил улей. Ну а Лентулов к столярному ремеслу относился с великим



презрением, и его опусы в этом деле были крайне примитивны. На его скамейку садиться надо было с осторожностью — она была сколочена из неочищенных суковатых палок, и лежать на ней мог только Аристарх Васильевич.

Лентулов был моим ближайшим соседом. Это был грузный человек с крупными чертами лица. Если бы он отпустил окладистую бороду, то был бы типичный протодьякон. Он сколачивал, как я только что говорил, из неочищенных березок примитивные скамейки-диванчики и в жаркую погоду возлежал на них в одних трусиках. Под голову он подкладывал обрубок дерева.

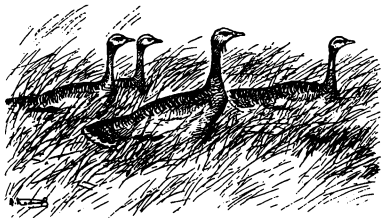
Лентулов — художник левого направления, член объединения «Бубновый валет». Здесь, в Песках, он работал редко, да и мастерская у него была, как я уже упоминал, очень темная, в дремучем лесу. Взять разрешение от лесничества и спилить две-три сосны он не хотел и уверял, что не любит солнца.

Когда я зимой жил один в своем домике, ко мне иногда заходил Куприн — в очках, с бородкой клинышком, с проседью, он имел вид дореволюционного профессора. С ним я подружился ближе, чем со всеми другими художниками.

Очень жаль, что так рано умер Евгений Евгеньевич Лансере. Это был милый, добрый, необыкновенно деликатный, интеллигентный человек.

Иногда я бываю у Юрия Ивановича Пименова. Это тоже очень приятный и талантливый художник.





АРТЕМЬЕВКА

Никогда не забуду то раннее утро, когда наш поезд остановился на станции Аксеново. Мы уже давно собрали вещи и смотрели в окна вагона, нетерпеливо ожидая свою станцию. И вот она. На платформе стоит Александр Осипович, пытливо смотрит на подходящий поезд. Семь человек! Семь человек гостей вывалилось из вагона с портплекдами, чемоданами, сак-вояжами, баулами. Семь человек радостно обнимают, целуют милого, доброго Александра Осиповича.

Все мы едем гостить на все лето к Александру Осиповичу в Артемьевку, где он служит управляющим. Это громадное хозяйство имеет десять или двенадцать тысяч десятин глубокого чернозема и, кроме того, еще хутора. Там у Александра Осиповича домик в четыре или пять комнат с террасой, рядом с ним много построек для служащих и рабочих, скотные дворы, амбары, сарай, конюшни. Жена и дети Александра Осиповича уехали на лето в Крым, и он, бедняга, остался в одиночестве. Мы надеемся скрасить это его одиночество.

С нами приехали две его сестры и брат Анатолий — мой лучший друг и товарищ-художник; приехал Васенька Груздев, финн Тойво Кайля — будущий ученый-филолог; девушка-полька Зося и я. Мы все рассаживаемся на двух тройках. В большой тарантас запряжена тройка буланых. В этот экипаж

салятся наши дамы и Александр Осипович, в другой садимся мы — мужчины. Тарантасы трогаются, и перед нами закружились степные просторы.

Заливается колокольчик, гремят бубенцы. Едем далеко, в дальний хутор. Подъезжаем к чувашской деревне. Мальчишки что есть духу мчатся запирать ворота. Деревни там большей частью в одну улицу, и с обеих ее концов стоят ворота. Ворота заперты. Тройка останавливается, и тогда вновь появляются мальчишки, они стрелой летят отпирать ворота и кричат: «Дяденька, дай камушек сахару!» Мы бросаем им пригоршни дешевых конфет в бумажках. Ребятишки стайкой кидаются к ним и потом мчатся впереди через всю деревню к другим воротам. Там они тоже получают конфетки. Посвистывают кучера-башкиры. Поблескивают подковы лошадей. Трах, трах, трах — отбивают пристажные ровный темп галопа.

Широка степь, далека дорога... Над степью, плавно шевеля крыльями, летают седые луны, от дороги поспешно отбегают суслики.

— Смотрите, смотрите! — кричат с переднего тарантаса.

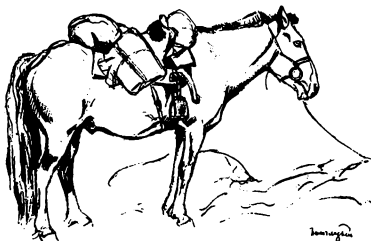
По степи спешит к своей норке увалень толстый байбак.

И опять село. И опять мчатся ребятишки, быстро перебирая босыми ножонками, и кубарем бросаются подбирать конфеты, толкаясь и споря друг с другом.

В чувашской деревне улица грязная, вся изрытая свиньями, ни одного деревца, ни одного цветочка перед окнами. Бабы у колодца в расшитых рубахах и в синих поневах. На ногах у них навернуты такие толстые онучи, что ноги кажутся бревнами. Чем толще — тем красивее.

Вот украинская деревушка. Белые хатки красиво, аккуратно покрыты соломой. Перед окнами цветничок огорожен плетнем, в нем мальвы и маки. А вот башкирская деревня. Улица зеленая, в густой траве. Здесь нет свиней и улица не изрыта. Тройка мчится, мелькают деревушки, то русские, то польские, то чувашские. То вдруг въезжаем в деревню немецких поселенцев — чистую, с хорошими домиками, обсаженными деревцами, с цветничками перед окнами.

Едем как по этнографическому музею. И везде перед нами мчатся мальчишки, босые, с белыми, выгоревшими на солнце волосами в домотканых рубашонках и с веселыми загорелыми рожищами.



Восемь пар волов тащат двухлемешный плуг. За плугом пахарь, а рядом с волами два погонщика. Тихо тащится плуг, не торопясь идут волы. Погонщики все время хлещут длинными кнутами — волы только изредка обмахиваются хвостами, но шагу не прибавляют, а там, на горизонте, такие же волы тащат такой же плуг, а над полем трепещет-заливается жаворонок и кругами плавает в лазури степной орел. Вон там, далеко-далеко, по всходам пшеницы идут две дрофы. Остановились, зорко смотрят на меня и неторопливо уходят. Ну и осторожная птица. Сколько раз мы с Анатолием пытались подойти к ним — нет, не подпустят!

Прошу конюха заседлать Черепанчика. Черепанчик — небольшая киргизская лошадка, когда-то ходившая под борзятником. Черепанчик не покойного нрава, злой, но очень резвый. Он имеет привычку прижимать к забору или к дереву ногу всадника, так сказать, стереть с себя седока. Еду на нем пострелять зайцев. В мелких зарослях дикой вишни — зайцев как в мешке, так и скачут во все стороны. Убил двух русаков и перекинул их через седло. Лошадь привязал к деревцу на краю оврага, а сам стал подкрадываться к маленькому озерку в надежде подсмотреть утку. Оглянулся и ахнул. Мой конь бьет задом и кружит вокруг дерева, зайцы мотаются и бьют его по бокам. Бегу к нему что есть мочи. Гляжу, свалился мой конь в овраг и повис на поводьях. Подбегаю — лежит,

глаза вытаращил и на зайцев косится. Отвязываю повод. Вскочил на ноги. Даю ему понюхать русаков и стараюсь пристыдить его: «Трус ты несчастный, зайца испугался, а еще охотничья лошадь! За лисами, за волками скакал, а зайца испугался!» Стоит слушает — и как будто на морде конфуз. Так на уток и не пришлось поохотиться.

МЕЧТЫ

Над нами темный купол неба. На нем начинают зажигаться звезды. Вот одна зажглась, вот другая, третья.

— Смотри, Зося, как падают звезды. Зажжется и упадет.

— А вон там, далеко-далеко, что-то светится — это, верно, звездочка упала и догорает?

— Нет, это не звездочка, это горит костер из соломы — там гудит молотилка, там идет молотьба. День и ночь молотьба. А вон в стороне огоньки — это усадьба. Как она далеко! Там ждут нас наши друзья. Чуть видны два освещенных окна — это окна столовой. Там сейчас все сидят за столом, смотрят на часы, переглядываются. Вера Васильевна, язвительно улыбаясь, говорит: «Как это невежливо! И неприлично! Уже давно ночь, а они где-то пропадают!» Ну и будет нам нагоняй! Знаешь, Зося, нам все же пора идти домой. Смотри, уже все небо в звездах.

И правда, весь громадный купол усеян звездами. Они мигают холодным голубоватым светом, а в степи с ними перекликаются наши теплые, земные огоньки. Это все костры хлеборобов. Там лошадьми молотят горох, там — цепями пшеницу, там вокруг костра сидят пастухи и варят кулеш. Степь полна жизни.

— Зося, ты не озябла?

— Нет, нет, с тобой мне так тепло, так хорошо, мне никуда отсюда не хочется идти...

Мы сидим высоко над степью на омете соломы. Омет огромный, как дом. А кругом бескрайняя степь. Купол неба накрыл эту ширь. Сколько воздуха! Дыши полной грудью!

Зося сидит рядом, прижавшись ко мне, и смотрит на меня большими серыми глазами.

Она вся — любовь, вся — преданность. Она мечтает. Она счастлива.

— Милый, ведь мы поедem в Париж? Ты будешь учиться у самых больших художников — у Ренуара, у Мане. Мы будем жить на Монмартре. Да, будем? У меня есть деньги — три тысячи. Нам хватит. О как я буду счастлива!

Зося мечтает. Перед нею улицы Парижа, мастерская на Монмартре, парижские газеты со статьями о знаменитом русском художнике. Она видит мою растущую славу и себя рядом со мной, всегда рядом, всегда близко.

Мечтай, Зося! Пусть мечты не сбываются, пусть приходит разочарование. Пусть. Но мечты дают иллюзию счастья, мечты украшают жизнь. Скучна и сурова жизнь без мечты. Жестоки и грубы ее насмешки. Мечтай, Зося! Строй воздушные замки, украшай жизнь! А быть может, ты права и твое любящее сердце угадало верный путь. Путь к счастью. Но...

— Знаешь, Зося, пойдем не домой, а вон туда, далеко-далеко. К тому огоньку, где гудит молотилка, где работают люди, где жизнь, суровая жизнь.

И мы идем, долго идем из царства мечты к этой суровой жизни. Все ярче горит огонь, все слышней шум молотбы, голоса людей. Перед нами горит громадный костер из соломы, все освещающий колеблющимся светом, мелькают лошади, люди, мелькнут и потонут во мраке, и вот уже мелькают другие лошади, другие люди. Давай, давай! Молотилка не ждет!

Подавальщик ловко, расстелив сноп, сует его в оскаленную пасть машины. Стучат зубы, грызут колосья. Давай, давай! Бегом подают люди, рысью подвозят снопы.

Вся трясется от жадности молотилка и глотает, глотает снопы без числа, без счета. Давай, давай!

Мякина и пыль облаками летят от машины. Все лица, волосы, бороды в пыли, в мякине, мелькают грабли, вилы... мелькнет в воздухе сноп или охапка соломы. Скорей, скорей!

В костер все время подбрасывают солому. Ярko горит костер, а над ним черное небо. Мы стоим смотрим. Работа такая дружная, горячая — невольно тянет принять в ней участие: таскать солому, подгребать граблями, совать снопы в ненасытную пасть молотилки.

Но мы это не умеем и только смотрим с интересом и сочувствием.



Над нами черная беспредельная вышина. И вдруг мы услышали какие-то музыкальные звуки. С черного неба они неслись к нам. «Клинь, клинь, клинь!» Над нами летят большие розовые птицы. Розовые птицы с длинными шеями.

— Лебеди, лебеди! — шепчет Зося.

Лебеди влетели в освещенное костром пространство и, плавно махая крыльями, сделали широкий круг и растаяли в черном небе. И вдруг опять появились, пролетели мягко над самым костром и закричали: «Клинь, клинь!» — как бы прощаясь с нами.

И вот их уж нет. И даже не верится, что они были. Это было так сказочно прекрасно, так поэтично, что мы замерли в восторге. Кое-кто из работающих чувашей тоже внимательно посмотрел на лебедей. Они улетели, эти дивные птицы, эти розовые мечты, мелькнули на мрачном фоне жизни и исчезли. И нет их!

Но осталась в душе какая-то радость, какая-то надежда, и она будет светить, она не пропадет.

НОЧЬ В СТЕПИ

«Ну что хорошего, спать тут в четырех стенах, да еще с закрытыми от мух окнами. Там, в степи, нет ни одной мушки, легкий ветерок ласкается к вам, а взглянешь вверх, там не потолок, а весь усеянный звездами купол неба. Смотришь — и оторваться не можешь. Вот звездочка не удержалась на высоте и покатилась. За нее страшно — ударится о землю — ушибется. Но до земли она почему-то не долетает.

Незаметно подкрадется сон, и утром встаешь бодрый, отдохнувший.

Там, в степи, около омета, мы устроили себе из соломы уютные спаленки. И мягко, и пахнет так чудно свежей соломы. В ногах у нас спят собаки — Бойка и Тузик.

«Мы уступим вам свои спаленки, а сами переберемся на другую сторону омета. Послушайтесь нас, забирайте подушки и одеяла и пойдемте в степь к нашему омету». Так я и Анатолий уговаривали его сестер и гостящую у нас Зосю ночевать на свежем воздухе, в степи. В конце концов уговорили.

С истинно рыцарским самоотвержением мы перенесли их постельные принадлежности и отдали им наши уютные, любимые гнездышки из соломы. Нам очень хотелось, чтобы они от спанья в степи получили бы такое же удовольствие, какое получаем мы. Наконец устроились, улеглись. Лежим и смотрим в сияющий звездами купол неба. «Ну как? Ведь хорошо?» — «Очень хорошо...» — слышим мы довольно неуверенный ответ. И тут вся степь вдруг ярко осветилась, и над нашими головами, плавно прочертив огненную дугу до самого горизонта, проплыл метеор. Мы вскочили и успели обежать кругом наш омет, чтобы увидеть, как он погас у самой земли. Через несколько секунд мы услышали как будто отдаленный пушечный выстрел. Это великолепное зрелище не было запланировано в нашей программе, и мы были в восторге.

«Ну, что вы скажете? — кричали мы. — Могли бы вы увидеть такую красоту в вашей комнате? Ведь такой метеор можно увидеть не больше одного раза в жизни!»

Мы долго переговаривались через омет, пока наконец успокоились и уснули.

«Толя! Толя! — слышим сквозь сон отчаянный крик Екатерины Осиповны. — Толя! К нам подходят коровы!»

Можно подумать, что к ним подходят тигры. Прошлую ночь к нам тоже подходили коровы и долго, вдумчиво смотрели на нас. Мы же не кричали отчаянными голосами, а спокойно лежали и спали. Делать нечего — надо прогнать этих непрошенных гостей.

Прогнали коров и наконец уснули. Проснулись, когда вся степь сверкала росой и через наш омет летели из грачиной роши дикие голуби. Они летели на гороховые поля. Стая за стаяй. «Смотри, как низко летят! Эх, забыли ружья. Настреляли бы на завтрак».

«Вставать пора!» — кричим мы нашим дамам. Молчание... Вот что значит на свежем воздухе — спят как сурки. Обошли омет, осторожно заглянули на наших дам... Никаких признаков жизни не заметно... Наши гнездышки из соломы были пусты. «Не понимаю... — сказал Толя. — Куда они делись?!»



Каково же было наше удивление и даже огорчение, когда мы увидели за утренним чаем их усталые, измученные бессонной ночью лица.

«Мы всю ночь не спали... Солома полна мышами. Мы не понимаем, как вы можете спать, когда под головой шуршат в соломе мыши?..»

Мы этого не учили. Мы, признаться, не обратили никакого внимания, что где-то там шуршат мыши. Ну а женщины — даже очень храбрые женщины, которые не побоятся спасти ребенка от бешеной собаки или остановить понесшую лошадь, — женщины боятся, панически боятся мышей, летучих мышей, сороконожек, ночных бабочек.

Так кончилась эта дивная ночь в степи... Больше мы уже не расхваливали все прелести ночевки на свежем воздухе. Было ясно, что ни звездный купол неба, ни ласковый ветерок, ни ароматы степи, ни голосок совки-сплюшки не могут заворожить, завуалировать ужас перед мышами.

Ну что же... Пока была теплая сухая погода, мы с Анатолием спали в наших соломенных гнездышках, спали, не обращая внимания на мышей.

НИКОЧКА

Вот вы скажите мне откровенно — приходилось ли вам воровать девушек? Нет? А может быть, воровали? Когда-нибудь? Нет, не приходилось? А вот мне довелось. Да не какую-нибудь завалиющую, а красивую, молодую. Да еще откуда... Да еще как... Нет, уж лучше я все расскажу по порядку.

Началось с того, что мы, трое мужчин, остались в целом доме одни. Наши дамы уехали в Москву. Одни, без женского уюта, без женских рук. В доме стало так же холодно и пусто, как на маленьком железнодорожном полустанке где-нибудь далеко в степи. Даже вещи стали какими-то беспризорными, пыльными, чужими. Старуха стряпуха кормить нас стала без всякого энтузиазма — лишь бы отделаться. В доме беспорядок, сор, грязь, на столах грязная посуда, кровати не постелены. Пол не подметен. Без хозяйки — дом сирота. А тут еще на дворе дождик — сиди дома да смотри на эту мерзость запустения. Вот как-то Александр Осипович и говорит: «А ведь плохо без женщин-то? Неуютно... Вот что, друзья мои. Поезжайте вы в монастырь к игуменье Алевтине и передайте ей вот это письмо. Она будет ворчать, но все же отпустит Нику».

Нам запрягли тройку буланых, и мы покатили. Долго стучали в ворота, пока наконец в маленькое окошечко выглянул старушечий глаз. Вышла мать привратница, подозрительно нас оглядела: «Вы чьи же будете?» — «Мы из Артемьевки, мамаша». — «Откеда? Не слыхала что-то. Кому передать письмо-то?» — «Самой, передайте, самой игуменье Алевтине». Старуха повернулась и пошла... Заперла на ключ калитку и скрылась.

Долго ждали. Но вот слышим быстрые шаги, и в окошечке появляется смеющийся глаз Ники. «Это вы, как хорошо! Я сейчас прибегу, только соберу узелок». И она исчезла. Минут через пять снова появляется Никин глазок, но уже не смеющийся, а грустный.

«Не знаю, что делать. Калитка заперта, а мать привратница в церкви поклоны кладет. Ее тревожить нельзя. Вот что, подъезжайте вон к тому углу, за угол заверните и ждите меня, я через стену к вам перелезу и спрыгну».

Повернули тройку, подъезжаем к самой стене. Ника уже сидит на ней и ножки свесила. Улыбается. Мы с Анатолием встали на тарантасик, подхватили на лету Нику, и... я сел на козлы, Анатолий усадил с собой рядом Нику, и тройка запыхала по дороге.

Чем не Декамерон? Или, скажем, два лихих мушкетера похищают прекрасную монастырку. И как похищают? Через монастырскую стену, на тройке лихих коней. Ника смеется, но, велика привычка, у нее все время проскакивают монашеские словечки: вместо «спасибо» она говорит: «Спаси вас

Бог» — и вид у нее самый смиренный и елей на устах, а в глазах чертики прыгают. «Ника, не поминайте вы через слово — Бог, Бог. Вот возьмут вас живьем на Небо, а мы?.. Опять беспризорными останемся... Вы себя все Христовой невестой считаете, а вот мы вас за Людвига выдадим, и без вас Христовых невест хоть пруд пруди. Не может же Христос всех вас в жены взять, да и неудобно такой гарем на Небе устраивать. Скажите, пожалуйста, Ника, как это вас мать Алевтина отпустила? Вам ведь теперь во всеошном бдении стоять бы надо, а вы на тройке по степи мчитесь, да еще в компании с еретиками, которым место в геене огненной».

Ника смотрит на нас удивленно. «Да ведь Александр Осипович пишет — я сама читала письмо матушке Алевтине, — он пишет, что у него сестра заболела и за ней некому ухаживать. Матушка плохо по писаному разбирает — вот я ей письма-то и читаю. В конце письма Александр Осипович ей горошку пообещал. Он пишет, что в этом году уж очень хорош горох уродился, вот матушка и отпустила меня».

Анатолий смеется: «Ах, Ника, Ника! Выходит, мать Алевтина вас на мешок гороха променяла. Мы вас дороже ценим, много дороже».

Ника в Артемьевке. Прошел день, два, и наше звериное логово узнать нельзя — чистота, порядок, в вазочках цветы, окна протерты, полы вымыты. Даже стряпуха переменялась — щи стали вкусней и на второе не только каша. На Нику мы не налюбujemyся. Никой мы не нахвалимся.

Кто там мчится по дороге?

Смотрим, подкатывает к крыльцу великолепный рысак, а на дрожечках молодой человек. Светлый костюмчик, на голове клетчатая кепочка, на ногах желтые кожаные гетры. Молодой человек ловко соскакивает с дрожек, привязывает к забору своего рысака и идет на крыльцо. «А... пан Людвиг? — восклицает Александр Осипович. — Милости просим».

Пан Людвиг — управляющий соседнего имения. Нам ясно, что он прикатил в надежде повидать Нику, но он делает вид, что слышал, будто в Артемьевке продаются лошади. Его речь с польским акцентом необычайно вежлива и до притворности сладка. Узнав, что никаких продажных лошадей нет, он долго извиняется и все поглядывает на дверь в соседнюю комнату. Дверь под его взглядом отворяется, и в комнату входит Ника.

Людвиг мгновенно вскакивает: «Доминика Архиповна! Имею честь и величайшее удовольствие видеть вас в добром здоровье. Вашу ручку, прелестнейшая!» — Людвиг целует у сконфуженной Ники ручку. «Что вы, что вы... Не надо...» — бормочет Ника. Ника вся расцвела, вся переменялась, даже голос другой стал. Грудной голос. Таким голосом женщины говорят очень редко. Говорят в минуты сердечного расцвета. Это голос сердца, голос любви.

ЖУК. 1910 ГОД

Я должен поехать в Стерлитамак, зачем — я не могу теперь вспомнить, но должен. Седлаю каурого. Александр Осипович говорит: «Вы заезжайте в деревню Наполье к учителю. Он славный, он вас покормит, у него и переночуете». Сажусь на каурого и пускаюсь в далекий путь. До Наполья примерно пятьдесят верст, до Стерлитамака еще верст сорок. Где рысью, где шагом по полям, по лугам, через грязные чувашские, через пустые башкирские деревушки. Жара, мухи и слепни донимают и меня и Каурого, устал здорово, но наконец доехал до Наполья. Вот и школа. Большой зеленый двор. Ни при школе, ни во всей деревне ни одного садика, ни одного деревца. С мечтой об отдыхе слезаю с седла, привязываю лошадь. Захожу в дом. Встречает хозяин-учитель, маленький, шуплый, неказистый чуваш. Смотрю, в доме полно гостей. Сидят за столом, едят. Меня учитель тащит туда же. Знакомит со всеми. Все чуваша, все уже навеселе. Не то именины, не то рождение хозяина. Вот, думаю, попал — теперь не скоро удастся поспать. На столе какие-то закуски, и на большом блюде здоровенный лещ. Хозяин режет леща, кладет гостям и мне по увесистому куску. Только теперь я понял, чем это так неприятно пахнет — в этом виноват был лещ. Что делать с куском на тарелке? Чуваша за обе щеки уплетают, а я не могу. В открытое окно с гудением влетает большой жук-могильщик и прямо падает на леща. Вот кому по вкусу рыбка с душком. Никто из чувашей, конечно, не понял, какой это жук и почему он плюхнулся на леща. Подхожу к хозяину — извиняюсь, что с дороги у меня разболелась голова, есть я не хочу и прошу разрешения посидеть на крылечке на свежем воздухе, а также спрашиваю, можно ли пустить лошадь на траву. Оглядываю двор, ищу какой-нибудь сарайчик, где можно было бы при-



лечь. Нет ни одного сарайчика. Спать неудержимо хочется. Сижую клюю носом, смотрю, как мой каурый с аппетитом шиплет траву, и слушаю, как чувашки звенят посудой и галдят. От души желаю им подавиться тухлым лешом. Каурый скоро наелся и стоит спит. Как я завидую ему, как жалею, что не умею спать стоя. Наконец Бог услышал мои молитвы — чувашки прощаются с хозяином и уходят. Скатертью дорога! Вот-то посплю всласть! Любезный учитель укладывает меня на кровать, желает покойной ночи, приятных снов. Скорей, скорей спать. Но... Человек предполагает, а Бог... Короче,

спать мне не пришлось. Во-первых, это была не кроватка, а орудие пыток, оставшееся от отцов инквизиторов и каким-то чудом попавшее к учителю. А во-вторых, в этой кроватке жили голодные, кровожадные клопы... Прощай, сон. Сажу у окна, дремлю и жду, когда же наконец взойдет солнышко и мне можно будет поехать дальше. Наконец-то из-за плетня выглянуло солнышко. Вылезаю из окна, чтобы не будить никого, седлаю каурого и отправляюсь дальше искать приюта и сна.





ПИКНИК

Картинка прошлого

На Богоявленском стекольном заводе необычайное оживление. Сегодня день рождения директора завода Пунги, и вся знать приглашена на пикник. Пикник будет на большой поляне, возле речки Зигазинки. Туда уже отправлены телега с провизией и прислуга. На площади перед главным домом коляски, тарантасы, брички. Мальчишки снуют между экипажами, лошади нетерпеливо скребут копытами землю.

Из главного дома вышел директор Пунга с женой, и за ними высыпала толпа молодежи: сестра жены директора Липочка и ее подруги по институту — Соня Семашко и Катюша Ползик, с ними молодой агроном Феденька и я.

Феденька приехал сюда выяснять степень зараженности мучнистой росой садовых культур. Культуры культурами, но Феденьку также интересует мучнистая роса на розовых щеках матушки попадьи, и он все время поглядывает на поповский тарантасик. Пунги садятся в коляску. Нарядный кучер еле сдерживает тройку горячих коней. «Трогай!» Зазвенел колокольчик, помчалась тройка. За директорской тройкой с гиком и свистом помчались тройки земского начальника и станового пристава, парочка доктора Ползика, тройка главного управ-

ляющего всеми землями завода. Пыль облаком заклубилась по дороге.

Нам — молодежи — подали какую-то допотопную линейку. «Да это похоронные дроги!» — смеется Липочка. Кое-как умещаемся на дрогах, и наш экипаж трогается. В тесноте, да не в обиде. У нас на дрогах царит веселье. Наша парочка башкирских лошадок старается изо всех сил. Впереди пылят тройки. Они все дальше и дальше уходят от нас к синеющим горам. Дорога ровная, чернозем укатан до блеска. Лошаденки несутся вскачь. «Стой! Стой!» С Катюши слетела соломенная шляпа и лихо покатилась по дороге обратно, домой. Мчимся с Феденькой за беглянкой, и мне выпадает честь поднести ее Катюше.

Дорога идет уже лесом, в гору. Кругом стоят высокие липы, дубы. Липы цветут, жужжат пчелы, чудный запах наполняет воздух. Дорога подымается вверх по речке Зигазинке. Буйная речка, вся в пене, прыгает по камням. Иногда дорога далеко отходит в сторону и огибает пологие холмы, иногда круто взбирается вверх. Жарко, лошади все в мыле. Мы слезаем с линейки и идем пешком. Навстречу едет верхом башкирин, а за ним, тоже верхом, нагруженная всяким скарбом и с двумя младенцами на руках молодая башкирка. Ба! Да это старый приятель! «Здорово, Низам!» — «Аруме, московский! Как живешь? Приходи кумыс пить. Мой коша рядом. Ты что смотришь? Это мой баба. Молодой баба взял. Двух баранчук ташил. Не гляди, что я старый!»

Здороваемся за руку со старым приятелем. Башкирин толстый, важный, напоминает римского сенатора. Смотрит на нас с высоты своего седла и своего величия, как полубог на мелкую сошку. Прощаемся с его величеством и идем дальше. Идем долго, поднимаясь все выше и выше. Вот наконец и поляна. Широкая зеленая поляна с чудным видом на гору Ямантау. Поляну огибает речка, а посреди поляны островок старых раскидистых лип. В этом-то островке и раскинулся наш лагерь.

Кучера уже наташили хвороста, и уже горит костер, уже висит над ним ведро с водой, и наши дамы и прислуга расстилают скатерть, расставляют блюда. Тут и холодная телятина, и жареная птица, и окорок, и заливной поросенок, и пироги, и торты. Широко жило начальство на заводе, бутылок — целая батарея.

Вокруг всей этой благодати собрались в кружок высокопочтенные дамы и высокопочтенные мужчины. Тут и сам новорожденный, директор Пунга с женой, и доктор, и док-



торша. Тут и земский начальник с супругой по прозвищу Цыпочки, и красноносый становой пристав, и молодой поп с еще более молоденькой попадшей, и главный бухгалтер, и еще какие-то люди, мне незнакомые. Молоденькая попадья Зиночка, к великому своему огорчению, тоже попала в число почтенных и с завистью поглядывает на наш не столь почтенный кружок.

Мы сами натаскали хворосту и сами разожгли свой собственный костер. Липочка очень ловко и быстро перетащила в наш кружок двух жареных кур, пирог с мясом и яйцами, ветчину, торт и уж не помню, что еще, и две бутылки красного вина. Хлопнули пробки шампанского. Выпили за процветание новорожденного. Начались тосты. В нашем кружке свои тосты. Все три наши девушки — медички, и мы пьем за медицину, за мучнистую росу, за любовь, за дружбу. Но вот вино все выпито, пироги и куры съедены. «Идемте гулять вверх по речке, к Шихану!» Зиночка умоляюще смотрит на нас. В высокопочтенном кружке заметно развязались языки. Пьют на брудершафт. Пунга, как старый бурш, запевает немецкие студенческие песни, растирает стаканом какую-то саламандру. На шум и запах всяких явств прибежали две башкирские собаки и умильно поглядывают на нас. Куриные кости и огрызки пирогов были наградой их смелости.

Становой обнимает доктора и заплетающимся языком бормочет: «Митя, дай я тебя поцелую... Митя, ты умный... Скажи, как, по-вашему, по-ученому, вредно пить водку? А? Вредно? Моя-

то мне не велит. Говорит, вредно. Митя, выпьем за ее здоровье...» Попик тоже хватил изрядно и явно плохо узнает лица. Кое-кто пытается петь: «Из-за острова...», но это плохо удается.

Настало самое время умыкнуть попадью Зиночку, и мы ее умыкаем в нашу компанию. Зиночка в восторге, смеется и даже кокетничает с Феденькой. Идем вверх по Зигазинке к Шихану. Вот он! Это громадный камень с пятиэтажный дом, грустно, одиноко стоящий над бурной Зигазинкой. Сосны и ели окружают его, шепчут ему что-то, должно быть, утешают его. Взойдем на его вершину! Кто самый смелый? Самой смелой оказалась Липочка. Она сняла туфли и решительно полезла на Шихан. За ней полезли и другие.

С трудом, но все же все влезли, радостно прокричали победу и из камней воздвигли на вершине Шихана пирамиду. Но оказалось, что победу кричали рано и влезть на Шихан куда легче, чем слезть. Пришлось связывать пояса, шарфы, чулки. С великим страхом и трудом, но все же слезли. Кое-кто ободрал коленки, кое-кто порвал чулки, но все же прокричали опять победу. Две знакомые башкирские собаки издали наблюдали нас, но, видя наши нелепые поступки, поспешили удрать домой. Нам тоже пора возвращаться на поляну. Солнце собралось на покой, почему-то сконфузилось, покраснело и спряталось за горой Ямантау.

Когда мы пришли на поляну, сумерки окутывали мирную картину общего сна. Костер погас. Почтенные мужчины почили в самых разнообразных позах, почтенные дамы тоже.

Совка-сплюшка не переставая кричала: «Сплю, сплю, сплю...» — стараясь уверить всех, что она тоже спит. В кустах, под деревьями, зажглись светлячки. Над поляной ломаным полетом летал козодой, иногда он громко вскрикивал, иногда слышно было, как он шелкал клювом, ловя ночную бабочку. Теплый тихий вечер заворожил всех. Мы уселись кругом костра, молчим и смотрим, как в языках пламени пляшут духи огня саламандры. Пора, пора! Кучера запрягают лошадей, прислуга спешно укладывает посуду.

Оказывается, бричку с сонными Цыпочками шутники закатали в реку. Теперь со смехом и шутками выкатывают на берег.

Все садятся в свои экипажи. Мы тоже садимся на свои дроги и по каменистой неровной дороге начинаем спускаться с Уральских гор. До свиданья, лесные великаны, до свиданья, большая поляна.



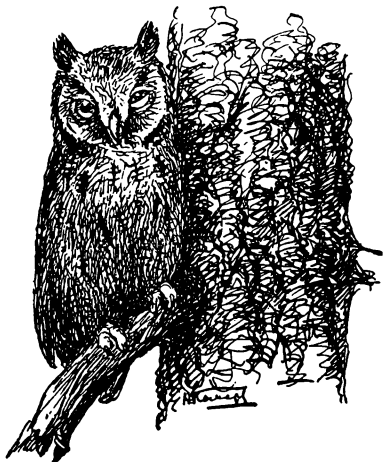
Мы выехали из леса. Дорога стала ровной, и наши дроги понеслись полным ходом. Солнышко давно уже закатилось, и уже погасли огнистые края облаков. Повяло вечерней прохладой, с полей нам навстречу подул легкий ветерок. Запахло цветущей пшеницей. Слева из-за гор выглянула луна, и от нас и от лошадей через дорогу побежали тени. Теплый вечер, быстрая езда, широкий простор и высокое светлое небо очаровали нас. Мы притихли, молчим. Таррах, таррах, таррах — отбивает темп пристяжная. Ритмично сверкают подковы, ритмично пляшет шлейка на крупе. «Ай, ля и ля-ля-а», — тихонько поет заунывную песню наш кучер-башкирин.

«А ведь может быть... — задумчиво говорю я, — может быть, мы сейчас переживаем лучшие часы нашей жизни... и это уже никогда не вернется, никогда не повторится, никогда!»

ЕЩЕ ОДНО ВОСПОМИНАНЬЕ

Я ехал в плетеном тарантасике в Оренбург. Две саврасые лошадки бодро бежали по черной пружинистой дороге. На козлах сидел Сахиб Ахмеддинов. Он причмокивал губами и помахивал кнутиком. Я вспоминал прочтенный вчера «Сад Эпикура» и мысли Анатоля Франса о судьбе женщины, превратившейся из жалкой рабы в чудо, в божество, которому поклоняются мужчины, из-за которого убивают друг друга, совершают преступления, лишают себя жизни.

Святой Антоний и святой Иероним, чтобы избавиться от постоянных призраков, в которых им являлись женщины, призраков, еще более прекрасных, чем сами женщины, умерщвляли свою плоть. Они так усердно убивали ее, что от нее осталась только прожженная насквозь солнцем кожа да кости. Но убитая плоть не сдавалась, и видения не прекращались. «Сгинь, про-



пали, чудовище!» — вопил святой Иероним. Да, я забыл вам сказать, что со мной в глетьеном тарантасике сидела тоненькая фигурка с круглой головкой и большими карими глазами. Это была Лика. Она тоже ехала в Оренбург. Два дня тому назад я познакомился с ней у своего друга, и мы решили ехать вместе. Мы сидели, тесно прижавшись друг к другу, а на ямах и кочках крепко толкались боками.

Святой Иероним не выходил из моей головы. Странно, думал я, с умерщвленной плотью, с постоянно пустым желудком, этот засохший скелет, вместо того чтобы презирать о

сухой корочке хлеба, заливом поросенке, отбивных котлетах или индейке со сливами,— этот жалкий скелет видит женщин. Женщины соблазняют его, они не дают ему минуты покоя. Это почище самого Дон Жуана. Тот влюблялся не на голодный желудок, не с умершвленной плотью.

На очередном ухабе сидящая рядом со мной фигурка крепко стукнулась о мой бок. Я обнял это чудовище за талию и прижал к себе. Чудовище повернуло ко мне головку и, скосив глаза, посмотрело на меня карим глазом. Оно улыбнулось. Это уже был соблазн, но я не завопил подобно Иерониму: «Сгинь, пропади, нечистая сила!» Совсем наоборот — я покрепче прижал к себе этот смертный грех, эту нечистую силу.

Сверкают подковами саврасые лошадки, помахивает кнутиком Сахиб Ахмеддинов, пробегают мимо то татарские, то чувашские деревни. С яростным лаем бросаются к тарантасу косматые дворняжки. Пррр... Вот он, этот домик, где живут знакомые Лике старички и где нам придется переночевать.

Нас встретили радушно, как родных или самых близких друзей. Сидим пьем чай со всякими деревенскими деликатесами.

ТАБЫНСКАЯ ИКОНА

В реку Бемро впадает небольшая речка Усолка. В этом месте стоит большое село Табынское. И эта речка, и это село крепко связаны с религиозными легендами. В роднике была найдена икона Божией Матери. Нерукотворная икона, и она начала творить чудеса: исцелять слепых, больных, безногих. В селе Табынском, куда была перенесена икона, около такой хлебной благодати, устроились четыре попа. Икона стала круглый год ездить по всей округе. Ее сопровождали два попа, а два других отдыхали дома, потом они менялись.

В каретах и тарантасах ехали попы и святая икона, и в каждом селении ее встречали верующие, ползком подползали под икону. Откуда-то набираются всякие калеки, уроды, бесноватые, раздаются дикие выкрики, плач, и обильной струей льются медяки, серебро, вышитые полотенца, холсты.

На девятую пятницу в село Табынское приезжает икона матушки-заступницы Табынской Божией Матери. В селе



яблоку упасть негде. Со всех окрестных деревень и даже издалека приходит народ. Чуваши, русские, мордва в своих национальных нарядах толпятся вокруг церкви, во всех улицах и переулках. На площади ярмарка, и свист и писк дудок, и рев и блеяние скота, ржание лошадей, звуки гармошки, крик и говор, матушка-заступница Табынская Божия Мать очень популярна. Ее чтят во всей Руси, а в Табынске она была хорошей подмогой для всего населения. На девятую пятницу икону несут к роднику, где она была впервые открыта, и за иконой нескончаемой вереницей идет народ. Идут верующие за иконой к роднику, чтобы там набрать святой воды, окунуться в родник и сбросить в воду свою одежду, а самим надеть новое, чистое платье. И вот по речке Усолке плывут сброшенные одежды, плывут, унося с собой всю грязь и все грехи своих омывшихся безгрешных хозяев. А эти грешные одежды, когда они отплывут подальше, подбирают татары и башкиры и, не боясь греха, носят на доброе здоровье.

ЧЕРНЫЙ АИСТ

Это было на Урале в Уфимской губернии. Я приехал на лето в село Табынское к родным погостить. На одном из озер недалеко от села был пойман черный аист. Это был еще птенец, но уже большой, который, видимо, только что научился летать. Прежде чем он к нам попал, его некоторое время держал у себя учитель, но, затрудняясь с кормлением птенца, отдал его мне. Аист не был очень диким. Он был очень нарядный: голова, шея и вся верхняя сторона — бурого-черного цвета, грудь и брюшко белые, клюв красный. Мы пустили его во двор, ему, видимо, понравилось, и уходить от нас он не собирался.

Вначале я не знал, как его кормить. Я поставил перед ним чашку с мелкой рыбой, он не нагнулся и не взял ее. Помогла случайность. Желая накормить его из рук, я уронил одну из рыбок. Аист в один момент схватил ее, высоко подкинул и, поймав ее на лету, проглотил. С тех пор мы кормили его, подбрасывая пищу вверх. Он необыкновенно ловко схватывал ее и съедал. Потом он научился сам брать пищу снизу. Он охотно ел и мясо, и хлеб, но рыба и лягушки были его любимой едой. Скоро он стал совсем ручным, медлительный в движениях и важный, он чувствовал себя на дворе полным хозяином. С домашней птицей, с собакой жил в дружбе. Очень не любил ссор между обитателями двора и своей медленной походкой подходил к дерущимся и разнимал, шелкая над ними клювом. Вообще шелканьем клюва он мог выражать много чувств: приветствие при встрече с людьми и недовольство.

Иногда аист улетал на реку, видимо, охотился там, но всегда прилетал обратно.

Осенью мне надо было уезжать в Москву, и пришлось его отдать директору стекольного завода. Что было дальше с аистом, я не знаю.





МУЛЛА

Мы едем в плетеном, так называемом «казанском», тарантасике на парочке почтовых лошадок.

Возница-чуваш гикает и гонит их вскачь.

Я приехал в Уфимскую губернию к своему другу — земскому агроному Александру Осиповичу, и теперь мы вместе с ним объезжаем башкирские деревни, чтобы посмотреть, как башкиры, в первый раз сеявшие овес или просо, справились с урожаем. По рассказам Александра Осиповича, ему очень трудно было убедить их в пользе посева.

Мы едем в деревню, где только один мулла согласился посеять овес, а вся деревня теперь сидит и ждет, какую пользу получит мулла. Александру Осиповичу интересно посмотреть, как мулла убрал свой урожай.

Мой друг ездит по своим агрономическим делам, а я в небольшой альбомчик делаю путевые наброски.

Приятно ехать в «казанском» тарантасике на длинных упругих дражинах. Сидишь на мешке, набитом сеном, колеса бесшумно катятся по блестящему чернозему. Заливается под дугой колокольчик, пристяжка ровным скоком отбивает темп, чуваш на козлах помахивает кнутиком, а мимо мелькают то поля, то лесочки, то деревушки. Вот с гор едет башкир верхом на маленькой лошадке, а лошаденка запряжена вместо огло-

бель в длинные жерди, которые концами волокутся по земле, и на них привязан бочонок с дегтем. Он едет из таких мест, где нет дороги и на телеге там не проедешь.

Подъезжаем к Большой башкирской деревне, в ней-то и живет мулла. В башкирских деревнях нет ограды, улицы покрыты травой — чистые зеленые улицы, их не перекапывают санины, как в русских и чувашских деревнях.

Рядом с мечетью домик муллы. Мулла встречает нас на крыльце. Он толстый, важный, в широком бешмете, в расшитой тюбетейке. Приглашает нас в дом. Небольшой дом разделен на две половины. В одной, куда он ввел нас, почти вся комната занята нарами. Нары застелены войлоком, и на них, чуть не до потолка, горы подушек. Другая половина отделена занавеской, и там находятся женщины.

Мулла просит садиться и подкладывает нам подушки. Он что-то говорит по-башкирски женщинам. Из-за занавески высовывается рука и подает в стеклянной четверти кумыс.

Мулла из деревянных чашек угощает нас кумысом. Он довольно хорошо говорит по-русски.

— Ну как, мулла, ваш овес? Убрали? Обмолотили? Сколько вышло зерна? — спрашивает Александр Осипович.

Мулла долго молчит.

— Когда убирать? Некогда было. Я в гости ходил, на свадьбу. Ой, ой, ой, сколько мне этот овес стоил! Мне русский пахал — плати, посеял — плати, заборонил — опять плати. Вот поспел — жать кто будет? Наши бабы не умеют. Опять нанимал, опять деньги плати. Я уж пятнадцать рублей платил, а что возьму — не знаю.

Александр Осипович смеется.

— Что вы, мулла, горюете? Ведь нынче хорошо овес уродился. Вы со своего поля полтора пуда возьмете. Большой барыш будет. А сейчас-то у вас где овес? На дворе?

Мулла усмехнулся.

— Я вам говорил, что в гости ходил. Когда мне было с овсом возиться. В поле овес...

— В поле? А когда его сжали?

Мулла задумался.

— Недели две будет... В поле овес. Кто его там возьмет?

— Поедьте в поле! — сказал Александр Осипович.

Мулла что-то крикнул на женскую половину. Там затопали босые ноги и хлопнула дверь. Мы вышли на крыльцо. Мулле подвели заседланную лошадь, мы сели в свой тарантас.

Без дороги спустились на изволок и подъехали к полю. Оно было густо заложено крестцами.

— Ого, какой урожай!— сказал Александр Осипович.— Ну, мулла, вы теперь богатый человек! Тут пудов двести будет, а то и больше.

Мулла подъехал к снопам, слез с лошади. Лошадь потянулась мордой к овсу. Мулла ударил ее по морде плеткой.

— Иш, шайтан, овес жрать!

— Ну, вам теперь немного работы! Обмолоти и тащи на базар. Богатый урожай! Ну, давай посмотрим. Сними-ка сноп! Мулла поднял верхний сноп.

Этого никто не ожидал! Из снопа и из середины крестца, как из мешка, посыпались мыши. Они поспешно попрятались под снопами.

Вот тебе и урожай! Я никогда не видел мышей в таком количестве!

Подошли к другим крестцам. Подымаем сноп, и из него каскадом сыплются мыши. Мыши, мыши вместо овса! Все поле съедено мышами. Одна солома, и больше ничего. Дорого обошлась мулле его прогулка на свадьбу!

Александр Осипович всю дорогу молчал. Подъезжая к дому, он сердито проговорил:

— Вот ленивая свинья! Только бы этим башкирам пить кумыс и валяться на боку. Одни бабы у них работают. А эти свиньи по гостям ездят и кумыс пьют. Теперь вся моя пропаганда пойдет насмарку. Вот, скажут, мулла сеял, а что взял? Только деньги зря истратил.



ТАБУН

В Артемьевку пригнали табун лошадей. Артемьевка — это громадное имение часторговцев Губкиных-Кузнецовых. Сами владельцы живут в Париже, а имением управляет мой друг Александр Осипович.

Стерлитамакский барышник закупил в Монголии лошадей, нанял табунщиков-монголов, и с весны все лето табун шел через пустыни и степи до Стерлитамака. В Артемьевке табун будет отдыхать, и отсюда лошадей небольшими груп-



пами будут уводить на продажу в город. Лошадей в табуне около двух сотен, гривастые, с длинными, густыми хвостами, в большинстве саврасые, каурые, буланные, небольшого роста, крепкие, неутомимые. Они прошли громадный путь пустынями и степями в зной и холод, днями без воды и пищи, попадали в пыльные бури и, неожиданно, в снежные бураны.

У маток родились жеребята, и несчастные малыши должны были с первых дней своего рождения идти и идти на своих еще не окрепших ножках. Иные не выдерживали и умирали, иные все же дошли.

Я верхом едзу среди табуна и с интересом смотрю на этих монгольских лошадок, уже покоренных человеком, но еще сохранивших много признаков своих диких предков.

По краям табуна сидят на конях табунщики-монголы. Они сплошь одеты в жеребьячи шкуры. И халат, и штаны, и сапоги — все из жеребьячих шкур, только на голове лисий маляхай. Лица скуластые, темные, не то от грязи, не то от загара. В руках у них укрюк — это длинная жердь с длинной веревкой на конце. Конец этой веревки, сплетенной из конских волос, в руке табунщика. Вот он поскакал за лошадкой, вот поравнялся с ней. Жердь с веревкой скользнула по ее спине через голову, и веревочная петля у нее на шее. Лошадь скачет, и монгол скачет рядом, но вот монгол начинает задерживать свою лошадь, петля начинает затягиваться, душит лошадь, она взвизгивает на дыбы, падает. Ей надевают узду, завязывают глаза, заседлывают. Монгол садится на нее, глаза ей открывают, и она мчится бешеным карьером в степь. Монгол хлещет

ее плетью, чтобы она не останавливалась и не старалась бы сбросить всадника. Она мчится несколько верст и наконец выдыхается. Монгол поворачивает ее обратно и подъезжает к табуну — лошадь обьезжена.

Я смотрю на лошадей и не могу насмотреться. Я рисую их. Их и монголов. Как я рад, что в мое время есть еще на земле лошади, есть на земле монголы в жеребьих шкурах, есть бескрайние степные просторы. Монгол сидит на лошади, он прирос к ней. Его нельзя представить себе без лошади — это кентавр. Это дикий кентавр в жеребьей шкуре. С каким наслаждением я рисую его, но то, что я делаю, его нисколько не интересует. Это ему непонятно, это ему чуждо. Я показываю ему его портрет на лошади — он безучастно посмотрел и отвернулся. Для него это просто кусок бумаги с пятном. Это меня восхищает. Передо мной дитя степей, не тронутое даже самым краешком культуры. Дикий кентавр.

Пару этих полудиких лошадак покупает Александр Осипович. Он хочет их попробовать. Их запрягают в тройку пристяжками к рысистому кореннику. Их держат, у них завязаны глаза. На козлах лихой кучер-башкир.

— Пускай.

Повязки с глаз сброшены, поводя отпущены. Держись крепче! Мы вцепляемся в ободья таранасика. Тройка мчится. Пристяжек, кроме кучера, держат еще два верховых башкира. Они скачут рядом. Тройка мчится бешеным аллюром. Дорога ровная — степь. Вот промелькнула одна деревня, другая, третья. Тройка начинает сбавлять ход.

Верховые башкиры уже отстегнули поводя от пристяжек и повернули обратно домой. Пристяжки скачут уже не карьером, а ровным галопом. Трах, трах, трах — отбивают темп их некованные копыта.

— Что, Ахмет, уходились? — спрашивает кучера Александр Осипович.

— Зачем уходились! Мало-мало передохнуть хотят. Вот коренник уходился мало-мало, а эта, шайтан, им что?

Вот большое село. Заезжаем во двор к земскому начальнику. Кучер упирает тройку головами в забор. Высоко подтягивает лошадям головы. Пусть постоят. Коренник весь в мыле, тяжело дышит, а пристяжки как будто и не скакали вовсе. Стоят косятся. Пугливо фыркают. Кучер оглаживает их, уговаривает.

Александр Осипович скоро управился со своими делами и выходит из конторы с земским начальником. Тому интересно посмотреть на полудиких монголоков.

Снова мчимся, как и раньше, бешеным ходом, маленькая передышка, и они опять полны сил. Теперь уж едем домой, в Артемьевку.

— Держи, Ахмет, этих чертей! Не запалить бы коренника!

Вот и Артемьевка. Промчались пятьдесят верст, а этим монголкам хоть бы что. Проскачут и еще столько же.





РАЗГОВОР НА ТЕРРАСЕ

Невыдуманные случаи

Общество собралось за столом на террасе. Терраса очень широкая, окруженная массивной каменной балюстрадой. Колонки балюстрады обвивает могучими объятиями глициния. Вечер теплый, тихий. Над морем красуется луна, и ее отражение блестящей дорогой бежит от горизонта к берегу.

Общество занимает вопрос: когда бывает беспричинный страх и бывают ли необъяснимые случаи. Об этом мы говорим довольно долго, и были высказаны интересные мысли и рассказаны загадочные случаи. Но все это с чужих слов. Все это случалось с кем-то и когда-то, но не с нами. И всегда это бывает ночью и в каком-нибудь страшном месте — в лесу, в пустом заброшенном доме, в церкви, в старом сарае и прочая.

— Я как доктор утверждаю, — сказал Голуб, — что все эти необъяснимые случаи бывают с людьми психически ненормальными и во время каких-нибудь душевных потрясений. Здоровый человек не поддается этим болезненным травмам.

— Все это так, дорогой доктор, но бывают случаи, когда и здоровый человек теряет самообладание от беспричинного страха. Что может быть безобиднее бабочки — ничего, а вот для меня нет ничего ужаснее крупной ночной бабочки, когда она с жужжанием влетает в открытое окно и начинает кружить



над свечой и над моей головой. Тут я теряю всякое самообладание и могу выпрыгнуть с пятого этажа. Я без дрожи не могу вспомнить, как такая бабочка прошлым летом ударилась о подушку и зажужжала, касаясь моего лица. Я нырнула под одеяло и потеряла сознание. Когда я очнулась, я долго не решалась выглянуть. Было темно. Свечу, видимо, погасила бабочка, и ее са-

мой в комнате уже не было.

— Я вас понимаю, Марго, но это не беспричинный страх — это индивидуальная черта характера. Некоторые боятся пауков, другие кошек, мышей, мокриц... Вот сейчас мы тут сидим и мирно беседуем, а стоит появиться летучей мыши, самому безобидному из всех зверьков, и все наши милые дамы поднимут визг и вопли. Но это все реальные ужасы, а у нас речь зашла о тех страхах, которые нельзя объяснить. Я уверен, что эти страхи мы получили в наследство от наших предков, живших в каменном веке. Как могли они объяснить гром, молнию, бурю, извержение вулкана, землетрясение, холод, снег? Все это было страшно и непонятно. Теперь мы этого не боимся и все можем научно объяснить.

— Вы правы, доктор, теперь мы все можем научно объяснить, но... бывает так, что объяснить-то нам удастся не сразу, далеко не сразу, а много времени спустя. Вот со мной был такой случай. Я тогда был еще мальчишкой, готовился поступить в консерваторию. То лето было грозовым, жарким, с проливными дождями. Гроза застала меня в лесу. Гром грохотал не переставая, с оглушительным треском разрывалось небо. Мне казалось, что кто-то там наверху старается попасть молнией в меня и никак не может: все мимо, все рядом. Признаться, я здорово струсил и стоял под елкой ни живой ни мертвый.

Гроза прошла. Раскаты грома доносились уже издали. До дома было далеко, и я пошел в соседнюю деревушку, где у меня были знакомые старички. Я был насквозь мокрый и мечтал у них просушиться. До деревушки было не больше двух верст, и я, иззябший, чтобы согреться, шел то бодрым шагом, то бегом. Солнце уже закатилось, и вечерние тени

стали сгущаться. Вот и деревушка. Вот сенные сараи, овины. И тут... Как я не умер от страха! Я весь похолодел, ноги еле держали меня, а глаза я не мог отвести от... От чего бы вы думали? От двух живых голов, горчаших из земли. От двух голов моих знакомых старичков — старика и старухи. Две головы, торчащие из земли! Панический страх сковал мои члены... Тут мне показалось, что старуха открыла один глаз... Я вскрикнул и бросился бежать назад в лес...

Я никому не говорил о своем страхе, о том, что я видел. Никогда потом я не был в этой деревушке, никогда не видел знакомых стариков.

Прошло много лет, и только тогда до меня дошла весть, что давным-давно старики попали в грозу в поле и их убила молния. Народ, по старому обычаю, закопал их по горло в землю, но и это не помогло.

Так вот почему из земли торчали их головы! А я до сих пор не могу без ужаса представить себе эту картину.

Тенор умолк, а всем стало немного жутко.

— Вот сейчас,— сказал художник,— вы посмотрите, какая кругом сказочная красота. Даже за сердце хватает. В такой сказочной красоте и должны совершаться сказочные чудеса, и я удивляюсь, что мы ходим, а не летаем, что вон там из лунного блеска не вылезает морское чудовище, что... ну, мало ли что может случиться... Или мы так огрубели от нашей обывательщины, что уже не замечаем сказки? А разве наши дамы не сказочные принцессы? Разве одна улыбка не покорит самое каменное сердце? Разве вот эти три сестры не греческие богини?

— Ай, ай, ай, наш милый художник начинает говорить дамам комплименты! Какой прогресс! Но вы отступаете от





нашей темы. Нас всех взволновал рассказ нашего певца, нашего сладкозвучного тенора. Теперь ваша очередь. Расскажите нам о чем-нибудь очень страшном, что случилось с вами. Но непременно только с вами.

— С какой бы радостью я рассказал вам такую историю, но со мной не случалось необъяснимых страхов. Я прожил самую серую жизнь. Ни одно привидение, ни один домовой, ни один леший не сочли нужным познакомиться со мной.

Нет, я не могу исполнить ваше желание, да к тому же я сегодня провел необыкновенно прекрасный вечер. Я только что вернулся с рыбной ловли. Я весь полон ее поэзией. С

трезубцем, как мифический Нептун, я смотрел на освещенное морское дно, там колыхались сказочные леса морских водорослей, мелькали блестящие рыбки. Вот, тихо шевеля плавниками, стоит морской ерш, вот на дне вдруг шевельнулся плоский камень и сразу превратился в камбалу. Перед носом нашей лодки была прилажена железная решетка, а в ней горела намоченная в керосине пакля. Кругом ночь, темнота, и только эти сказочные леса водорослей тихо колышутся в свете костра. Что мы поймали? Механик наловил на целый обед, да и другие тоже. Ну, а я не поймал почти ничего, только одного краба. Вот все, что я могу рассказать вам.

— Господа! Если художник не может или не хочет вспомнить какую-нибудь страшную историю, то вот Николай Николаевич, я уверена, расскажет нам что-нибудь необыкновенное.

Генерал поправил пенсне и обвел всех загадочным взглядом.

— Хоть верьте, хоть не верьте, а случаются такие казусы, что их никакой колдун не разгадает. Не далеко ходить... В прошлом году... Вы знаете, я живу одиноко, в маленькой квартирке в две комнатки, и прислуги у меня никакой нет. Дворничиха убирает и печку топит. В то время я одним проектом был занят. Начальство мне палки в колеса втыкало. Расстроен я был ужасно. Еле дотащился до дома. Вхожу. Какой-то чудесный запах, легкий, едва уловимый. Что такое? На столе небольшая вазочка, а в ней цветы. Да ведь какие! Мои самые любимые — анютины глазки. Крупные, всех расцветок. Смотрят на меня и рожицы строят. Откуда? Кто мог поставить их на стол? Я к дворничихе... Та клянется, что никого не было, что она никуда не отлучалась и никто в мою квартиру пройти не мог. Клянется, даже слезы на глазах. Вот и до сих пор я никак не могу понять, откуда взялся букет. Но самое удивительное то, что с этим букетом в меня влились новые силы, настроение поднялось, проект свой я переработал. Он имел большой успех, и все у меня пошло на лад. Даже здоровье окрепло. Но кто же его поставил на мой стол? Вот вам случай необъяснимый, хотя и не страшный, а скорее радостный.

Тут я уловил лукавую улыбку, мелькнувшую на губах Маргариты Эдуардовны.

Было уже поздно, и все общество разошлось.

На другой день, после ужина, лакей вставил в серебряные шандалы новые свечи, и все уселись вокруг стола. Вечер был очень теплый, от Яйлы, как от печки, пыхало жаром.

Вокруг свечей вились мелкие бабочки, чуть видные москиты, долгоногие комарики. Они налетали на огонь и валились полубогорелые на скатерть.

Верочка встала и решительно погасила свечи.

— Я не могу смотреть на этот ужас.

Сразу расширился круг, стали видны деревья парка, цветы глицинии на каменных колоннах балюстрады, лунная дорожка на море.

— Молодец, Верочка! У нее доброе сердце.

— Прекрасные дамы и благородные рыцари! — начал свою речь художник. — Вчера я не мог выполнить волю нашей повелительницы, а сегодня... все же было бы лучше, если бы и сегодня я не мог рассказать вам о том безотчетном ужасе, который испытал вчера вечером. Простившись с вами, я пришел в свою квартирку. Все вы знаете, что я живу в пустом доме. В нем четыре квартиры по две комнаты. В одной из них я и поселился. Одна комната совсем пустая, а в другой моя спальня. Под моей спальней на первом этаже аптека. В аптеке ночью ни души. Во всем доме я один. Тишина такая, что слышно, как богомолы в окне между рамами по веткам переползают.

Зажег свечку, ложусь. Взял книжку и странички две прочел. Нет, сон так и валит. Погасил свечку, засыпать стал, и... Сна как не бывало. Мороз побежал по коже... Шаги... Мерные неторопливые шаги и не мягкой ступней, а как будто костями по полу стучат. Раз шаг, два, и все ближе из другой комнаты к моей двери. Вот уж совсем близко, совсем рядом, вот сейчас откроет дверь... Я вскочил, зажег свечу и бросился к двери. Дверь настежь — никого. Захлопнул дверь и щелкнул ключом. Слышу — опять шаги, мерные, неторопливые. Кто-то тихо прошел мимо моей двери и пошел обратно в пустую комнату.

До утра я не мог заснуть и просидел со свечой, читая книжку. Весь роман Уэллса «Невидимка» прочел и только под утро, когда стало светло, немного подремал.

Чем объяснить эти шаги, я не знаю, и мне, признаться, страшно идти туда спать. Знаю, что не бывает ни чертей, ни привидений, а вот не могу с собой сладить — страшно, да и только. Пойду ночевать к садовнику.

— Никуда вы не ходите, а пойдите со мной в вашу квартиру и обследуем ее как можно подробнее,— сказал доктор,— чем черт не шутит. Я уверен, что мы найдем разгадку.

Так мы и сделали.

Мы вернулись на террасу. Общество еще сидело за столом и с нетерпением ожидало нас.

— Вы помните, я говорил, что мы ездили в море ловить рыбу? Помните, что я поймал только одного краба? Вот этот-то краб и был моим ночным гостем. Это он перекидывал клешни и стучал ими о пол, путешествуя из комнаты в комнату.

— А мне жаль...

— Что вам жаль, Верочка? — спросил художник.

— Мне жаль, что это был просто краб.





ПИРУШКА

Мы собрались у Петра Ивановича Келина в меблированных комнатах «Палермо». Несмотря на громкое название, комнаты были довольно грязны, довольно темны и населены разношерстной публикой — начинающими писателями, актерами, мелкими служащими и тому подобным скромным людом.

Петя Келин пригласил нас на блины. Мы, ученики Школы живописи ваяния и зодчества, народ молодой, полный жизни, обладали хорошим аппетитом, и поесть вкусных, жирных блинов, да еще в дружеской компании, было, конечно, очень заманчиво.

И вот мы собрались. Комнатка невелика, но это не беда — в тесноте, но не в обиде.

Подруга жизни Пети, веселая, бойкая женщина, всех обласкала, рассадил по местам и велела смирно сидеть и дожидаться блинов.

Вася Беляшин, рослый, костлявый парень с громадным кadyком и громоподобным басом, усевшись на супружеской кровати, первый заявил:

— Кладинька, а я есть хочу!

— Сейчас, сейчас, потерпите минутку — я уже пять блинов испекла!

Аромат блинов наполнял комнату.

— Машенька, ты хочешь кушать? — ехидно спрашивал Кока Беловский свою соседку, поглядывая на стол, заставленный тарелками с балыком, копчушками, икрой, селедками. В середине стола красовалось длинное блюдо с заливным судаком.

— Потерпите еще минуточку! — умоляла Клавдинька, в отчаянии смотря на две керосинки, на которых с убийственной медленностью пеклись два блина. Два блина и десять голодных ртов.

Вася Гильберт поставил на стол будильник и на общую потеху засекал время, когда было налито на сковородку тесто и когда был снят готовый блин. Оказалось, что на это ушло шесть минут. В час двадцать блинов. Сделав арифметический подсчет, выяснили, что в час каждый может съесть полтора блина, в два часа — три, а если подойдут еще гости, любители блинов, то и того меньше.

Натурщица Таня, бойкая стройная девушка, предложила немедленно съесть имеющиеся налицо семь блинов, а выпечку прекратить и вплотную заняться закусками. Ее предложение было одобрено и принято. Налили по рюмочке «Поповской». Выпили.

Леонардо Туржанский потянулся с вилкой за копчушкой и нечаянно подтолкнул Клавдиньку под локоть. Кастрюлька с тестом перевернулась в воздухе и грохнулась на пол.

Раздался общий вопль и горькие восклицания.

«Вот тебе, бабушка, и блинки!», «С Великим Постом, братие!», «Прощай, прощай, Масленица!» — заревело несколько голосов из оперы «Снегурочка».

— Браво, Клавочка, теперь вы свободны и будете пировать вместе с нами.

В дверь постучали. Вошел пожилой человек с баками, с большим синим носом.

— Ура! Сам Цупу-Лупу пожаловал! — закричал Келин, приветствуя гостя. — Господа, позвольте представить — наш хозяин, пан Юзек! Его супруга эти комнаты сдает и этого пана при себе в качестве лакея и супруга в великой строгости держит.

— За здоровье пана Юзека! За свободную Польшу!

Стулья были все заняты. Положили на два стула рейки от подрамников и усадили на них пана Юзека, Таню и Прошу Дзюбаненко.

— Спойте, пан Юзек! Спойте застольную!

Пан Юзек, попав в веселую компанию, сразу оживился и не церемонясь запел хриплым басом:

— Гос с бигосом, индик с сосом ядлы польски паны. Цупу-лупу, лупу-цупу, ядлы польски паны...

Припев подхватили, и песня загремела на все мебелирашки.

— Миша! Самовар! — заревел Вася Беляшин, отворив дверь в коридор.

— Сядь поближе, Васенька, расскажи нам, долго ли ты заграничную поездку откладывать будешь? А? Тебе бы уж давно надо было быть в Париже, а ты все еще тут болтаешься. Господа, ведь это талант, большой талант, он не хуже Матэ офорты делает, а он тут по пивным свои деньги растрчивает. Ему на заграничную поездку полторы тысячи начальство выдало, он их в гитару положил и вот два месяца из гитары понемногу выуживает. Теперь там и двух сотен, поди, не осталось.

— Не ври, там еще много больше, и я скоро поеду. Вот только по-французски немного подучусь.

— Брось учиться, все равно, кроме «бон жур» да «мерси», ничего не одолеешь. Поезжай, Вася, скорее! Французскому языку в пивных не научишься. Поезжай, голубчик, пока еще есть на что поехать.

— Ладно, не бойся, поеду.

С пола убрали пролитое тесто, и Таня уже станцевала на этом месте чечетку в честь безвременно погибших блинов.

Дверь отворилась, и взорам присутствующих предстала новая фигура. На фоне ярко освещенного коридора стоял человек в подряснике, в скуфейке на голове, с большой бородой и с густыми бровями. Длинные волосы гривой обрамляли лицо. Мрачно смотрели его глаза из-под нависших бровей. Он держал большой, в рост человеку, крест с приколотенным к нему скорбящим ангелом. Ангел был вырезан из железа и написан масляными красками. Человек остановился в дверях и стоял молча.

— А, святой отец Христофор! — закричал Петя Келин. — Заходи, отче, не стесняйся, тут все люди хорошие.

Все глаза обратились на нового гостя.

— Ой, какой страшный! — взвизгнула Таня. — Я боюсь!

— Мир дому сему! — пропел, входя в комнату, диковинный гость и поставил свой крест к стенке.

— Вот тебе, Николаша, с кого писать твоих евангелистов. Лучше натурщика не найдешь!

Святого отца усадили за стол.

— Выпьем, отче! Его же и монахи приемлют! Николаша, обрати внимание, какая у него грива, что твой Самсон...

Кокочка, не упускай случай — он тебя с Машенькой в два счета перевенчает. Ему не впервой женатых да замужних венчать.

— Как, поп, перевенчаешь меня с Машенькой? Я тебе на бутылочку дам.

— Перевенчал бы и даром, да я сана лишен. Я поп-расстрига. Меня за такое же венчание и расстриг отец благочинный. Ну-ка, налей еще рюмочку. Вот теперь я с этим ангелом пойду в свое село и поставлю его на могилке новопреставленной рабы Олимпиады — жены моей. Упокой, Господи, душу усопшей рабы твоей в месте злчном, месте покойном. Налей-ка еще рюмочку... Да уж ты бы мне стаканчик дал, а то что такой пустяковиной чирикаться. Вот так. А в него мы регального маслица вольем... Сан на мне был, благодать была, а вот теперь я с мытарями да с блудницами...

— Ты, поп, говори, да не заговаривайся. Тут все люди труда и искусства, а не какие-нибудь бродяги-расстриги, что из монастыря в монастырь таскаются, даровой хлеб жрут. Ты пойди вот в мастерскую Прокопия Васильевича Дзюбаненко, посмотри, сколько там прекрасных скульптур сделано.

— Браво, Проша! — раздалось несколько голосов.

— Дорогой Прошенька, можно я вас поцелую? — смеясь, обнимала его Таня.

Дзюбаненко совсем сконфузился, покраснел и стал неловко отбиваться от ее объятий.

— Не конфузь его, Таня, он человек женатый, семейный, ему неловко целоваться с тобой. Ему жена каждую неделю пишет: «Дорогой Проша, Марк из кровати выпал, стукнулся головкой об пол». Правда, Проша? Вот и сегодня, я видел, у тебя письмо из кармана торчит. Опять Марк выпал?

— Ну да, опять. Я ей написал, что лучше уж сразу убить, чем так толочь ребенка об пол.

— Ничего, Проша, сын у тебя крепко сколоченный будет. Его из пушки не убьешь.

Николаша Голов где-то нашел кусок бумаги и уже нарисовал портрет попа-расстриги.



— Ай да Николаша! Смотрите, как он этого бродягу нарисовал! Грива разметалась, глаза горят — прямо Пророк Илья. Вот она — сила таланта!

— Господа! Пока мы тут тары да бары — святой отче всю водку вылакал! Клавочка, налей мне, моя драгоценная, еще стаканчик чаю. Таня, опять ты Прошу конфузишь. Проша, не обращай на нее внимания. Она неисправимая шалунья, но добрая и ласковая. Станцуй-ка, Танечка, ка-чу-чу.

Отодвинули стол.

— Ай да Таня! Эй, жги, говори! Анатоша! Ну и молодец! Кокочка, за тобой черед. Ай да Цупу-Лупу! Вон она, свободная Польша-то, что делает! Браво, Юзек!

Пан Юзек, еле отдышавшись, отворил дверь в коридор:

— Мишка! Давай еще самовар!

Все уселись за стол, все пьют с удовольствием горячий, крепкий, сладкий, как поцелуй, чай.

— Слушай, Петя, с чего это ты раскутился? Наследство, что ли, получил? Или в карты выиграл? Ведь эти блины тебе в копейчку вьехали.

— Пустяки. Я портрет богатого купчины написал и содрал с него хорошо. Правда, портрет удался. Отдавать было жалко.

— Ты молодчина, Петя, у тебя есть портреты не хуже Серовских. Многие тебе завидуют. А вот Леонардо да Алеша — те не завидуют. Пишут зверей всяких, и баста. Господа! Про Леонардо такой анекдот ходит: «Идет Леонардо на эподы, а на луту две лошади пасутся. Увидала его сивая кобыла и заржала: «Бежим, Гнедой, — Туржанский идет. Так изуродует, родная мать не узнает».

Туржанский смеется:

— Врешь ты, Кока! Никогда со мной такого случая не было.

— Клавочка, пейте чай. Я буду разливать.

И Таня уселась у самовара.

Наши дамы раскраснелись, глаза горят, и даже голос стал какой-то другой, бархатный, задушевный.

— Господа, вы посмотрите на наших дам, — говорит Кока Беловский, — посмотрите, какими красавицами они стали! Просто прелесть! Вот что значит окружение. В мужском обществе женщины расцветают, как розы в лучах солнца. Сидит дома бабенка — ничего-то в ней нет, а пояись тут гусар какой-нибудь или модный франт, и откуда только что берется, и не узнаешь ее. Большая сила — окружение. Да что там женщины... Мне мой приятель Сережка Тутумлин рассказывал, что у них в

эскадроне у князя Бебутова арабская кобылка была. Так она как жеребца увидит — и давай приплясывать. Хвост по ветру распустит, шейку согнет дугой и так и пляшет, так и пляшет, хоть картину пиши с нее. А когда полк идет на параде да духовой оркестр играет кавалерийский марш — все лошади в такт приплясывают.

Был в этом полку козел. Черный, на спине грива, ну суший черт. Он всегда на парадах и на учении между третьим и четвертым эскадроном шел. Заиграет музыка, зазвонят литавры, а козел и давай ногами выверты всякие выделять. Умора! Генерал князь Заблудовский уж на что свирепый был — так и тот, на козла глядя, улыбался. Вот что значит музыка и окружение.

— Врешь ты все, Кока! Где это видано, чтоб козлы под музыку выплясывали?

В коридоре часы пробили два раза.

— Однако время-то! Спатьеньки пора, деточки. Спасибо, Петенька, за горячие блинчики. Клавочка, дайте ручку поцеловать. До свидания! Стой, стой, Проша, ты мое пальто надел. Проводи, голубок, Танечку. Поцелуй меня, моя радость.

— «Прощайте, прощайте, пора нам уходить!..» — запел Вася из «Синей птицы».

— Проша, ты не обижай Танечку.

Комната постепенно пустела. Поп-расстрига взял свой громадный крест и, грозно шагая, пошел к выходу.

— Идем, поп, ко мне ночевать, — сказал Вася Гилберт, — тут недалеко.

На столе среди тарелок одиноко лежала копчушка, стояли недопитые стаканы чая, огрызки хлеба, окурки. Туманом висел табачный дым.

Самовар печально пропел прощальную песенку.

Вот и все.





ВАСЯ

Эту историю рассказал мне сам Вася. Он никогда не врет, да тут нет ничего такого, что не могло бы случиться. С Васей случаются всякие самые невероятные события не потому, что Вася какой-то феноменальный искатель приключений, а просто потому, что на Васю иногда находит вдохновение и он делает то, что другому и в голову не придет.

С Васей я тогда учился в Школе живописи, и мы были приятели. Началась эта история с того, что Вася в самом хорошем настроении шагал по Рождественскому бульвару, направляясь в школу. Мысленно он представлял себе натурщика Степана (он же сторож и истопник) и обдумывал, как бы лучше исправить ему ногу, чтобы она не казалась вывернутой.

Случайно взглянув направо, он увидел размалеванную яркими красками вывеску, на которой был изображен громадный удав, сжимавший в своих объятиях несчастную девушку и собирающийся ее проглотить. Вася остановился, задумчиво посмотрел на вывеску и подошел к двери, ведущей к этому страшному чудовищу. На Васю нашло вдохновение — он должен увидеть и обязательно потрогать своими руками этого удава. Он толкнул дверь и очутился в маленькой полутемной комнатке. Вася помнил, что раньше тут был писчебумажный

магазинчик, который, по-видимому, прогорел и закрылся. Комната была пуста, там стояло только несколько старых, потертых венских стульев да к стене была приколочена деревянная полка, а по ней бегала, стараясь прыгнуть на пол, большая белая крыса, с потолка на веревке свешивался железный обруч, к нему была прикреплена жердочка, а на ней сидел, нахохлившись, зеленый амазонский попугай.

Когда вошел Вася, попугай хрипло выкрикнул какую-то фразу на неведомом наречии и опять спрятал головку под перья. Около окна стояла большая клетка, а в ней на грязных капустных листьях сидел пушистый белый кролик. Он все время подергивал розовым носиком, жевал и жмурил глаза. На спине у кролика, зарывшись в его шерсть и плотно прижавшись к нему, сидела маленькая обезьянка. Обезьянка была не больше белки, вся серенькая, с длинным пушистым хвостом и белыми пучками волос на ушах. На Васю из кроличьей шерсти смотрело маленькое человеческое лицо с двумя большими темными глазами. В этих глазах была такая тоска, такое безутешное горе, что доброе сердце Васи содрогнулось от жалости к этой страдающей малютке. Обезьянка жалась к своему другу-кролику, ища тепла. «Тепла, тепла!» — молили ее грустные глаза. «Мне голодно, мне холодно!»

В это время занавеска в глубине комнаты распахнулась, и вошла молодая девушка в пестром халатике с половой щеткой в руках. Она очень удивилась, увидев в комнате Васю, и даже слегка вскрикнула. «Вы что здесь делаете?» — спросила она мягким грудным голосом. Вася так смутился ее появлением, что не мог сразу найти слов, а молча стоял, вытаращив глаза. Девушка улыбнулась и снова сказала: «Вы что здесь делаете? Наш салон еще закрыт. Вы приходит двенадцать часов». Она говорила грациозно, с сильным французским акцентом.

Вася в изумлении смотрел на девушку. Ее лицо было кофейного цвета. Черные пышные волосы рассыпались по плечам, большие глаза глядели испуганно и печально — совсем так же, как у маленькой обезьянки. Когда она улыбалась, ослепительно блестели ее зубы. Вася был поражен и очарован этой знойной африканской красотой, блещущей и вместе с тем печальной. Казалось, что эту девушку, как и маленькую обезьянку, вырвали из родной природы, из родных лесов, лишили горячего солнца, цветов, дивных плодов и заперли в этой убогой каморке, темной, холодной, в обществе крысы,



кролика и попугая. Попугай опять встрепенулся и, подражая голосу пьяного матроса, выкрикнул свою неизменную фразу — по-видимому, какое-то ругательство на незнакомом языке — это было все, чему он научился на корабле по пути из солнечной Бразилии.

Девушка махнула на него рукой и с досадой крикнула: «Финисе допк!» Вася наконец обрел дар речи и сказал: «Простите, дверь была не заперта, и я вошел. Я хочу посмотреть вашего удава... погладить его». — «Это нельзя, это не можно. Только я его брать на руки. Он очень сильный, очень опасный. Теперь он голодный. Он надевает новый кожа. Он очень злой».

Вася смотрел на девушку, и она казалась ему непонятным, чудесным видением. Она была совсем не похожа на тех простеньких девчонок, с которыми Вася был знаком до этого дня. Она была из сказочной страны, чуждой и заманчивой. Из страны, в которой летают райские птицы, по деревьям вьются лианы и громадные змеи свисают с узловатых ветвей, а на солнечных полянах пляшут черные стройные девушки с протетыми через нос костями.

Вася с удивлением смотрел на незнакомку, а в голове у него не переставая жужжала назойливая прихоть: я должен увидеть и погладить это чудовище. Он подошел к девушке и, взяв ее руку, настойчиво сказал: «Покажите мне вашего удава.

Я буду вам очень благодарен. Покажите! Я вас очень прошу. И дайте мне погладить его». Она удивленно посмотрела на Васю: «Пойдемте!» Она отворила дверь в маленькую комнатушку, слабо освещенную керосиновой лампочкой. В ней были навалены какие-то тюки, ящики, матрасы, подушки. Девушка взяла со стола лампу и подвела Васю к большому железному ящику, стоявшему на двух табуретках. Под ящиком между табуретками горела керосинка. Девушка поставила лампу на стул, отстегнула крючок и осторожно стала поднимать с железного ящика решетчатую крышку. В ящике Вася услышал легкий шорох. Под откинутой крышкой слегка шевелилось теплое шерстяное одеяло. Девушка нагнулась к одеялу и стала тихо напевать заунывную мелодию. Песня лилась, как ручеек, то ускоряясь, то замирая, постоянно повторяя одни и те же слова, одни и те же рулады. Одеяло перестало шевелиться. Вася с замирающим сердцем следил за девушкой. Она, не переставая напевать свою однообразную, дикую мелодию, осторожно приподняла одеяло, и Вася увидел могучие кольца и голову громадной змеи. Голова лежала на свернутых кольцах толщиной с бедро человека и смотрела на Васю немигающими глазами. Вася вспомнил, что когда-то в детстве он читал, будто удавы своим взглядом притягивают, как магнитом, обреченное животное и оно помимо своей воли, повинувшись колдовскому взгляду, тащится прямо в пасть чудовищу. Немигающий глаз удава смотрел на Васю, и что же? Вася поддался притягательной силе взгляда, шагнул к нему и быстро протянул руку, чтобы погладить его кожу. Кожа удава была великолепна. Как будто покрытая лаком, золотисто-коричневая, с темным узором и светлыми пятнами, она казалась чудесно вышитой тканью. На плоской голове от носа к затылку тянулись три темные полосы. Голова лежала неподвижно, и Васина дрожащая рука робко, еле-еле коснулась ее.

В следующее мгновение голова змеи с открытой пастью взметнулась вверх, а Вася сделал рекордный прыжок назад. Все это произошло так неожиданно и так стремительно, что девушка не успела отдернуть Васиной руку и теперь смотрела на него с укоризной и с жалостью.

Вася стоял бледный и с ужасом смотрел, как негритянка темно-кофейными руками гладила и успокаивала раздраженное чудовище. «Я же вам говорил, что удав очень голодный и очень злой и его нельзя трогать». Она закрыла змею одеялом и заперла крышку ящика. «Пойдемте!» Она отвела Васю в

первую комнату и усадила на стул. Вася понемногу оправился от испуга и, сидя рядом с диковинной девушкой, все больше и больше загорался желанием ближе познакомиться с ней и сделать ей что-нибудь приятное. Он смотрел в ее темные большие глаза, на ее кофейную кожу, и она все больше и больше нравилась Васе.

Вася не понял сразу, не оценил все обаяние ее экзотической прелести и теперь, сидя с ней рядом, понемногу, глядя на ее необычную красоту, начинал ценить и восхищаться ею. Неожиданно для себя самого он, повинаясь велению сердца, робко сказал: «Эльза, одевайтесь и идемте пить кофе».

Эльза вышла во вторую комнату и через несколько минут появилась нарядная, в большой красной шляпе и бронзовых туфельках.

Когда они вышли на улицу и, шествуя под ручку, направились на Тверскую, встречные прохожие удивленно оборачивались на них и долго смотрели им вслед. Вася замечал эти взгляды, немного смущался, но вместе с тем гордился своей спутницей. Он торжественно шагал, надвинув на лоб фетровую шляпу, и косился на большие серьги и красную громадную шляпу своей дамы.

Так они дошагали до булочной Филиппова и вошли в кафе. Здесь они, привлекая внимание публики, сели за столик. Рядом с ними компания студентов пила газированную воду, ела пирожки и шумно приветствовала прибывших.

Вася грозно посмотрел на студентов, но их молодые лица были так добродушны, так приветливы и веселы, что придраться было не к чему. Они подняли бокалы с газированной водой и кричали: «Да здравствует Африка! Да здравствуют черные красавицы!»

По этюднику, который поставил Вася у своего стула, студенты догадались, что Вася художник, и стали величать его «маэстро». «Маэстро, где вы поймали такую жар-птицу? — кричали они под веселый хохот всей компании. — Маэстро, берегитесь, как бы она не скушала вас с горчицей!»

Веселились не только студенты, половина кафе корчилась от хохота. Вася мрачно насупился и сидел как на иголках. Эльза улыбалась и с аппетитом ела пирожные. Когда наконец она кончила с пирожными, Вася поспешно увел ее из веселого кафе и проводил свою даму до двери в обиталище страшного змея.



С этюдником в руке Вася скорым шагом направился к Школе живописи. Промчавшись через пустую курилку, Вася вошел в натурный класс. В нем было жарко натоплено и царила мертвая тишина. Вася на цыпочках прокрался к своему мольберту и стал писать натурщика Степана, который стоял на возвышении посреди класса, голый, в римском шлеме на голове и с длинной палкой, долженствующей изображать копье.

Рядом с Васей стоял у своего мольберта Васин друг, Николаша Голов.

— Ты где это пропадаешь? — тихо спросил он.

— Потом расскажу, — прошептал Вася.

Вечером после занятий оба друга отправились в гости к удаву.

— Я тебя познакомлю с такой девушкой, какой ты сроду не видел. Другой такой в Москве не найдешь — это, брат, уникум, — говорил Вася, в восхищении размахивая руками. — Жаль только, что она плоховато говорит по-русски...

Когда они вошли в «салон», как называла Эльза эту каморку, они увидели при свете нескольких ламп сидящую на эстраде Эльзу и у нее на шее и на плечах пестрые кольца громадной змеи. У Васи холодок пробежал по спине и волосы зашевелились на голове. Страшное чудовище без труда, как кролика, могло задушить Эльзу, прелестную, обожаемую Эльзу. Она сидела на стуле, с трудом удерживая тяжелое тело удава. Она обвивала им свою шею и прикладывала его морду к своему лицу и, не переставая улыбаться, напевала все ту

же дикую мелодию, какую Вася слышал первый раз. Все стулья были заняты, и публика возгласами и словами выражала свои чувства. «Ну и страшилище! Глянь, глянь, как она жало-то из роту выпускает! Слава Богу, у нас такой пакости в лесу нет... Иди себе вольготно и, кроме ужика, ничего не увидишь. А говорят, они с крыльями бывают... Во, брат, смелая девка... Этакую чудовину на шею вешать!»

Эльза с трудом поднялась с удавом на шее и вышла с ним за занавеску. Публика стала расходиться.

Приятеля прошли за занавеску в другую комнату, и Вася познакомил своего друга с любимой девушкой. Вася с галантным видом преподнес ей коробку конфет. Они недолго посидели и ушли.

На другой день в натурном классе пустовал мольберт Васи. Васи не было и на утренних, и на вечерних занятиях. И день, и два, и три Вася не появлялся в школе. Товарищи стали беспокоиться. Что с ним? Уж не заболел ли?

Голов во время обеденного перерыва помчался на квартиру Васи. Там его не было. Он бросился на Рождественский бульвар под страшную вывеску с удавом и несчастной девушкой в его объятиях. Дверь оказалась незапертой, и Николаша беспрепятственно прошел в дальнюю комнату. Там перед ним предстала умилительная картина: за столом, покрытым грязной скатертью и уставленным тарелками и кастрюлями, сидел Вася рядом с Эльзой, а напротив с куском мяса на вилке сидела старуха негритянка, черная, как сажа, и толстая, как бочка. Рядом с ней приютился маленький горбатый человечек со сморщенным злым лицом.

Вася испуганно уставился на вошедшего Николашу и молчал с набитым ртом. На плече у него сидел попугай, а из-за пазухи поглядывала маленькая рожица обезьянки. Белая крыса бегала по столу между тарелками.

Николаша сделал общий поклон и пальцем поманил Васю. Они вышли в первую комнату. «Ты что тут делаешь? Коровин подходил к твоему мольберту, а тебя нет. Мы все думали, что ты заболел, в голову не приходило, что ты тут с удавами да с обезьянами нянчишься. Ты что, влюбился, что ли, в эту красотку?»

Вася мрачно молчал. «А хоть бы и так... — пробурчал наконец он. — Тебе какое дело?» — «Идем, Вася! На вечерние занятия вполне успеем. Идем!..»

Черная туча нависла над Васей. Темнокожая девушка не выходила из его головы. Ночью ему снился страшный удав, толстая, черная негритянка, Эльза, то смотрящая на него большими ласковыми глазами, то вдруг ставшая маленькой обезьянкой, и опять эта черная, толстая старуха и опять удав, сжимающий его своими страшными кольцами. Ни днем ни ночью Васе не было покоя. На уроке в школе он вместо натурщика Степана видел Эльзу и чуть было не написал Степану черные рассыпавшиеся по плечам кудри. Этюд не давался. Все мысли, все желания уносились туда, где была Эльза, обожаемая Эльза.

Несколько дней Вася заставлял себя ходить на уроки, работать и не думать о ней. Он даже перестал ходить по бульвару, чтобы не видеть этой вывески со страшным змеем, а шел в обход, переулками, хотя это было значительно дальше. Но все это не помогало — Эльза не выходила из головы.

Николашка всеми силами старался отвлечь друга и всячески занимал его. Воскресное утро они провели в Третьяковке, а вечером Николашка уговорил пойти в цирк.

Оба приятеля сидели в переднем ряду и, когда лошади скакали галопом, на них сыпались опилки. Хорошенькие наездницы посылали им воздушные поцелуи. Клоуны с размазанными лицами с шутками обращались к ним. Приятели по дороге в цирк купили на Цветном бульваре осенних цветов и теперь кидали их наездникам и акробаткам. Во всю арену стали ставить громадную круглую клетку. Бегом выносили составные части решеток, быстро их свинчивали, и под шутки клоунов клетка-арена была готова.

Грянул оркестр, и из глубины цирка на арену стали выходить мягкой кошачьей походкой гривастые львы, расписанные полосами тигры, пятнистые красавцы леопарды и, наконец, в окружении догов вышел высокий красивый мужчина, ведя за ошейник большого бурого медведя. Под шелканье шамбарьера и окрики дрессировщика звери прыгали в горящие обручи, катались на громадном шаре, возили коляску, в которой сидел царственный лев, стреляли из пистолета, ну, словом, проделывали все, что полагается проделывать благовоспитанным зверям. Дрессировщик ложился на зверей, клал свою голову в пасть льва, заставил мишку кататься на велосипеде. Под шумные аплодисменты публики зверей убрали с арены и стали разбирать клетку.

«Пойдем в конюшню?» — предложил Николашка, и друзья отправились в пахнущие конским навозом и хищными зверями коридоры. Лошади стояли на развязках мордой к публике, нервно перебирали ногами и старались губами ухватить кусочек сахара. Вася и Николашка, не жалея денег, угощали лошадей кусками хлеба и сахара, который продавали конюхи. Они гладили лошадей и вместе с публикой продвигались в глубь конюшен. Вдали стояли вагоны-клетки с хищными зверями. За ними серыми горами, слегка раскачиваясь, стояли слоны. По коридору иногда пробегали артистки в накинутых поверх трико теплых платках.

Вдруг Вася похолодел и уставился на большой железный ящик с решетчатой крышкой. Еще мгновение — и Вася увидел Эльзу. Она стояла совсем близко от него и, не замечая наших друзей, плотно прижималась к высокому статному дрессировщику, любовно, преданно, как собака, глядя ему в лицо.

Сердце Васи покатилося в пропасть. Он бросил злобный взгляд на дрессировщика и в душе пожелал ему быть растерзанным своими зверями. Стараясь пройти так, чтобы Эльза его не увидела, Вася подался влево, но в коридоре было тесно, и какой-то толстый господин в теплом пальто и в цилиндре нажал сзади на Васю, и он чуть не столкнулся с Эльзой и ее кавалером. Она радостно улыбнулась и подала Васе руку. Потом, обратясь к дрессировщику, стала по-французски что-то долго и горячо ему говорить. Тот, сурово посмотрев на наших друзей, промычал: «Бон суар» — и небрежно кивнул. О жизни и о семье Эльзы Вася ровно ничего не знал, и этот мужчина был для него загадкой. Кто он? Муж? Любовник? Или родственник? Все равно... Но ясно только то, что он для Эльзы близок, что сердце Эльзы уже занято и для Васи там не осталось теплого местечка.

Сердце Васи сжалось и заняло, и все стало мутно, серо, все потеряло интерес, потеряло краски, полиняло. Неожиданно Васю так толкнули, что он отлетел и ударился о стену. Мимо него помчались люди. Вся толпа понеслась к выходу из коридора. Все бежали с криками ужаса, сшибая друг друга, яростно толкая женщин, сшибали детей, женщины пронзительно визжали, дети ревели.

Толпа промчалась. Вася, стоя у стены, почти рядом с Эльзой, увидел ее глаза, с ужасом глядящие в глубь коридора. Посмотрев туда, он встретился взглядом с большим темно-гривым львом, медленно шагавшим к нему.

Лошади в стойлах стали биться, слоны громко затрубили. По опустевшему коридору лев, мягко ступая, подходил к Эльзе. Вася был в таком настроении, когда для него все было безразлично. Он сделал два шага навстречу льву и с размаха ударил его кулаком по морде. «Пошел на место! — неистово заревел Вася. — Пошел, мерзавец! Пошел!» Лев, не ожидавший такого приема, круто повернулся и побежал к своей клетке. Вася, не давая ему опомниться, бежал вслед за ним. Дверца в клетке была раскрыта. Лев присел, приготовясь к прыжку. Вася со всей силы поддал ему сапогом под зад, и лев мягко впрыгнул в свою клетку. Подбежавший дрессировщик захлопнул дверцу. Вася, еще раз погрозив кулаком льву, пошел искать своего друга Николашку. Дрессировщик подошел к Васе и горячо пожал ему руку.

ШЕДЕВР

Мы сидели за большим столом в круглой беседке и пили вечерний чай. Разговор зашел об искусстве.

Художник Дзюбаненко стал утверждать, что нельзя создать шедевра на сытый желудок и в трезвом виде и что все великие мастера чем-то опьянялись — или вином, или любовью, или музыкой — и только тогда творили.

— Не мели, Проша, — с усмешкой сказал Кока Черных, — с пьяных глаз ты такие намалюешь шедевры... И чего ты выдумал, что великие мастера творили только в нетрезвом виде? Художник никогда не может предугадать, что он делает — шедевр или неудачный опус. Художник творит искренно, честно, правдиво, он делает то, что знает, и часто ищет новый путь выражения своих мыслей, своей мечты. А в нетрезвом виде...

В это время над столом пролетел большой жук-усач. Он летел, распустив в стороны свои надкрылья и повиснув всем телом. Получалось впечатление, что летит он стоя. Жук сделал круг над столом и опустился, вернее, кувырнулся прямо перед Верочкой. С разлета он хлопнулся на стол, перевернулся на спину и весело замахал всеми шестью ножками, потом подогнул под спину свой длинный ус и встал. Оглядевшись, он направился к середине стола, где стояли рюмки и графин с вишневой наливкой. Смело шагая по клеенке, наш герой наткнулся на лужицу вина и не раздумывая принялся за нее.



Не отрываясь пил, пил, пил... пока не выпил всю лужицу. Мы с интересом смотрели на него. Ну и гусь! Всю лужицу выпил! Но ведь это вино, а не вода... интересно, как вино действует на насекомых?.. Жук стоял покачиваясь. Потом он сделал несколько шагов, споткнулся и клюнул носом. Вдруг неожиданно, подняв надкрылья, выпустил и расправил одно крыло и повалился на спину. Подняться со спины он уже не был в силах и долго лежал, чуть шевеля ножками.

— Прокопий Васильевич, помните, как после встречи Нового года вы лежали у нас в гостиной под елкой, вот совсем так, как этот жучок, и так же слабо шевелили ручками? Помните? Вам постелили там на ковре, и вы проспали до обеда.

— Вера Павловна, пошадите! Мне тошно вспомнить этот Новый год. Там я потерял вашу дружбу... и теперь вы презираете меня, и вы правы.

— Я не презираю вас, Прокопий Васильевич, мне было жалко вас и немного забавно. Вы под елкой воображали себя в лесу и заплетающимся языком бормотали: «Ничего, ничего... я не заблужусь. Я этот лес знаю. Ты что там прыгаешь?..» Вы кому-то грозили пальцем и оборвали все пряники и орехи, которые могли достать рукой.

— Вам смешно, Вера Павловна, а у меня кошки скребут печенку, и вот теперь все смотрят на эту пьяную скотину и

смеются, а мне не смешно, да, не смешно... ведь я тогда, под Новый год, был так похож на этого подлеца. Учужал запах вина, бросил все свои жучиные дела — и вот, пожалуйста, налился! И какой пример молодежи! Вот-вот, смотрите, совсем юная бабочка сидит на рюмке и пьет (вот что значит дурной пример). Это не доведет до добра. Склюет ее, в пьяном виде, первый встречный воробей.

— Да, много пьяниц гибнет, — сказал Кока Черный, — и замерзают, и тонут, и под машины попадают, и под елками (ты, Проша, меня извини) ночуют, и пряники воруют. Черт с ними, с пьяницами!.. Туда им и дорога, а вот трагедия, когда человек талантливый, скромный, непьющий, под влиянием друзей, под влиянием минуты выпивший неожиданно для самого себя, в винном тумане сам себя ограбил, сам себя лишил славы. Вот это ужасно! Мой друг Федя... Вы все помните, что он застрелился. И все думают, что это из-за той трагедии с картиной. Нет, это не так. Это была случайность. Да, правда, последние дни он ходил как в тумане — картина заслоняла перед ним действительность. Возможно, что этот туман и повлек к роковой случайности.

Мы все, его друзья, старались его развлечь и придумывали кто что мог. Вася Чашков повез его на охоту. Была весна, самая пора охоты с подсадной. Поехали по озеру на лодке. В знакомом месте пристали. Вася пошел развести костер, оставив друга заниматься подсадной уткой, и вот тут-то и произошла эта роковая случайность. Федор вышел на берег. Ружье осталось в лодке, и Федор потянул его к себе за стволы. Ружье было курковое. Курок зацепился за борт — и... весь заряд в грудь. Ну и настрадался Вася! Началось следствие. Их было только двое в лесу, и один из них убит. Тяжелая история, и Вася с трудом из нее выпутался.

Но я не рассказывал вам, как Федор сам затоптал свою славу. Вот ты, Проша, уверяешь, что все великие художники творили свои шедевры в пьяном виде, а вот я расскажу, как Федор погубил свой шедевр, погубил безвозвратно — тоже в пьяном виде.

Это было под Новый год. Мы собрались у него. Человек шесть. Все мы любили Федора и соскучились по нему. Он последние два месяца не выходил из мастерской и никого не пускал туда. Мы знали, что он пишет большую картину, но никто из нас не видел ее... Под Новый год мы собрались и, признаться, изрядно выпили. Федор, почти никогда не пью-



щий, тоже выпил и опьянел гораздо больше нас. Он повеселел, разошелся и разоткровенничался.

— Знаете ли вы, где я работал целыми днями? Не знаете? Вот то-то! Вам в голову не придет. Я целыми днями стоял перед клетками львов. Что, удивились? Да, стоял и рисовал. Сотни рисунков... Пока не изучил льва. Я даже во сне видел львов. Я весь пропах едким запахом лъвятника, но теперь знаю зверя и уверенно рисовал свою картину.

Мы были очень удивлены.

— Ты что же, стал анималистом?

Он загадочно посмотрел на нас.

— Пойдемте со мной.

Федор повел нас в мастерскую, включил дневной свет. Перед нами стояло большое полотно, завешенное холстом. Федор нетвердой походкой подошел к нему и сдернул холст. Картина открылась перед нами.

Первое, что поразило нас,— были глаза. Глаза пророка. Глаза, пронизывающие насквозь. Не знаю, каким чудом, каким фокусом удалось художнику зажечь в них огонь. Но они горели, горели грозным огнем, они приказывали, и нельзя было противиться их воле.

Пророк Даниил был только что спущен на толстой веревке в львиный ров. Голодные львы бросились к нему и остано-

вились... Горящий взор остановил их. С грозным рыком они отвернулись, не вынося взгляда.

Мы тоже остановились перед картиной и замерли. Эти глаза и лицо, лицо пророка, покоряли какими-то колдовскими чарами.

Голый, в одной набедренной повязке, с телом, изнуренным и закаленным, до черноты прожженным солнцем, пророк был грозен и могуч духом. На первом плане львы. Они отвертываются от взгляда пророка. Они теснятся, отступая. Их серо-желтые и черно-бурые гривы закрывают ноги пророка. Зверей много. Они и тут, спереди за рамой, и вдали, в глубине рва.

Мы стояли пораженные и молчали. Такого лица, таких глаз я не видел ни на одной картине. Гимн силе духа. Это был в полном смысле шедевр!

Но наше молчание Федор понял как нежелание высказать свое мнение. Ему показалось, что картина нам не понравилась. Он поднял холст и стал закрывать картину. Это ему не удалось.

— Идите в столовую, там еще есть вино... Я приду...

Мы вышли, а Федор остался. Вина мы больше не пили, сидели, курили, молчали, иногда кто-нибудь что-нибудь скажет.

— Здорово... Этот пророк мне будет сниться... И написано широко.

И опять молчание.

— Да... молодец Федор! Но что он там делает?

Я тихо подошел к двери мастерской и заглянул в неплотно закрытую дверь.

Федор, покачиваясь, стоял перед картиной и писал. Писал лицо пророка. У меня подкосились ноги, и я ухватился за дверь. Опомнившись, бросился к нему.

— Федя, что ты делаешь? Ты с ума сошел! Ты замазал его глаза! Ты погубил картину! Положи кисти... Ты пьян...

Федор отошел и лег на диван. Картина была погублена. Таких глаз, такого лица ему не удастся написать.

И действительно, ему не удалось. Как он ни бился вернуть эти глаза, это лицо, ничего не выходило. Картина пропала. И Федор загрустил. Стал мрачен, никуда не выходил. Он переписывал картину, счищал мастехином и снова писал. Он попробовал одеть своего пророка в хитон и опять счистил. Картина была окончательно испорчена. Живопись стала су-

хой, краски померкли. Пропал и прежний смысл картины — торжество воли человека над силой. Осталась библейская тема, и только.

Да, вот что может сделать пьяный человек.

Вера Павловна, посадите жука в вытрезвитель и внушите ему ну хотя бы то, что лежать под новогодней елкой и обрывать пряники... Впрочем, вы лучше меня знаете, что сказать.





НА ЭТЮДЫ

Было чудное осеннее утро. С ясного неба, улыбаясь, глядело солнце, и все кругом улыбалось извиняющейся улыбкой. Все эти березки, ели, осины, казалось, говорили: вы нас извините, но мы очень устали и хотим спать. Отвернитесь на минутку — мы сбросим свои платья и нырнем под белое пуховое одеяло.

А пока... а пока они сверкали золотом и пурпуром.

По дороге недалеко от Звенигорода, нагруженные мольбертами, зонтами и этюдниками, шли молодые художники. Их было трое. Один приземистый, черноватый, в ярко-зеленой фетровой шляпе и с пестрым бантом на шее. Он не поспевал за товарищами и бормотал какие-то ругательства по их адресу. Впереди шел легкой походкой человек с большим турецким носом и в каком-то невероятном пальто с сорока карманами. За ним шагал самый молодой из них — высокий, худой, с копной кудрявых волос, на которые была надвинута невзрачная шапка земли греческой.

Все трое молча шагали, приближаясь к Москве-реке. Засверкала река. По ее берегам красовались дачи в так называемом «русском» стиле: с петухами, с резными наличниками и с блестящими шарами на клумбах. Дачи стояли пустые.



Художники миновали дачи, и на берегу в золотом березовом лесочке они поставили мольберты, раскрыли зонты и с надеждой на удачу взялись за кисти. Ведь, кажется, так это просто — пиши, что видишь, и все. Возьми самое светлое место в этюде, потом самое темное и следи за гаммой, следи за легкими нюансами. Но вот тут-то и есть загвоздка. Березка-то — она растет... золотой наряд трепещет, по ее белому сверкающему стволу бегут тени. А это осеннее небо! Голубое... Что тут нужно? Кобальт или ультрамарин? А к горизонту оно зеленоватое... попробуй немного изумрудной зелени — грязь какая-то получается... Светлее, чище надо. Смотри, как пронизаны деревья холодной лазурью, как сини и легки тени, как пылает пурпуром трепещущая осинка, и все, все это живет, меняется, дышит теплом, светом, тенью.

Ох, тяжела ты, шляпа пейзажиста! На этом вот холсте, купленном в рассрочку у Надежина, и вот этими красками, и вот этими руками передать и трепет листьев, и сияние неба, и бегущие тени... Трудно, очень трудно! Проходит час, другой. Художники сидят, пишут. Иногда встают, отходят, смотрят и сбоку, и снизу, и сверху. Как будто получается что-то, а чего-то все-таки нет... Опять садятся, пишут. Счищают масляными и опять пишут.

Ярко-зеленая шляпа встает.

— Ребята, а я есть нестерпимо хочу!

— Ничего, сиди работай, не умрешь. Надо закончить этюды.

Шляпа, вздохнув, садится. В это время мимо них проходит дачник с ружьем за плечами и с охапкой газет под мышкой. Он вежливо приподнимает котелок и раскланивается с художниками. Обоюдные вежливые поклоны, после чего упитанная фигурка дачника удаляется в лес. Время идет, художники уже устали, пригляделись к этюдам и не видят их недостатков. Только силой воли заставляют себя работать. Волчий голод терзает их желудки. Со стороны, куда удалился вежливый дачник, раздаются выстрелы. В кого он там палит? Неужели это он в синичек или в дятлов?

— Вот жирная свинья! — говорит лохматый. — Вот дай такому идиоту ружье, он и палит во все живое! Не понимает, мерзавец, что губит красоту природы. С каким удовольствием я дал бы ему по уху. Ишь, опять палит! Вот стервец! Я, ребята, пойду резану ему разок в морду!

Художник с турецким носом посмотрел на лохматого и погрозил ему пальцем:

— Что ты! С ума сошел? Алеша, не глупи!

Алеша мрачно посмотрел в сторону, где раздавались выстрелы, но снова сел за мольберт. Зеленая шляпа стал укладывать краски, вытирать кисти. Он наконец принялся за свою гордость — новый, только что купленный этюдник. Этюдник по теории должен был легко собираться и раскладываться, но одна из ножек слегка помялась и не хотела входить в трубку. Зеленая шляпа хмуро возился с непокорной ножкой, товарищи уже давно сложили свои атрибуты и сидели, дожидаясь.

— Вася, ты попробуй ее немного погнуть. Да ты стукни ее камнем! Ох, и боюсь я этой мудрой техники, — сказал лохматый. — И на кой черт ты покупал эту штуку. Только лишние хлопоты с ней!

В это время к ним подошел вежливый дачник с ружьем, но уже без газет. Он опять галантно приподнял свой котелок и сказал:

— Господа, я вижу, вы складываете свои инструменты. Очень хорошо! Отлично! Вы, как говорится, потрудились на пользу отечества и теперь...



— А скажите, я вас спрашиваю, в кого вы там стреляли? — грозно спросил лохматый, становясь перед вежливым дачником.

Художник с турецким носом (его звали Анатолий) схватил лохматого Алешу выше локтя и крепко нажал.

— Алеша, успокойся, замолчи!

Вежливый дачник удивленно посмотрел на Алешу.

— В кого же мне, господа, стрелять? В газеты стреляю. Ружье пробую. Недавно купил в магазине Рогена. Четыреста двадцать отдал. Бельгийское. «Пирло и Фрезар». Стволы дамск, бой изумительный.

Все с уважением посмотрели на ружье.

Вежливый дачник снова приподнял котелок, приложил руку к сердцу и в избытке чувств промолвил:

— Господа! Осмелюсь пригласить вас к себе. После трудов праведных и закусить не грех.

При слове «закусить» в пустых желудках художников сильно засосало, и они алчно посмотрели на дачника. Выступил Анатолий:

— Мы очень благодарны вам за ваше любезное приглашение, но мы стесняемся доставить вам много хлопот.

— Господа, какие там хлопоты! Я сейчас живу один, все мои уехали в Москву, а я вот тут последние вещи отправляю в город. Идемте, господа, тут недалеко... Вы это музам там разным служите, а я больше утробе своей угождаю, да вот еще рыбку люблю ловить.

Компания художников, с надеждой на угождение утробе, отправилась вслед за дачником. Скоро дошли до большой богатой дачи. На застекленной террасе художники попросили у хозяина разрешения сложить этюдники, зонты, мольберты и посмотреть этюды. Этюды расставили у стены и стали придирчиво рассматривать и свои работы, и товарищей. Каждому казалось, что у других и свежей, и колорит-

ней, и смелей написано. Несколько раз переставляли этюды, и в конце концов всем стало ясно, что лучший этюд у Анатолия.

Вежливый хозяин смотрел и восхищался.

— Господа, это у вас прекрасные картинки. Продайте мне, господа.

Художники посмотрели друг на друга. У всех мелькнула мысль: подарить придется.

— Охотно исполним ваше желание,— сказал Анатолий,— но этюды надо еще немного подработать дома. Вы нам дадите свой адрес, и мы вам принесем.

Этюды убрали. Прямо с застекленной террасы художники попали в обширную столовую, отделанную дубом, с громадным столом посредине. Стулья с высокими спинками окружали стол.

— Феня! — закричал вошедший хозяин.— Феня! Собери-ка ты нам, что там осталось. Да не тут, а в моем кабинете. Господа, прошу вас в мой кабинет.

Художники прошли за ним и очутились в комнате, где все стены были увешаны коврами, а на них в бесчисленном количестве красовались удочки, сачки, подсачки, спиннинги, всевозможные поплавки, какие-то хитроумные приборы, сети, а в центре — блестящие остроги и в два, и в три, и в четыре зубца. Тут же расположились разборная надувная лодка, палатка со всеми удобствами, всех систем складные стульчики, зонты и шляпы и от солнца и от дождя.

Все это художники рассматривали довольно холодно, так как их мысли были погружены в мечты об ожидаемой закуске. Феня в белой наколке, нарядная и хорошенькая, накрывала стол.

— Вот, господа, мы с вами, поди, целый час разговоры разговаривали, а ни я вас, ни вы меня не знаем, как величать надо. Меня зовут, господа, Иван Поликарпович Брюжанов.

Художники представились, назвавшись просто по именам: Вася, Анатолий, Алеша.

— Ну что ж, господа, не будем терять золотое время!

Художники повернулись к столу и чуть не ахнули — стол был полон.

— Я сам-то не пью,— говорил Иван Поликарпович, усаживая гостей.— Ну а вы — люди молодые, вам можно по маленькой. А я вот декохт употребляю — печенка у меня не в норме. Доктора прописали.

— За здоровье хозяина! — возгласил Вася.

Выпили по маленькой за здоровье хозяина. Appetit разгорелся еще ярче, и с тарелок стали исчезать с молниеносной быстротой и жареная холодная индейка, и какая-то рыба, и какой-то соус, и опять жаркое, и грибочки, и огурчики. В промежутках выпивали по маленькой, и опять по маленькой, и опять...

Иван Поликарпович пил свой декохт, который он стал называть уже бальзамом, и становился все веселей и ласковей.

— Иван Поликарпович, ты меня извини, — говорил лохматый Алеша, — что я тебя хотел съездить по морде... Я ведь думал, что ты птичек стреляешь, извини, голубчик!

Вася встал, пошатываясь, подошел и снял со стены трезубец. На левое плечо накинул рыболовную сеть, на голову напялил подсачек для ловли сомов и сел на патентованный стульчик для пожилых рыбаков. Держа в правой руке трезубец, он сделал свирепую рожу и крикнул:

— Фенечка! Правда, я похож на морского бога Нептуна? А?

Тут патентованный стульчик хрустнул, и Вася твердо сел на пол. Феня захохотала и выбежала из комнаты.

Анатолий после долгих и бесплодных поисков в своих сорока карманах нашел наконец дудочку, свою любимую дудочку, купленную им когда-то в пивной, и заиграл русскую песню. Иван Поликарпович стал подтягивать. Вася расчувствовался, тоже стал подтягивать и, сидя рядом с Иваном Поликарповичем, обнял его и, целуя в щеку, чуть не плакал:

— Поликарп Иванович, друг, дай я тебя поцелую... Я, понимаешь, сирота. Один я, понимаешь, Ваня, один. Ваня, можно я на Фенечке женюсь? Можно?

— Вот что, мальчики, — сказал Анатолий, вставая, — хватит! Надо хозяину покой дать.

Иван Поликарпович сидел в кресле с блаженной улыбкой, но уже довольно плохо разбираясь в событиях.

Художники встали. Хмель уже немного выветрился, и они вежливо и сердечно поблагодарили хозяина и, надев на террасе свои доспехи, тронулись в путь.

С неба, окружив себя облачками, удивленно смотрела луна. Через дорогу перекинулись тени, и дачи, и деревья — все приняло новый, непохожий вид. Воздух, свежий, про-

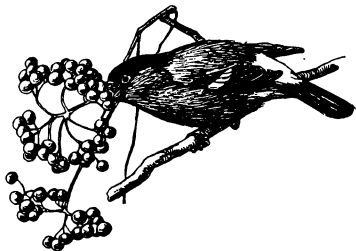
питанный запахом гниющей листвы и сырой земли, еще более отрезвил художников, и они весело зашагали по дороге.

— Бывают же такие удачи,— сказал Алеша.— Приди мы днем позже, и никакого Ивана Поликарповича мы бы уже не застали. Пожевали бы бутерброды с колбасой, тем дело бы и кончилось.

— Да...— промычал кто-то.

Набежал ветерок и замел следы художников.





КОТЛЕТЫ

Жив и я. Привет тебе, привет...

С. Есенин

Угол Сивцева Вражка. Нажимаю кнопку звонка у двери своего приятеля. На двери медная дощечка, а на ней четко вырезано: «Присяжный поверенный Авенир Николаевич Рак». Чернильным карандашом детской рукой приписано: «ДУ». Нажимаю кнопку еще раз. Быстрые шаги, и в двери сам Авенир Николаевич.

— Дорогуша, ты ко мне? А я должен сейчас бежать. Ты там устраивайся, как можешь. Я скоро приду. Нет, я больше так не могу... Или я, или она! Нам двоим тесно на этой планете! Я бегу! Прощай! — И он умчался.

Я закрыл дверь и остался в темной прихожей. Зная любовь Авенира Николаевича к пышным фразам, я не придавал значения его словам. Зажег свет и прошел в кухню. На столе увидел тарелку, а на ней четыре котлеты. Чудесно! Я был голоден как волк и здорово устал. Утром на последние пять копеек съел пирожок с мясом и потом целый день бегал по редакциям в тщетной надежде получить гонорар.

— Денег нет... Зайдите денечка через два... Зайдите через недельку...

Трудно начинающему художнику. Ой как трудно!

При виде котлет у меня потекли слюнки. Понюхал котлеты... Немного того... Ну да ладно. Вон на полке перец и горчица.

Обильно посыпаю их перцем и густо намазываю горчицей. Эге, да тут и французская булка, почти целая, и недопитая бутылка кахетинского. Прекрасно!

Все это было съедено и выпито с величайшим наслаждением.

В приемной я улегся на бархатном диване, покрылся ковровой скатертью, которую сдернул с круглого стола, и уже начал дремать, как вдруг раздались четыре нервных звонка и стук в дверь.

В одном белье, ощупью, добираюсь до входной двери. Открываю. Легкая фигурка скользнула ко мне. Две цепкие женские руки обхватили мою шею, и горячий, крепкий, сладкий, душистый поцелуй обжег мои губы.

Никогда в жизни, ни раньше, ни позже, я не получал такого поцелуя. У меня даже голова закружилась.

В следующее мгновение незнакомка резко оттолкнула меня — так, что я крепко ударился спиной о стену.

— Какой ужас! Я, кажется, ошиблась!

— Что вы, что вы... Нисколько... Даже напротив!

— Замолчите! Кто вы такой? Зачем вы здесь? Да зажгите же свет!

В темноте, наткаясь на кресла, я бросился натягивать брюки.

— Погодите со светом. Я не одет!

Едва успел впрыгнуть в брюки, как вспыхнула люстра. Передо мной стояла красивая брюнетка и сердито смотрела на меня.

— Да отвечайте же, кто вы такой? Где Авенир Николаевич? Слышите, отвечайте!

Путаясь, рассказал, кто я и как попал сюда. Когда же сказал, что Авенир Николаевич стремительно убежал с криком: «Или я, или она!» — брюнетка вскрикнула:

— Вы лжете — этого не могло быть! Он здесь, он ждет меня!

Быстрыми шагами она пошла к двери спальни. Распахнула дверь. Дикий крик:

— Аааа... Вот он! Он висит!

И стала падать. Я бросился к ней, споткнулся о ковер, и мы вместе рухнули на пол.



Падая, я крепко стукнулся головой о массивную ножку круглого стола. Кое-как доволок бесчувственную брюнетку до дивана. С большим трудом уложил ее, а как надо было помочь ей — не знал. В медицине я был очень слаб.

К счастью, вспомнил, что в «Горе от ума» Чацкий приводит в чувство Софью, махая над ней платочком. Да еще он велел Лизе: «Шнуровку отпусти вольней, виски ей уксусом потри, опрыскивай водой». Я старательно стал махать над ней платком, это не помогало, а расстегнуть платье не решился. Что делать? Тогда побежал в кухню и, набрав полный рот воды, окатил ее. Красавица не подавала признаков жизни. Нашел полотенце и стал обтирать ей лицо.

Хлопнула дверь, и в комнату вбежал Авенир Николаевич. В руках у него была большая проволочная крысоловка.

— Алеша! Ты жив? Какое счастье, какое счастье! Жив? Ты не съел?..

Тут он увидел лежащую красавицу. Крысоловка выпала из его рук.

— Что это? Зина? Что с ней? Алеша, она умерла? Она съела?..

— Нет-нет, жива и ничего не съела... Чего-то испугалась в той комнате. Вскрикнула: «Он там! Он висит!» — и упала в обморок. Помоги привести ее в чувство.

— Дорогуша, вот спирт, потри ей виски и дай понюхать. Мы махали над Зиной платком, терли виски, совали в нос пузырек со спиртом, расстегнули ворот у платья.

Зина очнулась. Глубоко вздохнула и открыла глаза. Минуту смотрела на нас отсутствующим взглядом, потом сознание вернулось к ней. Взглянула на Авенира Николаевича и тихо прошептала:

— Ты жив... жив... Как я испугалась! Но кто же все-таки там висит? Я же видела!..

— А, да я забыл совсем. Там висят с потолка мои старые брюки. В них я запихнул документы по делу купчихи Косоротовой. Это ужасно. Эта мерзкая крыса изгрызла три документа! Три документа из дела купчихи Косоротовой! Или я, или она!

Авенир Николаевич опять заметался по комнате.

— Как я бежал, как мчался! Эти проклятые котлеты... Я так боялся, что ты съешь их. Ведь в них я всыпал по крайней мере столовую ложку мышьяка.

Он замолк и удивленно уставился на меня.

— Алеша, что с тобой? На тебе лица нет!

Я без сил опустился на кресло.

— Авенир, я... их... съел.

Авенир Николаевич пошатнулся, схватился за голову и чуть было не сел на Зину.

— Какой ужас! Надо вызвать «скорую помощь»! Скорей, скорей звоните!

Вскочил и бросился к телефону.

— У, черт! Проклятая тварь перегрызла провод! Посмотрите, обгрызла и обглодала обмотку. Что делать? Надо молока. Алеша, пей молоко, пей.

Но где его взять? Сейчас ночь.

Авенир Николаевич бросился в кухню.

— Вот есть бутылка кефира. Пей скорее!

Я сидел ни живой ни мертвый. Мне уже казалось, что яд грызет внутренности, и я мысленно прощался с белым светом, а так было жаль покидать его.

— Дорогуша, пей кефир, пей!

Я встал и, шатаясь, поплелся в кухню. Вот она, эта тарелка, на которой лежали злосчастные котлеты... вот и перец, и горчица, стакан, из которого я допил хахетинское. А это что за коробочка?

— Авенир, что в этой коробочке?

Авенир Николаевич тупо уставился на нее и долго смотрел, не понимая. Потом с размаха хватил себя по лбу.

— Ах, я олух Царя Небесного! Да ведь это мышьяк! Я только хотел положить его в котлеты... Какая радость, Алеша, друг!

И он стал душить меня в своих объятиях.

Тихая радость широкой волной залила меня. Я жив! Я еще поживу на свете.





В ГОСТЯХ

Пригласил меня погостить мой новый приятель Александр Иванович Макаров. Как-то неожиданно он явился в мою мастерскую на Арбате, отрекомендовался, купил у меня картину «Травля волка», и с тех пор мы стали друзьями.

Он высокого роста, с открытым русским лицом. Усы с подусниками и все ухватки бывшего кавалериста. Только шпор не хватает.

Теперь мне надо ехать к нему в Курскую губернию. Вот я и стал собираться. Купил у разносчика беленькую деревянную шкатулочку, купил несколько листочков латуни, морилку и спиртового лака. Выдавил из латуни борзых собак, обил этой латуnią шкатулочку, заморил ее, наладил и понес в магазин Эйнем.

Подхожу к продавщице в кружевной наколке, хорошенькой и бойкой. Вежливо кланяюсь.

— Бон жур, мадемуазель! Простите, что я вас побеспокою, но у меня очень важный момент в жизни. Я еду в гости к прелестной даме и очень прошу вас набрать в эту шкатулочку самых лучших шоколадных конфет.

Продавщица улыбается и быстро, ловко укладывает мою шкатулочку кружевными бумажками, ловко щипчиками кладет конфеты, украшает ломтиками ананаса и бутылочками с

ромом, а сверху закрывает кружевной салфеточкой. Потом заворачивает в бумагу и перевязывает шелковой ленточкой с великолепным бантом. «Пожалуйста, мосье».

Эту коробочку я поднесу жене Александра Ивановича — Софье Петровне. Я с ней не знаком и не могу представить себе ее внешность.

Сборы кончены. В чемодан уложено кое-что из костюма, краски, карандаши, альбом и шкатулочка с великолепным бантом.

Еду на Курский вокзал, сажусь в вагон. Застучали колеса. Поскакал Конек-Горбунок. Вот и маленькая станция, на которой мне надо выходить. На платформе меня встречает бородатый кучер в красной шелковой рубаше, в черной плисовой безрукавке. На голове круглая шапочка с павлиньими перьями.

— Вы не к господину ли Макарову изволите ехать?

— К нему, — отвечаю.

Кучер хватает мой чемодан, портфель и ведет меня к коляске, запряженной тройкой рыжих красавцев. Тройку держат конюхи. Кучер садится на козлы, я в коляску, а мой чемоданчик кладут на тележку для багажа.

Кони мчатся по ровной дороге, черной, упругой, как резина. Вслед за коляской мчится мой чемоданчик на тележке. Закружились поля, необозримые распаханное поля. Над полями стаями низко летают черные блестящие грачи. Вот он, чернозем-то! Вот она, житница земли Русской. Глазом нехватишь, конем не обскачешь!

Мчится тройка. Трах, трах, трах — отбивают такт пристяжные, сверкают подковы, в такт пляшет шлейка на потном крупе. Плавнo покачивается коляска на мягких рессорах. Промелькнет деревушка — кирпичные домики, соломенные крыши.

Вот и усадьба. Подкатываем к дому. На крыльце уже стоит Александр Иванович. Обнимаемся, целуемся. Меня проводят в большую комнату со старинной мебелью красного дерева, с портретами предков на стенах. Садись и пиши интерьер в стиле Жуковского. В комнату вошла борзая собака. И собака, и мебель, и трюмо в стиле ампира — все было так красиво, так шло одно к другому, что я залюбовался и уже хотел наскоро зарисовать, да вспомнил, что я еще не представился хозяйке дома и не поднес ей свою шкатулочку.



Наскоро переодевшись, вхожу в гостиную. Там меня берет под руку Александр Иванович и подводит к двум дамам, сидящим у лампы с каким-то вязанием. Одна дама пожилая, полная, с багровым румянцем, едва помещается в кресле. Другая — стройная, молодая.

— Вот, Софи, позволь представить тебе моего друга, художника Алексея Никаноровича. Прошу любить и жаловать.

Толстуха слегка привстает, подает мне полную руку и просит садиться. Другую даму Александр Иванович называет сестренкой.

— Это моя сестренка Варенька — Варвара Ивановна Верейкина.

Целую дамам ручки и подношу толстухе свой подарок.

Дамы разворачивают бумагу и восхищаются моими собачками. Искося поглядываю на Вареньку. Дамочка — ой-ой-ой! С огоньком! Ее нельзя назвать красавицей, но мимо не прой-дешь. Лицо бледное, нервное. Ноздри трепещут, как у горячей лошади, рот большой, выразительный. Глаза серые, глубокие, с темными ресницами. На высокой шейке гордо сидит небольшая головка. К ней так идет и темно-красное платье, и черная кружевная накидка, и красные, как кровь, рубины в

ушах. Она изредка испытующе взглядывает на меня, как бы желая понять, стоит ли обращать внимание на этого московского гостя. Вот в какой черноземной глуши водятся такие удивительные жар-птички. Об такую и обжечься не грех!

Кое-как завязывается разговор.

— Я вам сейчас покажу свою работу. Хотите?

Варенька приносит фарфоровые чашки и тарелки, на которых она рисует цветы. Рисует плоховато, но смело и ярко.

Я хвалю, кое-что поправляю, кое-что дополняю. Мы близко сидим друг к другу. От нее пахнет дорогими духами, но только чуть-чуть, в меру. Разговариваем о том о сем. О Москве, о художниках, о театрах. Нашлись общие знакомые.

С Александром Ивановичем разговоры на собачьи темы: о волках, о зайцах. Он эту осень просидел дома с больной ногой. В июле его понесли лошади, он вылетел из экипажа и повредил ногу. Ежедневный массаж, какие-то втирания, и вот теперь он почти здоров, но верхом ездить еще опасается. А хочется, очень!

— Левка! — кричит он в дверь прихожей. — Левка!

Появляется румяный парень, круглолицый, в сером охотничьем чекмене.

— Приведи Зазнобку и Вихря!

Парень исчезает.

— Вот, батенька, поглядите на моих на злодеев. Не собаки, а птицы. И злобны — ужас... Их у меня князь Голицын запрашивает... да нет, врешь, их я ни за какие тысячи не отдам. Вот сейчас Левка приведет. Сами увидите.

Появляется Левка со сворой борзых. Кобель могучий, шипец с горбинкой, весь в завитках, и сука ладная. Немножко мелковата, но широкая и вся как стальная пружинка. Обе собаки муруго-пегие. Александр Иванович, видя, что собаки мне понравились, весь просиял.

— А! Что, хороши собачки-то? А как ловят! У нас, батенька, русаки не московские. Наш русак и резов, и умен. Он уши не развесит. Вот-вот сейчас его собака захватит, а он, как мячик, вверх подскочил. Собака под ним и пронеслась... Туда-сюда — нет русака, а он уж во все ноги в кусты мчится. Да, батенька, вот какие русаки бывают! Профессора! Неподалеку тут имение барона Корф. Так этот барон, батенька, от одного такого русака навзрыд плакал. Двух самых резвых собак у него этот русак погубил. Тут, батенька, волком взвоешь. Резвый был русак и великого ума заяц. У него такой фортель был. Скачет за ним



резвая собака, и он прямехонько на дерево или там на столб какой мчится. Собака в азарте только его и видит, а он, мерзавец, перед самым деревом в сторону и вильнет. Собака со всего маху об дерево. Двух собак таким манером загубил. А то вот был на моей земле заяц, так он от собак прямо в стадо катил. Промчится под коровами, а за ним собаки. Коровы замычат, на собак станут бросаться... того гляди, собак запорят, а его и след простыл. А вот еще...— Александр Иванович вошел во вкус, и теперь охотничьих рассказов на весь вечер хватит.

Погода стоит довольно теплая, хотя уже ноябрь. Я работаю усердно — рисую и собак, и лошадей, и пейзажи. Сделал портрет Александра Ивановича на лошади, несколько набросков с Левки и хотел уже попытаться нарисовать Вареньку, но не решился — очень уж трудное лицо у Вареньки. Надо бы в Москву ехать, да Александр Иванович не пускает.

— Погодите,— говорит,— скоро пороша будет. Успеете в Москву.

Не только Александр Иванович, что-то еще держит меня тут, какой-то магнит...

Надо работать, работать и работать. И я иду на скотный двор. Рисую громадного быка Мишку с кольцом в носу и цепью на рогах, рисую коров, блестящих черно-пегих красавиц.

В конюшне у меня приятель-козел. Я его угостил корочкой хлеба с солью, и он проникся ко мне нежностью. Стоит мне прийти в конюшню и сесть на свой стульчик, как он уж тут. Вид у него мистический: больше всего он похож на черта, как его изображают живописцы. Морда черная, с большой бородой и с рогами, закрученными в стороны, как у винторога. Сам он темно-серый, с черной гривой на спине, глаза светло-желтые, сатанинские. Подойдет ко мне и смотрит, как я рисую, а сам наводит листок из альбома вырвать и слопать. Конюхи потешаются, кормят его окурками с огнем, он и привык и к табаку, и к бумаге. В конюшне чувствует себя хозяином, бродит под животами у лошадей, и лошади его знают. И дворовой, по поверью, козла уважает и коням гривы не путает.

За ночь выпал снег. Все стало бело. Мелкий снежок летит и сейчас. Ко мне входит Александр Иванович в халате. Лицо веселое.

— Вот, батенька, и снежок, пороша. Можно и потравить на саночках! Верхом-то я еще опасаюсь, а на саночках можно. Ну как, поедем?

— Едем, Александр Иванович, едем!

— Левка! — кричит на весь дом Александр Иванович.— Скажи Степану, чтобы Сокола и Царька в охотничьи сани заложил. Стой, куда бежишь! Зазнобку и Вихря возьми на свору... Да погоди ты бежать-то. За кучера ты поедешь. Понял?

Наскоро пьем по чашке кофе — и скорее одеваться.

— Вот, батенька, наденьте этот полушубочек, а вот вам и валеночки. Они вам в пору будут.

У крыльца уже стоит парочка, запряженная в широкие розвальни, обитые лубком. С двух сторон на грядках прилажены скамеечки. Садимся. В середину сажаем собак. Они в восторге облизали нам лица, повизгивают от азарта и все стараются стать на дыбки, чтобы видеть подальше, пошире.

Лошади бегут ровной рысцой, без дороги, прямо по пашням. Кое-где полозья стучат по глыбам. Александр Иванович ругается:

— Вот, черти, как заборонили! Левка, держи вон к тому овражку, там прошлой осенью...

Неожиданно перед нами из бурьяна выскочил заяц и покати́л к овражку.

— Ату! — неистово завопил Александр Иванович.

Лошади подхватили. Собаки, как птицы, метнулись из саней. Огляделись секунду и, приметив русака, понеслись по белой скатерти поля.

Увидя собак, русак заложил уши и надал.

— Ату его! — вопит, захлебываясь, Александр Иванович. Он, кажется, готов был сам скакать за русаками. — Левка, гони, гони, болван, гони!

Лошади скачут во весь мах. Комья снега бьют нам в лица. Мы ничего не замечаем, мы видим только собак и зайца. Вот Зазнобка стала спеть к русаку. Ближе, ближе... Угонка!! Взметнулось облачко снега. Кубарем покати́лась Зазнобка. Ах, промахнулась! Заяц вильнул в сторону. Вихрь надал. Бросок! И с русаком в зубах на боку проехал по снегу.

Левка, на ходу выпрыгнув из саней, уже держит русака за задние ноги и, улыбаясь, кричит:

— С полем вас, Александр Иванович!

Собаки жадно хватают снег. С высунутых языков капает пена. Александр Иванович трясущимися руками отрезает у зайца переднюю лапку и дает собакам по косточке.

На лицах такая радость, что можно подумать — не заяц, а сама фортуна с рогом изобилия попала в зубы Вихря.

Отбегаю в сторону и издали смотрю на эту картину.

Снег, солнце, возбужденные люди, лошади, собаки. Все так красиво, все просится на картину. И я кричу:

— Bravo, Александр Иванович, с полем вас!

Прошло два или три дня. Снегу еще подвалило, и установился настоящий зимний путь.

— Покатаю-ка я вас на тройке, — говорит Александр Иванович, сидя в кресле у меня, — довольно вам все рисовать да рисовать, и отдохнуть надо. Варенька, хочешь покататься на

тройке? Вот я хочу художника поката́ть на своих зверях! — кричит он в дверь соседней комнаты. — Хочешь?

— Хочу.

— Левка, — гремит он, — скажи, чтобы мою тройку подали и ковровые сани и чтобы Федор ехал. Понял? Живо!

А ведь прекрасная идея — поката́ться на тройке, и с Варенькой.

Спешно одеваемся, торопимся. И вдруг у Александра Ивановича заныла нога. Он сморщил лицо от боли и стал растирать ногу.

— Вот какая неприятность, экая оказия. Это, верно, к перемене погоды, тепло будет, — бормочет Александр Иванович и конфузливо смотрит на нас. Мы, то есть Варенька и я, стоим одетые и смотрим в окно — когда подадут тройку.

— Голубчики мои, а ведь я не поеду с вами — нога что-то того... Поезжайте без меня.

Вот это удача! Это значит, что с Варенькой поеду один я. Это значит, что я буду сидеть с ней рядом, совсем близко, что я возьму ее руку и буду целовать, целовать, а может, и не только руку... Я взглянул на Вареньку. Она стояла рядом и смотрела в окно. В собольей шубке и шапочке, стройная, тоненькая фигурка. Вот он, этот магнит, что держит меня здесь, вот они, эти чары, что заколдовали меня, что манят меня и днем и ночью. Вот сейчас, через пять — десять минут я буду держать ее руку и буду тихо говорить ей...

К крыльцу подкатила тройка. Она сделала по широкому двору два круга, и только тогда удалось остановить горячих коней. Выходим с Варенькой на крыльцо, я беру ее под руку и помогаю сесть в сани. В груди у меня сердце прыгает от предчувствия того блаженства, которое ожидает меня на этих санях. Весь мир у меня начинает светлеть и перекрашиваться в ярко-розовый цвет. Какой прекрасный мир! Какие в нем все добрые, милые, красивые! Неправду говорят, что кучер Федор пьяница и в пьяном виде озорник. Смотрите, какое у него доброе, кроткое лицо! Садись, пиши с него Николая Угодника... А эти милые конюхи...

— Варюша, ты тепло ли одета? Я тебе плед принесла. Я, Варюша, хочу с вами поката́ться. Сани широкие, мы уместимся.

На крыльце стоит одетая в теплую шубу Софья Петровна. Горничная девушка Уляша со строгим лицом помогает Софье Петровне сойти с лестницы и подсаживает ее в сани.

Трах! С треском лопнули все мои мечты, завяли и поникли надежды. Куда делся розовый цвет? Весь мир потускнел, посерел, покрылся паутиной. Выступили наружу все его дефекты, все язвы, уродства, обманы. Кучер Федор уж не кажется Николаем Угодником — просто грубая тупая морда. А Варенька исчезла, испарилась.

В середину сиденья села Софья Петровна. Варенька села с ее правой стороны, а мне... мне пришлось сесть с левой, и Варенька была от меня далеко — за горами, за морями, за дремучими лесами... «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», вот тебе поцелуй Варенькиной ручки! Крах, полный крах! Гибель надежды!

Меня уже не радуют ни лихие кони, ни малиновый звон колокольчиков, ни мелькающие мимо снежные поля, освещенные последними лучами солнца.

Колокольчик заливается, гремят и жужжат бубенцы. Комья снега летят над нашими головами, лепят нам в лицо, в грудь. Варенька закрывается муфтой, смеется и лукаво из-под собольей шапочки поглядывает на меня из-за грузной фигуры Софьи Петровны.

Тройка мчится, мелькают мимо крестьянские домики, корявые придорожные ивы, верстовые столбы. С лаем бросаются на нас деревенские шавки и, побрехав немного, скоро отстают от бешено мчащейся тройки. Федор стоя правит. «Эх, соколики!» Коренник, орловский рысак, идет полным ходом, швыряя снег в передок саней. Пристяжки, изогнувшись кольцом, мчатся карьером.

Сажу по левую руку Софьи Петровны и грустно думаю: «Вот будь тут со мной рядом Варенька, я бы говорил ей тихо, в самое розовое ушко, ощущая на губах прикосновение ее кудрей: вы прекрасная царица, нет, вы Жар-птица, птица счастья, и я должен поймать вас и посадить в золотую клетку. Вы будете моя, моя! Я люблю вас...»

Сани нырнули в ухаб, накренились на левый бок, и Софья Петровна всем своим полновесным корпусом навалилась на меня. Со зла я подставил ей острый локоть.

Но вот я поймал ласковый взгляд Вареньки. Он долетел до меня из-за гор, морей и лесов, и я повеселел и покорился своей горькой участи. Ведь это никогда больше не повторится, никогда больше я не буду в зимний вечер мчаться на тройке в неведомую даль, никогда не будет сидеть со мной в санях такая милая, такая желанная... Смотри, смотри, и запомни,

и радуйся тому, что ты молод, что можешь любить, увлекаться, что твои кудри еще не покрыл иней старости, твое сердце еще не заковал мороз.

Тройка остановилась у крыльца. От потных, разгоряченных коней валит пар.

— Ты, Федор, хорошенько выводи лошадей. Пусть Петр с ними походит.

— Нешто мы не знаем, Софья Петровна. Не извольте беспокоиться, все в полном порядке будет.

Мы входим в сени, осыпанные снегом, пропахнувшие морозным воздухом, полные впечатлений этой дивной поездки.

В столовой уже накрыт стол. Варенька, разруганная морозным ветром, садится против меня и старается не смотреть в мою сторону. Александр Иванович, очень довольный и своей тройкой, и тем, что доставил нам большое удовольствие, с аппетитом ест холодную индейку и какой-то необыкновенный соус в замазанном тестом горшочке.

После ужина все собрались в гостиной. Александр Иванович, как всегда, раскладывает гранд-пасьянс, дамы что-то вяжут. Я сижу в уголке и рисую старинную фарфоровую лампу на столике с вычурными ножками.

Варенька быстро встала и из своей комнаты принесла инкрустированную шкатулочку.

— Хотите посмотреть камушки? Это все мне муж подарил, чтобы я его хоть чуточку любила. Ха-ха-ха! Правда, за это можно полюбить?

И она стала вынимать из ларчика жемчужные ожерелья, кулоны, браслеты, кольца.

— А вы знаете, что эти камушки имеют колдовские свойства? Мне бабушка говорила: «Никогда, Барба, не носи изумруда — это страшные камни: они приносят беду». Я ей не поверила и носила кулон с громадным изумрудом. Я тогда была совсем юной, и я любила, страстно любила, и что же, я потеряла, все потеряла... Вот камушек простой, дешевый, а самый счастливый. — И Варенька вынула кругленький камушек бирюзы. — У меня есть горничная Феня, я считаю ее самой счастливой девушкой на свете. Она всегда веселая, всегда смеется. Даже завидно! У нее на пальце колечко с бирюзой, и она уверена, что оно приносит счастье.

Правда, красивые камушки? Но больше всего я люблю эту жемчужину, мне ее подарила мама. Смотрите, она живая,

она как будто дышит. Видите, у нее сбоку дымное облачко, а с другой стороны она как будто освещена зарей. Я ее иногда купаю в теплой воде, говорят, что это ей нужно.

Я беру в руки кулон с лунным камнем, молочно-голубоватый, с виду холодный, ледяной, а внутри огонек горит. Дивный камень!

— Смотрите, Варвара Ивановна, этот камушек так похож на вас!

— Да? — И смотрит серьезно, пытливо. — А вы боитесь огня?

— Нет, огонь согревает. Без огня — лед, смерть! Я люблю огонь, люблю солнце, свет, жизнь. Я художник — я люблю жизнь!

У Вареньки чуть заметная улыбка. А глаза большие, строгие. Неожиданно Варенька встает.

— С огнем не надо шутить! Огня надо бояться! — тихо говорит она и уходит.

На другой день приехал муж Вареньки, а я уехал в Москву.





УКРОТИТЕЛЬ ЛИСТ

В те времена это еще был не зоопарк, а зоологический сад. Он еле-еле сводил концы с концами. Чтобы привлечь публику, придумывали всякие развлечения: эстраду, катанье на оленях, на собаках, концерты.

Однажды пригласили из Гамбурга от Гагенбека дрессировщика с группой зверей.

Рослый, здоровенный малый в венгерке, в высоких сапогах с тяжелым хлыстом в руке — Генрих Лист и с ним тринадцать крупных зверей. Белый медведь, два тигра, леопард, черная пантера, шесть львов и два громадных датских дога.

Стою у клетки с приезжими гостями и рисую голову льва. Прекрасный желтогривый лев мрачно смотрит на меня и, по-видимому, не замечает. Он смотрит куда-то вдаль, в пустыню, в заросли колючек, в заросли, которых он никогда не видал в жизни. Он родился и вырос в клетке. Он видел только кусочек парка и бесконечный поток зрителей. С утра и до вечера мелькали перед ним лица людей: молодые, старые, детские, женские — он не замечал их, он видел только служителя Ганса и своего мучителя — дрессировщика Генриха Листа. Он их боялся и ненавидел. Ганс длинным железным крацером чистил клетку и перегонял его в другую, когда нужно было мыть пол и стены. Лев огрызался на крацер, иногда

прижимал его лапой к полу. Ганс не боялся его рыка и ударял крацером по лапе. Ганс требовал повиновения, а лев был непокорный, свободолюбивый.

Я стоял и рисовал голову этого льва. Кто-то подошел сзади и стоял смотрел, как я рисую.

— Зер гут, зер гут! — пробасил голос.

Я оглянулся — это был Лист.

Он улыбнулся и опять сказал:

— Зер гут.

Мне понравилось лицо этого человека — мужественное, красивое лицо, энергичное и властное.

Недалеко от меня на площадке рабочие собирали громадную круглую клетку-арену, в ней этот мужественный человек будет работать с тринадцатью зверями, с тринадцатью грозными хищниками. Простите, я немного ошибся, не с тринадцатью, а с одиннадцатью. Две собаки — это не звери, а помощники. Это друзья и защитники.

— Зер гут, зер гут, — говорил он улыбаясь. — Ошень карашо! — И он дружески похлопал меня по плечу. — Ошень карашо! Дас ист Принц.

Я подписал под рисунком «Принц» по-русски и подписался. Потом вырвал из альбома страничку с головой льва и подал ее Листу.

— Битте, — сказал я по-немецки.

— Данке зер, данке зер, — радостно проговорил он, принимая мой подарок.

Так завязалось наше знакомство.

Я мог кое-как связать несколько фраз по-немецки, а он и того меньше по-русски, но это не мешало нам дружески разговаривать, сидя за кружкой пива.

Клетка-арена собрана. Идет первая репетиция. Звери сидят на своих местах, на красиво раскрашенных тумбах. В середине белый медведь и черная пантера, всех выше леопард, по краям доги. Мой приятель Генрих Лист обходит зверей, гладит, ласково треплет их гривы и дает им в рот по кусочку мяса. Тигры прижимают уши и показывают клыки, медведя и леопардов он не гладит и не трогает. Черная пантера шипит и показывает все зубы.

В руках у Листа хлысты: в правой — длинный шамбарьер, в левой — тяжелый, короткий. В клетку входит Ганс с обручами.



— Гоп! — В руке Листа обруч.— Фриц, гоп! — Лев прыгает в обруч.— Гоп, гоп, гоп!

Звери рычат, но исполняют приказания.

— Принц, гоп!

Щелкает шамбарьер, но лев грозно рычит и скалит клыки. Удар хлыста... Лев делает прыжок, но не в обруч, а на человека. В клетку мгновенно вскакивает Ганс с крацером. Принц получает тяжелые удары, а два дога уже свирепо вцепились ему в ляжки. С левой руки Листа течет кровь, правой он хватается крацер и нещадно колотит им льва.

Желтогривый красавец прижался к решетке, рычит, скалит зубы, отмахивается лапой.

Так трагично кончилась первая репетиция. Желтогривого Принца отослали обратно в Гамбург — он уже не годен для дрессировки, а Лист ходит с левой рукой на перевязи.

И опять мы сидим в ресторане зоосада и пьем пиво. Перед нами большая площадь, а там, на берегу пруда, рядом с эстрадой для оркестра огромная клетка-арена, и к ней примыкают клетки-вагоны со зверями. Мы сидим и дружески разговариваем.

— Герр Комарофф,— говорит Лист.

Впрочем, я не буду передавать, как говорил Лист и как я разговаривал с ним,— это не поддается никакому описанию. Тут в разговор вступали не только слова, тут участвовали и

звериный рык, и позы, и руки, и карандашные рисунки. Я расскажу вам только смысл нашей беседы.

— Герр Комарофф,— сказал Лист.— Хотите вы пойти к моим маленьким кошечкам? Со мной, конечно... Бояться не надо. Зверь вас должен бояться, а не вы зверя! У вас должно быть львиное сердце, «леве херц». Лев только слона боится и меня. Да. О, я! — смеется Лист.

— А вы боитесь только своей жены, гер Лист?

— О да, я очень боюсь своей жены, и потому я не женился.

Он берет меня под руку, и мы направляемся к круглой клетке. Ганс уже впустил туда зверей и посадил их на тумбы. Ганс так же смело входит к зверям, как и Лист. Он небольшого роста, плотный, с вечной сигарой во рту.

Звери сидят в полном порядке и смотрят на нас, входящих в клетку. Откровенно говоря, душа моя была в пятках, но я делал вид, что мне это дело привычное и для меня совершенно все равно, что львы, что домашние кошки.

Лист подводит меня к серьезному льву с косматой бурой гривой, треплет его по морде и дает кусочек мяса.

— Это не злой, пихт безе. Погладьте его,— говорит он мне.

Я сделал вид, что не расслышал, и подальше попятился от косматого чудовища.

Так, тихим шагом мы обошли всех сидящих зверей. Лист не советовал трогать тигров, черную пантеру и медведя. Надо сказать, что я и сам не стремился гладить их. Дал бы Бог унести ноги из этой компании.

К чести их, надо сказать, что они во все время нашего визита вели себя крайне сдержанно, не рыкали и клыков не показывали. Спасибо им за это.

Когда я вышел из клетки, у меня немного закружилась голова, и я слегка ослабел.

Это, конечно, от дыма сигары Ганса... ни от чего другого.





НА ТЕТЕРЕВИНОМ ТОКУ

Марьина пустошь — это был мой хуторок, затерянный в глуши бескрайних лесов. До ближнего села версты четыре, до ближайшего города, Троице-Сергиевой лавры, верст пятнадцать — семнадцать. Точно никто не знает, да и дорога такая, что приходится объезжать то непролазную грязь, то разрушенный мост, то разлившуюся вешнюю воду. Место глухое, но зато какая тишина, какие лесные концерты по весенним вечерам.

Выйдешь на крыльцо и слушаешь. Вот высоко на старой ели, на самой вершине, сидит певчий дрозд и громко, звучно повторяет: «Василий, Василий, чай пить, чай пить, выпью, выпью». Где-то далеко трещит козодой, дятел нашел звонкий сучок и отрывисто барабанит. Надо подождать немного, и над самым крыльцом протянет вальдшнеп.

Не торопитесь, не уходите, стойте и слушайте. Неслышным полетом пролетела сова. «Ху-ху, ху-ху...» — глухо, как в пустую бутылку, закричала она. Ей откликнулась другая... А вот забормотал косач. Где он? Рядом или далеко? Никак не поймешь. Не один косач — их уже много, и гул их бормотания наполняет весь воздух.

Над домом с резким цыканием пронеслись два вальдшнепа, гоняясь друг за другом. Совсем стемнело. Дрозд замол-

чал, замолчал и дятел, замолчали косачи. Только совы перекликаются да в ближайшем болотце воркуют лягушки.

Наступает ночная тишина. Пахнет сырой землей, клейкими почками. Сгущается сумрак, и кажется, кто-то тебя обнимает, темный, густой, влажный и такой родной, такой близкий.

Особенно ярко это чувствуешь, когда после долгого пребывания в городе вернешься сюда, в тишину леса, в объятия родной природы.

Будильник трещит над ухом назойливо, требовательно. Хватаю его и сую под подушку, трещит и там, настойчиво трещит. Надо вставать. Спать хочется ужасно. Натягиваю холодные, мокрые сапоги. Василий Алексеевич уже оделся, торопит меня.

Выходим на двор. Темно и холодно. Под ногами хрустят стеклянные крышечки над пустыми лужами и со звоном разлетаются ледяные иголки. За спиной у меня рюкзак с чучелами и валенками. Скорей, скорей, пока еще темно и косачи не вылетели на ток.

Бежим по лесу, натыкаясь на сучья, спотыкаясь о пеньки, о валежины. Рядом в кустах громко и красиво запела лесная завирушка. Заблел лесной барашек — бекас.

Скорей, скорей! Бежим что есть мочи. Вот наконец и Коняйково поле. Стараемся как можно тише, как можно незаметнее пройти к своим шалахам. Крадемся осторожно. Лес стоит, не шелохнется, все птицы молчат. Вдруг громкое: «Чу-у, фы-ы». Мы замираем.

— Да это Карпушка чуфыкает,— шепчет Василий Алексеевич.

Делаем несколько шагов, и совсем рядом — фрррррр! Чуть не из-под ног взлетел тетерев. «Экая досада, спугнули токовика, теперь не скоро соберутся косачи», — грустно думаю я.

Гляжу, недалеко от моего шалаша, под елкой, новый шалаш стоит. Это, конечно, дядя Карп в нем сидит. В стороне что-то чернеет. Навожу бинокль. Да это валенок лежит. Ну и хитер дядя Карп! Это он вместо чучела валенок положил!

Поспешно забираемся в свои шалаши. Я снимаю холодные, мокрые сапоги и с удовольствием надеваю валенки. Слушаю. Все тихо. Тетерева, конечно, тут где-то, близко, но молчат и на ток еще не вылетают. Василий Алексеевич разок чуфыкнул. Еще разок. Молчат. И вдруг неожиданно, зашумев крыльями, подлетел черныш. Сделав в воздухе поворот, опустился на землю. Быстро побежал, подпрыгнул, громко чу-

фыкнул и, раздувшись, нагнув голову, азартно забормotal. Он то медленно поворачивается, блестя белым подхвостьем, то вдруг подпрыгнет, и громкое «Чуу-фы» хватает за сердце охотника.

Это токовик, личность неприкосновенная. Смотрю на него и не могу насмотреться. В бинокль мне ясно видна вся его фигурка, черное блестящее оперение и круто закрученные в кольца перья хвоста. Мне даже видна его выщипанная в боях бородка, его большие, надутые, алые брови. Иногда он замолкает, поднимает голову и слушает, иногда подпрыгнет, хлопает крыльями и громко чуфыкнет.

Небо над березовой рощей становится все светлее и светлее. Край небольшого облачка загорелся розовым светом, потом зарумянилось другое облачко. Теперь уже можно было разглядеть черные фигурки тетеревов. Их на поляне было не один и не два. Они кружатся, нагнув головы, и бормочут, азартно бормочут, и их песня вливается в говор весенних ручьев, в пение жаворонка, в трубные звуки летящих журавлей. Природа справляет большой праздник. Праздник победы света над тьмой. Праздник весны. Праздник жизни, праздник любви.

Перед моим шалашом опустился черныш и злобно бросился на чучело. Он ударил его лапами, повалил и стал бить ногами и клювом. Сижую гляжу и так увлекся этим зрелищем, что совсем позабыл о ружье.

На мой шалаш села курочка, нагнула головку и стала внимательно смотреть на меня. Сижую не дышу. Ни малейшего движения. Но я не удержался, моргнул, и курочка сразу поняла, что это не старый пень, а злейший враг, человек. Она, громко квохнув, взлетела. Все косачи сразу замолкли и насторожились.

Прошло две-три минуты напряженного молчания. Но жизнь не ждет, время летит, и нельзя терять ни одной минуты. Тетерева опять забормotalи и закружились в любовном экстазе.

Совсем рассвело, и все стало хорошо видно. Брызнул луч солнца, и черные красавцы заблестели синим и фиолетовым отливом, заалели красными бровями. Белые подхвостья стали розовыми. Декорация изменилась. Все стало ярким, блестящим. Исчезла таинственность, исчезла лесная сказка.

Кончается праздник любви. Пустеет арена турнирных боев. Усталые рыцари удаляются до следующего утра.



От долгого сидения в одной позе затекли ноги, а пошевелиться, вытянуть ногу боюсь — зашумишь. Мне видно, как к валенку дяди Карпа подлетел тетерев и бросился на него. Выстрел. Ну вот и дядя Карп не пустой вернется. Он, конечно, сегодня же побежит со своей добычей на базар, и в его кармане зазвенят монетки.

Солнышко поднялось уже высоко. Из села Хомякова слышался колокольный звон. На току остались два-три черныша, но скоро и они улетели.

С трудом расправляю ноги и вылезаю из шалаша. До свидания, дорогие красавицы. Спасибо за чудное зрелище.





ДРУЖБА

Лес, лес... Куда ни посмотри, все лес и лес. Вырубки, овраги да дремучие чащи, а вот большая поляна, и на поляне — домик. Тишина и безлюдье. Перелетит через поляну тетерев, забарабанит на березе дятел, и опять тишина.

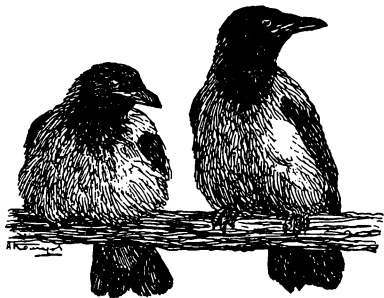
В домике живу я и старуха стряпуха. Еще живут в домике попочка и морская свинка. У попочки большая клетка, круглая, где у него вода и семечки. На стене висит пейзаж в широкой деревянной раме. Эту раму попочка старательно грызет.

В клетку попочка заходит редко, только когда ему захочется пить или есть, а на раму он залетает с утра и начинает ее грызть. Сверху рамы он выгрыз глубокую выемку и уже почти добрался до картины. Теперь, позвольте, я вас познакомлю с попочкой. Попочка ростом с дрозда, с длинным узким хвостом, весь ярко-зеленый, с красным клювом и нежно-розовым ожерельем вокруг шейки. Ожерелье это окаймлено бархатно-черной полоской. Попочка очень деятельный, энергичный, он все время чем-нибудь занят, то он грызет раму, то летает кругом под потолком, то старается разломать свою клетку, но клетка вся металлическая, и разломать ее ему не удастся.

По всему дому бегает морская свинка. Она старается держаться ближе к стенкам и обегает комнаты кругом по плинтусу. Иногда она выходит на середину пола и греется в лучах солнца. Свинку зовут Чу-Чу. У нее веселый, добродушный характер, она часто взвизгивает и подпрыгивает или подкидывает задом — все это от избытка веселья, от избытка счастья.

Попочка уже давно наблюдает за Чу-Чу, привык считать ее своим другом, своим единственным товарищем в жизни. А что, если познакомиться ближе? По всему видно, что Чу-Чу не опасный зверь — она грызет сухарики, морковку, яблоки... «Все это и я тоже люблю», — думает попочка, и он наконец решился и слетел на пол... Смело подошел к Чу-Чу — она замерла, смотрела удивленно на него своими черными бусинками. Попочка галантно поклонился несколько раз, подошел совсем вплотную. Своим красным клювом он почесал у нее за ушком и тихонько, ласково что-то прошептал на своем языке. Свинка, конечно, ничего из его приветствия не поняла, но поняла ласку и тепло дружбы. Она слегка подпрыгнула, весело взвизгнула. Дружба была заключена. Свинка повела своего друга вдоль стены в другую комнату, потом в кухню, под печку. В кухне под печкой было очень интересно: тут можно было погрызть засохшие веточки веника, тут валялись куски моркови, свеклы, насорено было сеном, на полу был песок и куски глины. Погуляв недолго под печкой, друзья отправились в кругосветное путешествие. Они обошли все комнаты, погрелись в солнечных лучах, погрызли вкусное яблоко, попочка почесал опять за ушком у Чу-Чу, и опять они пошли гулять и очутились в кухне под печкой. Это было любимое место Чу-Чу. Меня друзья не боялись и свободно разгуливали под ногами, а я сидел за столом у окна и рисовал пером для детского журнала.

Я рисовал иллюстрации к сказкам, и вокруг меня была сказка. За окном пробуждалась природа. Крыши сараев были как бахромой обвешаны сосульками, весеннее солнышко радостно играло во всех лужах, синицы пели веселые весенние песенки. Дивная сказка! Седая старуха зима превратилась в юную прекрасную красавицу весну. Дни бегут. Все теплей, все солнечней погода. По двору струятся ручейки, и на пригорках зеленеет трава.



Я выставил двойные рамы, и старуха стряпуха, распахнув окна, протирает и моет стекла. Попочка и Чу-Чу, радуясь теплу, гуляют по полу в лучах весеннего солнышка. Из распахнутых окон льется теплый душистый воздух. Пахнет клейкими листочками берез, сырой землей, прошлогодними прелыми листьями.

Попочка вдруг поднялся с пола, мелькнул в окне и растаял в лучах весеннего солнца. Чу-Чу удивленно смотрела своими бусинами и ничего не могла понять — ее милого друга, зеленого попочки, нет... А попочка перелетел полянку и с вершины березы резким криком оповестил весь лес о своем счастье, о своей свободе. Такого крика наш лес никогда не слышал. Две сойки, весело гонявшиеся друг за дружкой, сразу замерли и стали удивленно смотреть в ту сторону. Старая ворона, сидевшая на вершине елки, тотчас же полетела на крик и, увидав попочку, бросилась на него. Зеленой стрелкой сверкнул он в воздухе и исчез в глубине леса.

В домике поднялась суматоха. Старуха охала и ахала и уверяла, что окно она открыла только на минутку и понять не может, как это он успел вылететь. Я посадил в клетку

попочки осиротевшую Чу-Чу и поставил клетку на круглый стол в садике. Чу-Чу удивленно смотрела на широкий простор, на лес, на летящих в синеве грачей и жевала морковку.

Попочка исчез. Прошло два-три дня, прошла неделя, и вот на клетке появился попочка. Откуда он прилетел? Где он был? Чем он питался? Попочка был такой же бодрый, такой же блестящий, словно отлитый из зеленой бронзы. Он резким криком приветствовал Чу-Чу и стал спускаться по прутьям клетки к открытой дверке. Неужели он войдет в клетку? Я смотрел из окна и боялся пошевелиться. Сердце билось... Я смотрел на попочку и старался взглядом заставить его войти в клетку. Вот он уже сел на дверку. Вот он уже наполовину перегнулся в клетку. Еще одно маленькое движение, и он в... Ну же! Ну же! Пойми, дурачок, что в лесу тебя ждут всякие беды. В лесу бродят кошки, хорьки, горностаи. В лесу сойки, совы и страшный ястреб. В лесу нет семечек подсолнушка, нет канареечного семени, конопля, нет вкусных печений, сладких яблок. Смотри! В клетке стоит блюдечко со всякими сладостями. Скорей спрыгивай в клетку, почешись за ушком у твоей ненаглядной подружки и кушай, наслаждайся!

Попочка сидит на пороге дверцы. Я приготовил длинный прут, чтобы им запереть дверку, когда попочка сойдет в клетку. Запереть прямо из окна, чтобы не спугивать его. Попочка все сидит на пороге. Не решается подойти ни к свинке, ни к блюдечку...

Спрыгнул на стол, пробежал несколько шажков и взлетел. Сделал большой круг над поляной и исчез в лесу... Улетел! Но у меня уже есть надежда. Попочка жив, попочка здоров, попочка чем-то питается... Если он прилетел, то и еще прилетит. Подождем! Он боится войти в клетку, значит, надо попробовать поймать его сеткой. Я устроил хитрую ловушку из двух дуг, затянутых нитяной сетью. Устроил для Чу-Чу открытый загончик, наложил на приманку всяких вкусных вещей и стал ожидать прилета попочки. Но проходили дни за днями, прошел месяц май, прошел июнь, июль, а попочки все нет. Чу-Чу, конечно, уже забыла своего зеленого друга и в теплые солнечные дни бегала по своему загончику и ела свежую зеленую травку. Попочка пропал, он, конечно, погиб.

Наступил сентябрь. Лес оделся в свой прощальный наряд. Дождь, холод, и вдруг неожиданно появился попочка. Он

сидел на маленькой елочке и громко кричал. Погода в этот день была теплая, солнечная, и я спешно вынес Чу-Чу в ее загончик и поставил рядом попochкину клетку со всякими приманками и сетчатую ловушку. Увидав Чу-Чу, попochка слетел с елки на клетку и стал спускаться по прутьям клетки в загончик. Я притаился в окне и держу в руке веревку от ловушки. Чу-Чу увидела попochку и как будто узнала его. Она подпрыгнула и сделала несколько шагов по направлению клетки... И тут случилась ужасная беда.

Большая серая птица метнулась над Чу-Чу и умчалась низко над землей, мелькая между деревьями. Чу-Чу в загончике не стало. Исчез и попochка. Исчез навсегда.





УЖИ

Из Крыма я привез в Марьину пустошь двух леопардовых ужей. Один был сероватый, а другой прямо великолепный. Он был разрисован ярко-коричневыми пятнами, окруженными темным контуром. В Крыму, в Форосе, я демонстрировал их, надевал себе на шею вместо галстука, прятал в карман, клал за пазуху. Ужи были совсем ручные. В Марьиной пустоши я хотел устроить им виварий, а пока посадил в стеклянную банку и завязал марлей. Утром их в банке не оказалось, не оказалось и во всем доме. Ужи куда-то удрали.

Прошла зима. Суровая зима. Я был уверен, что мои ужи замерзли, погибли.

Представьте мое удивление, когда в конце марта на полу, в солнечном луче, оба мои ужа лежали, свернувшись колечком, и грелись. Я спешно сделал виварий и посадил туда моих крымских приятелей. В мае я вынес их в сад, и там они нашли какую-то щелочку в виварии и вторично удрали. Больше я их не видел.

БУРЯ. 1903 ГОД

На востоке показалась грозная туча. Вот подымается все выше, выше, и цвет у нее какой-то странный — желто-бурый. Никогда такой тучи я не видывал.

Недалеко от дома паслись лошади. Смотрю, скачут лошади домой, а вон и коровы и овцы — все бегут домой. В испуге бегут. Надвигается туча — все потемнело, замерло, ни ветерка, ни звука. И вдруг рванул ветер, нагнулись березы, полетели сорванные листья, полетели сломанные ветки. Затрещала осина и повалилась поперек двора. Хлынул ливень. Буквально как из ведра. Сквозь переплеты окон, по печной трубе, в каждую щелку лилась вода. По двору текла река на четверть глубиной. Стояла на дворе пустая бочка — налилась до краев водой. Вся скотина, куры, гуси попрятались в сарай, под навесы. Быстро налетела туча — быстро пронеслась. Засияло солнце. Запели птицы. Мы пошли смотреть овраг. Ревет овраг, как бурная река. Ветки, сучья плывут по оврагу, даже сухие деревья плывут. Никогда в жизни я не видел такого ливня и такой бури.

В Москве эта буря вывернула из корней всю Аненгофскую рощу. Некоторые сосны были вихрем выкручены из коры, и кора, как пустые трубы, осталась на корнях. Посносило много крыш. С рельсов сбрасывала под откос вагоны. Одну крышу с домика вместе с люлькой, в которой спал ребенок, буря отнесла за несколько километров. Много бед натворила буря в Москве. У меня в Марьине она сломала только одну осину.

ЛЕСНИК

Есть люди, которые боятся тишины. Им тишина кажется мертвой. Гробовая тишина! Абсолютная тишина может быть только или высоко в горах, или в море. Тишина — это отдых, она рождает мысли, она рисует картины.

Сижу в лесу и слушаю. Чуть пискнет мышка, зашуршат сухие листья, синичка где-то зазвенела, далеко далеко стучит дятел. Но все эти звуки не нарушают тишину. Ко мне подбежала Найда, черная, в подпалах гончая лесника Ветрова. Она ласково посмотрела на меня и улеглась у моих ног.

Из леса, шуриша опавшими листьями, вышел лесник Василий Алексеевич. На ходу он немного косолапил, но попробовал бы кто потягаться с ним в ходьбе! За плечами у него висело ружье, в руках он держал круг, отрезанный от пня. За поясом была засунута одноручная пила. Поздоровались.

— Вы что это круг таскаете? Или опять дерево уволокли? Василий Алексеевич сел рядом со мной на землю.



— Это все Степан Лехтеев орудует. И какой хитрый, вершинку в землю воткнул, как будто молодая елочка растет. Того, дуралей, понять не может, что меня такими штуками не обманешь. Что же я, вершинку от молодой елочки не отличу? Да я за версту ее опознаю! И все щепки убрал, в землю зарыл и сучки далеко унес, в овраге спрятал. Ну, да все равно — вяпался. От меня, брат, трудно укрыться.

— И что вы с ним сделаете?

— Оштрафую и дерево отниму.

— А надо ли это делать? Мужик-то он бедный, многосемейный. Я бы на вашем месте сделал вид, что ничего не заметил...

— Нельзя, Алексей Никанорович, спусти одному — все из леса поволокут. Весь лес растащат. А как я хозяину буду в глаза смотреть? Я, как собака, караулить должен. Меня за это кормят-поят.

ГРИБНОЙ ЦАРЬ

На лесной полянке на бугорке сидели двое: один — молодой, худощавый, с едва пробивающимися усиками и кудрявой головой, в сильно поношенной куртке и потрепанных брюках. Он полулежа курил самокрутку. Другой был старик. На голове у него была шапочка непонятного фасона, очень напоминающая шляпку старого гриба, на плечах домотканый армячок, на котором было больше заплат, чем самого армячка. Из-под лохматых бровей, как две незабудки, зорко глядели

маленькие светло-голубые глазки. Чалая бороденка окружала сморщенное темно-коричневое личико.

Рядом с молодым лежали две собаки: прекрасный борзой кобель, весь в завитках, и маленькая беспородная собачка. Собаки лежали, высунув языки, и часто дышали. В стороне стояли две корзины, почти полные белых грибов.

Старичок жевал печеное яичко и, строго глядя на молодого, поучал:

— Нет. Ты этого не говори... Иной идет по лесу — и уши у него заткнуты, и глаза завязаны, ничего-то он не слышит, ничего-то он не видит... Какая птица поет — он не знает, чей следок — он понять не может. Зашел за дерево и заблудился — куда идти не знает. Смотрит на елку, а куда она, какой стороной повернута — разобрать ума нет: то ли это на полдень, то ли на полночь? Слепой человек... Такому человеку и гриб в руки не дается... Прячется гриб... Грибов — полно, а у него пустая корзинка.

Ты вот ружьем балуешься, по лесу гуляешь, а все же всей лесной премудрости понять не можешь, а я в лесу вырос. Мне лес — все равно как дом родной: я в нем и днем и ночью — куда хошь. Правда, леший меня один раз по лесу кружил, было дело, теперь я с ним в ладу живу. Ничего.

В каждом лесу, значит, свой порядок. Вроде как своя семья... Матка есть. Ее сразу узнаешь: она всех деревьев толще и на ней шишек, шишек видимо-невидимо. И дятлы к ней с особым криком подлетают и далеко ее шишки разносят. Рядом с ней никогда не расклеивают. Закон, значит, такой есть.

И вот опять грибы... Каких только грибов нет, и каждый гриб свое место знает: кому — на пеньке, кому — в ямке, кому — на бугорке. Рыжик — он во мху любит, на полянке, хороводом, а лисичка в глуши таится. Белый гриб свежие места любит, не затоптанные ни людьми, ни скотиной.

А то вот еще гриб есть... Ты его, пожалуй, и не видал никогда. А может, и не слышал про него... Царь грибной... Он у себя под землей сидит, всеми грибами правит. А зовут его хитро — трухвель.

— А ты, Лехтеич, видал его?

— Раз видал, да и то давно, а больше не приходилось. В нашей деревне, Лексей Иканорыч, мужичок один есть, а у мужичка собачонка, так — махонькая, немудрящая, а он ее пуще глаза бережет. Пойдет этот мужичок с ней в лес и,



гляди, корзинку этих трухвелей ташит, и с ними — в Москву, в Большую Московскую гостиницу. Хорошо на них зашибает. Пахучие грибы, страсть пахучие...

Старик вдруг пригнулся к земле и стал принюхиваться.

— А ты не чуешь, Лексей Иканорыч,— вроде как грибом пахнет?

Тут он пополз на четвереньках и опять стал принюхиваться.

— Пахнет, чую — пахнет! — твердил он, шаря руками по траве.— Э, глянь, земля-то растрескалась и вспучилась... Это беспрерменно он!

Лехтеич руками стал раскапывать землю, потом он осторожно запустил руку в ямку и вытащил самого грибного царя.

— Ну и царь! — засмеялся молодой.— Это сморчок какой-то!

Гриб был величиной с кулак, круглый, как дождевик, без ножки, очень плотный, темно-коричневато-серый, весь в рытвинках, как будто сморщенный, и очень пахучий.

Дед завернул его в тряпочку и осторожно положил в карман.



— Нет, ты не смейся, Лексей Иканорыч. Цари смешливых не любят. Он так делает, что ты ни одного гриба из леса не унесешь!

— Очень я боюсь твоего грибного царя! Вон у меня целая корзина белых!

Из леса на вырубку вышло стадо. Обе собаки вскочили и стали опасливо смотреть на коров. Белая, крупная фигура борзой собаки, необычная и страшная, была принята коровами за опасного зверя. Они глухо загудели и кинулись на собаку, и молодой, и старик вскочили и встали за деревья.

Коровы промчались по тому месту, где сидели грибники, и исчезли в лесу. За коровами выбежали телки, овцы и большой бурый бык. Одна телка подошла к корзине молодого и стала нюхать грибы. Она поддела корзину рогом, все грибы посыпались на землю, а корзина повисла на рогах, молодой выскочил из-за дерева и бросился было спасать грибы, но, сделав два шага, остановился: к телке с глухим ревом подошел бык. Он грозно покосился на человека и лизнул телку.

— Не ходи, Лексей Иканорыч, брось! Бык дурной — брухается!

Телку испугала повиснувшая и болтавшаяся на рогах корзина, и она, мотая головой, бросилась в лес.

На просыпанные грибы накинулись овцы, и вмиг от грибов не осталось и следа.

Вот тебе и грибочки! А старикова корзина стоит целешенька!

Дед вышел на полянку и покачал головой:

— Эх, Лексей Иканорыч, говорил я тебе: не смейся над царем... Вон оно какое дело-то вышло: ты и впрямь ни одного гриба из леса не унесешь!

Оба грибника — и старик, и молодой — подошли к стоявшей под елкой корзине.

— Вот это да! Дед! А ведь телка-то *твою* корзину растрепала! Гляди! Ведь это моя стоит целешенька! Видишь — ручка проволокой замотана.

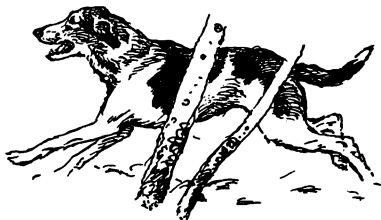
Старик опешил.

— Тыфу ты... Елки-палки! Ах она окаянная! И корзину в лес затащила... теперь ищи ее... Вот горе-то!

Лехтеич совсем расстроился и приуныл. Еле сдерживая смех, молодой спросил:

— А что ж это, твой грибной царь по старости сослепу перепутал наши корзины? — Но, заметив, что даже шутка не рассеивает удрученного состояния старика, добавил: — Не горюй, старина, брось. Вот пойдем и найдем твою корзину, а грибы пополам разделим.





ИЗВИНИ, РУМЯНКА

Леса, бесконечные леса, перерезанные вырубками, оврагами, лесными дорогами, еловые и смешанные леса, тогда еще обильные всяким зверьем и птицей. Глухие, нехоженные чащи, обиталища медведей и рысей.

У меня смычок очень хороших гончих, и со мной всегда ходит лесник Василий Алексеевич, а иногда и дядя Карп. У него старенькая одностволка и рогулька, с которой он стреляет, когда зверь неподвижен; стрелять в бегущего зверя или в летящую птицу дядя Карп не умеет. Он свистнет — заяц от свиста сядет, и тогда только гремит выстрел.

У дяди Карпа нет собаки, и за зайцами он ходит со мной. А бывает и так: когда хорошая пороша и след печатный, он идет со своим сыном Семкой. Семка идет по следу и тявкает. Он ловко разбирается в следах и гонит не хуже гончей. Заяц из-под Семки идет тихо, не торопясь, прислушивается, присаживается, делает петли, скидки. Глядишь, дядя Карп и подвесил на пояс зайчишку.

Там, в этих тихих еловых лесах, я был наедине с природой, там я впитал в себя красоту задумчивых елей, болтовню бегущих по оврагу ручьев, тишину и запах туманного осеннего леса. А как я любил слушать гневный шум качающихся от

ветра елей, когда идешь, бывало, без дороги, напрямиком через овраги и чащи с ружьем за спиной.

Все темней тучи, все чаще дуют ветры, облетают последние листья. Замерзли лужи на дороге, замерз большой пруд под старыми ивами. Зависли тяжелые тучи. Ночью повалил снег. И день, и два, и три кружилась вьюга, выл ветер и качали вершинами старые ели. Снегу выше колена. Все живое попряталось куда-то. Только ветер гуляет по лесу, только по-земка метет по полю.

Но вот к вечеру проглянуло солнышко, улыбнулось на прощание и тихо закатилось. Природа облегченно вздохнула. Взошла луна, и светлая ночь окутала природу.

Наступило утро, ясное морозное утро.

На дворе перед окном сидят Румянка и Найда и внимательно смотрят в окно, им видна стена и шкура северного оленя, на которой висит ружье, и стоит мне подойти к этой стене и протянуть руку к ружью, как обе собаки вскочат и, радостно махая хвостами, подымут визг и вой.

Но я пока не подхожу, я жду, что ко мне придет Василий Алексеевич. Вот и он: «Здрассте, Алексей Никанорович. Вы чаю уже покушали? Нет? А идти бы надо — след печатный. Я и Будишку привел».

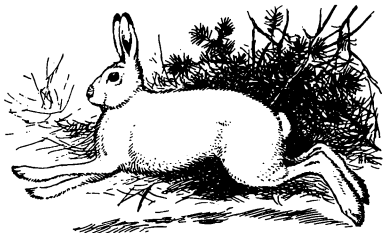
На скорую руку пью чай. На дворе собачий концерт. Для них уже ясно, что будет охота, и они визгом и воем выражают свою радость.

Лес у нас вот тут, рядом, вплотную подходит к дому. Не отошли мы и с версту, как Румянка отчаянно завопила. К ней подвалила Найда, потом Будишка, и лес загремел собачьими голосами.

Вот досада! Повалил снег. Гон уходил все дальше и дальше. Чуть слышны были голоса собак. Я стоял не шевелясь: смотрел и слушал. Голоса собак запутывались в переплетях заиндевших веток, в тяжелой куче на еловых лапах.



Было тихо, как на горных вершинах. Снег валил не переставая и ложился комочками из любовно обнявшихся снежинок на мое лицо, на рукава, на ружье. Все было бело. Перед глазами мелькала сетка пада-



ющих снежинок, и в них тонули и звуки, и формы, и цвета.

Что такое? Передо мною вдруг появились четыре черные точки. Всматриваюсь внимательно — и что же? Легкий намек на зайца, и четыре точки: два черных глаза, два черных кончика ушей. Зайца почти не видно. Он замер и смотрит на меня. Я не шелохнусь и тоже смотрю на него. Вспоминаю о ружье, тихо поднимаю стволы и ишу мушку. Что за чудо? Вместо мушки сидит на стволах синичка-пухляк и глядит на меня своими бусинками.

Вот и изволь охотиться в такой компании! Четыре точки исчезли. Синичка порхнула. Над головой я слышу легкое цапанье — это поползень спускается по коре ели, а вот еще синичка, и еще, и еще — целая стайка. Все они летят слева направо. Они не торопятся и тщательно обыскивают каждую веточку, каждую щелку в коре. Я тоже не тороплюсь. Стою тихо и смотрю на них. Вот две синички-гаечки что-то не поделили и сердито закричали друг на дружку. По стволу вверх цапаются пищуха и тонко-тонко попискивает.

И вдруг громкий голос Румянки совсем рядом. Вот она. Прыгая по глубокому снегу, возбужденная, она прошла совсем близко от меня и поглядела на меня. Что это был за взгляд! Он ясно говорил: «Эх ты, растяпа! Я выставила зайца на тебя, ворона, а где он?» Взгляд был уничтожающий, и я отвернулся. Мне не было жалко упущенного беляка. Пусть бежит! Но

мне было стыдно перед собакой. Какое у нее будет мнение обо мне! Если так ведет себя охотник, то и собаке нет резона стараться по глубокому снегу, из последних сил, гнать этого негодного зайца.

Заяц легкий, лапы у него широкие, ему легко бежать по рыхлому снегу — он не провалится даже около куста! Знай печатает малик. А каково гончей?

Извини, Румянка, я постараюсь исправиться. Извини, пожалуйста!

СТАРЫЙ РУСАК

Тихо. Лес весь в снегу, весь в кружевах, на каждой веточке — бугорок снега, каждая веточка согнулась от тяжести этого бугорка, а внизу — пуховая перинка, на ней ясные отпечатки лапок.

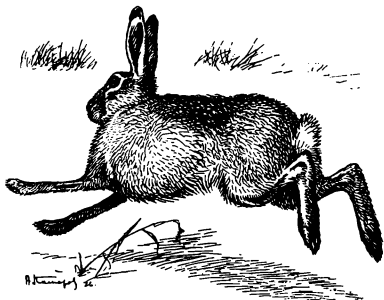
Чьих лапок? Мыши, белки, тетерева набродили по свежей пороше. Заячьих следов мало: заяц боится печатать свой след по пороше. Лучше денек пролежать под елкой. Вышли на кормежку только молодые, неопытные зайцы и то потоптались немного около опушки в сухом бурьяне да скорей, сделав несколько скидок, легли мордочкой на свой след.

В лесу взвизгнула Румянка, еще разок — и замолчала.

Эта она разбирается в запутанных заячьих следах и дает знать, что у нее дело налаживается и где-то близко лежит заяц, близко лежит... Вот только надо разобраться в его следах, и...

Но заяц лежит крепко и хотя слышит, как собака бежит по его следам, но с лежки не соскакивает. Поднял уши, весь подобрался, с лапки на лапку переступает, а вскочить и помчаться не решается. Зайцу видна Румянка — вся она там, по кустам кружит. Бежать? Нет, подожду — может, и не найдет. Подожду еще...

Заяц хорошо запутал следы. Он два раза прошел по своему следу, два раза с двойного следа сделал большие прыжки в сторону, в куст. Разберется ли Румянка? Зорко смотрит русак, как она разбирается — все ближе, все ближе... очень близко... Большой прыжок! Серенький комочек покатила между кустами. Румянка отчаянно залилась визгливым лаем, на ее голос тоже с визгом мчится Найда. Обе собаки, азартно заливаясь,



сделали большой круг и закружились, запутались в Ереминских вырубках. В тихом воздухе ясно слышны их растерянные вопли. Потом Найда повернула обратно и замолкла на Конайковом поле, а Румянка вышла на большую дорогу и, изредка подавая голос, старается разобраться в следах на затоптанной, занавоженной дороге.

Трудно учуять слабый, почти неуловимый запах от легких лапок русака на свежем снегу, а уж на дороге... А тут еще прошел какой-то мужик в вонючих валенках. Он шел из большого молочного хозяйства, где заходил на скотный двор, и при входе туда наступил на пропитанный карболкой половичок, и теперь его валенки оставляли зловонный след.

Румянка, высоко подымая голову, чтобы меньше нюхать карболку, бежала по дороге, поворачивая морду то направо, то налево, и зорко приглядывалась, куда метнулся с дороги русак.

Но русак был опытный, старый заяц и прекрасно знал, что занавоженная дорога — самый лучший козырь в этой игре с гончей собакой, но он знал и то, что пачкать лапки навозом

тоже нельзя, и старался бежать по скользкому следу от санного полоза. Скользкому и сравнительно чистому.

Он пробежал по дороге версты две или три и только тогда, когда рядом стали попадаться кустики, сделал большой прыжок через куст можжухи и замелькал между редкими елочками. Скоро он добрался до прясла и заковылял рядом с ним к овинам и сараям села Хомякова. Возле одного сарая наткнулся на старуху. Она на спине тащила большую корзину сена. Русак не боялся женщин и только чуть посторонился с ее дороги и тут же сел, внимательно посмотрел на старуху и не торопясь запрыгал дальше. Он был уверен, что собака давно потеряла его след, и уже собрался, сделав две-три скидки, тут же, в этих овинах и сараях, лечь и пролежать до вечерней зари. Он хотел уже... но в этот момент услышал далеко, в стороне дороги, залистый гон Румянки.

Она нашла его скидку.

Не помогла и занавоженная дорога, не помог и куст, в который прыгнул с дороги русак, не помогли русачьи уловки.

Пробежав вдоль сараев и овинов, русак вышел на торную дорогу. По дороге двигался обоз с дровами. Визжал морозный снег под полозьями, скрипели дровни, фыркали лошади, мужики кучей шли у заднего воза и громко разговаривали.

Зайцу пахнуло в нос дегтем, лошадиным потом и сладким запахом осиновых дров.

Мужики увидели зайца, захлопали рукавицами, закричали: «Тю, тю!» — и громко засвистали. Откуда-то из-под ног лошадей вывернулась лохматая собачонка и бросилась за русаком. Он покосился на собачонку и немного прибавил хода.

Заяц не боялся дворняжек.

В поле дул ветерок, и по снегу перебегали струйки морозной пыли, замечая след.

Когда заяц добрался до старого елового леса, ветерок разгулялся уже не на шутку. Он раскачивал вершины елей, и с их мохнатых лап падали комья снега. В воздухе они рассыпались в пыль и белым облачком опускались на землю. Ветерок заботливо заметал все следы. Так же старательно он замел в поле и след нашего русака. Никакая гончая не найдет.

Судьба сжалилась над русаком, и теперь он может спокойно лечь вон в том овраге под вывороченным корнем.

Но русак осторожен. Перед тем как лечь, он, конечно, сделает два-три раза скидку и ляжет головой на свой след. Ляжет и заснет с открытыми глазами, чутко прислушиваясь к звукам леса.

Пожелаем ему покойного сна и тишины в глухом, заснеженном лесу.





БУРЫЙ ПЕНЬ

Заря гасла. Понемногу сгущались тени. Мы шли домой усталые и голодные. Впереди шел наш приятель — лесник Василий Алексеевич, за ним я и сзади Вася. Я вел на поводке Румянку и Найду. Собаки тоже устали и еле тащились. Мы шли по лесной проезжей дороге, заросшей травой, кое-где перегороженной упавшими деревьями. С одной стороны у нас был старый еловый лес, с другой — вырубка, густо заросшая малиной и иван-чаем, на ней темнели громадные замшелые пни. Был тот вечерний час, когда все в природе затихает: ни шелеста, ни шороха. Мы молча шли, неслышно шагая по густой траве. Лесник вдруг остановился. «Гляди, Алексей Никанорович! — тихо прошептал он и указал на большой бурый пень, смутно темнеющий впереди. — Гляди, он вроде шевелится... Гляди, гляди!»

Через дорогу от бурого пня перебежал медвежонок, за ним другой. Громадный пень поднялся на задние лапы и, высоко задрав голову, стал озираться. Мы замерли, не сводя глаз с большой бурой медведицы. Если ей втемяшится в башку, что мы унесем ее медвежат, она, пожалуй, не очень-то вежливо прогонит нас из своих владений. Спорить с ней и

вступать в драку для нас не имеет смысла. Чем мы можем пугнуть ее? У нас ружья заряжены дробью, наши собаки могут напугать только зайца, а медведица, у которой маленькие медвежата, далеко не безобидная зверушка. Да и если бы у нас были пули и другие ружья, мы не имеем нравственного права убивать ни в чем не повинного зверя, да еще с маленькими детками.

Медведица, оглядевшись, увидела нас. Она глухо рявкнула. Оба медвежонка со всех ног бросились к ней и замерли у нее под брюхом.

Мы стали быстро пятиться, зорко следя за грозной мамой. Вдруг медведица зарычала и сделала три прыжка в нашу сторону. Мы повернулись и помчались что было духа. Собаки, почуяв зверя, рвались к нему. Найда вывернулась из ошейника и исчезла. Румянка взвыла и стала рваться изо всех сил, мешая мне бежать. Пришлось ее спустить. Я снял с нее ошейник, и вскоре мы услышали злобный брех наших собак. Бурой мамаше наскучил этот концерт, и она, свирепо рявкнув, бросилась на собак. Это было очень страшно. Испуганные псы помчались в нашу сторону. К нам приближался шум погони. Этого еще не хватало, чтобы собаки наманили на нас озлобленного зверя. Из кустов выскочили наши собаки и бросились к нам под ноги, а за ними выбежала медведица. Мы, как зайцы, бросились в разные стороны, в страхе ожидая нападения. Неожиданно медведица остановилась, круто по-



вернулась и неуклюжим галопом побежала обратно. Я думаю, что она услышала плач своих медвежат и помчалась на выручку.

Мы широким кругом обошли потревоженное семейство, вышли на Алферьевские вырубки и напрямик, без дороги, пошли к дому, радуясь благополучному концу нашего знакомства.





МАЛЫШИ

Глубокий лесной овраг. По его склонам карабкаются ели, осины, березки. Вот старая, широко раскинувшая свои ветви ель. Своими толстыми, узловатыми корнями она оплела склон оврага и хмуро смотрится в большой тихий бочаг. Возле нее маленькая полянка, а на ней табунок молоденьких елочек. Под елью темно. Она опустила лапы чуть не до самой земли и закрыла свои корни и ствол. Полянка и елочки на полном свету, а всего ярче и светлей белый ствол березы.

Я сижу, кое-как устроившись, на склоне оврага и пишу этюд. Сидеть на трехногом стульчике на косогоре очень неудобно, но эта старая ель, эта полянка, эти большие серые камни на дне оврага, зеркальный бочаг, в котором перевернулась старая ель — все это так красиво, так поэтично, что я сижу и с удовольствием пишу этюд.

Небо закрыто облаками, но иногда сквозь них прорвется солнечный луч и осветит или мохнатую еловую лапу, или ослепительно белый ствол березы, или уголок полянки.

Я рисую корявые, узловатые корни. Они, как щупальца спрута, впились в землю. Серо-фиолетовый ствол ели в глубокой тени. Только одна лапа вырвалась на свет, зажглась и еще более сгустила тень под корнями. Пишу и сам себе



повторяю: «Не темни, светлей, светлей!» Беру на этюде самое светлое место — ствол березы и от него, как от точки, начинаю осторожно переходить к более темным местам. Стараюсь писать охрами, избегать химических красок.

В самом разгаре работы я взглянул на глубокую тень под старой елью. Что такое? Вынырнув из темноты, на меня глядела удивленная мордочка. За ней показалась другая, третья, четвертая. Сажу, не шевелюсь и с интересом смотрю, что будет дальше. Самый смелый лисенок выбежал на полянку, за ним другой. Началась игра. Лисята гонялись друг за дружкой, иногда все четверо сбивались в одну кучу, с притворной злобой набрасывались друг на друга и опять мчались что есть духу. Иногда кто-нибудь прятался за кустами и, неожиданно вскочив, валил с ног зазевавшегося братишку или сестренку, а тут и самого неожиданно валили на спинку. Игра была в полном разгаре. Я сидел тихо, не шевелясь. Меня они не замечали.

Вдруг что-то светлое, рыжеватое мелькнуло над полянкой. На меня сверкнули два желтых глаза, взмах крыльев — и хищник взмыл вверх. Лисята бросились к норе и исчезли.



Вот неосторожная, непослушная детвора! Ведь говорила же вам мама, чтобы вы без нее не вылезали из норы. Так нет же, вылезли! Не будь меня, ястреб наверняка унес бы одного из вас. Он испугался меня и взмыл. Ваше счастье. Запомните этот урок! Берегитесь когтей и зубов.

Мой этюд был почти готов, да и, признаться, я порядком устал. Сижу отдыхаю.

Лисята уже забыли свой страх, и я вижу, что их мордочки уже высовываются из норы. Я встал — мордочки попрятались. Обошел тихонько вокруг старой ели и осторожно присел возле норы, вернее, над самой норой. Сижу тихо и жду, когда малыши снова выскочат на полянку. Я уверен, что они скоро забудут урок, а голос жизни настойчиво зовет их в лес, на солнце, бегать, играть, пробовать свои юные силы.

Прошло минут пять, и вот из норы показались две бурые головки. А вот и все четыре лисенка уже играют на полянке в салочки.

Я тихонько хлопнул в ладоши. Малыши опрометью кинулись к норе. Я схватил одного — он, конечно, запустил все свои острые зубки в мою руку и стал отбиваться лапками. Я завернул его в куртку и завязал, случайно оказавшимся у меня в кармане поводком. До дома было недалеко.

Дома напоил его парным молоком и сделал с него несколько рисунков.

Держать его у себя я не хотел и опять, завернув, отнес под большую елку в тихий овраг, в родную нору.





ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА

В Марьиной пустоши необыкновенное волнение. Все пять собак с лаем бросились к воротам. Ворота отворились, и на двор въехали сани, запряженные парочкой рыжих лошадок. На козлах сидел дядя Григорий, в саних художник Вася Бобырев и незнакомый молодой человек, красивый, чернобрый, с маленькими усиками. Гости вылезли из саней и стояли, отпихивая собак, старавшихся лизнуть их в лицо.

— Простите, что я приехал к вам без приглашения. Вася наговорил мне с три короба чудес о нашей даче. Право, мне очень неудобно...

— Бросьте извиняться. Мы гостям рады. Но живем мы просто, по-деревенски — щи да каша.

— Алеша! Это мой друг Витя Зубов — художник-график. Он нам на Новый год такой фейерверк запустит — закачаешься. — Вася говорил, как волжанин, на «о» и с мордовским акцентом.

— Идемте, идемте — самовар на столе, — пригласила моя жена, и все пошли в дом.

За чаем разговорились о встрече Нового года. Оказалось, что Марьиная пустошь не забыла о Новом годе, и уже изжарен громадный доморощенный гусь, и в чулане стоит целая батарея настоек, наливков во главе с бутылкой шампанского, а

какой слоеный пирог с мясом и яйцами, а какой винегрет с маслинами, каперсами, холодной телятиной, а грибочки, огурчики, а... Всего не упомнишь! Да, это будет настоящий праздник! Но вы забыли о самом главном, о гвозде праздника, о ракете. Но Витя не забыл, он уже клеит бумажную трубку для ракеты. Трубка склеена великолепно, по всем правилам. Она набита порохом и всем, что полагается, но упущен суший пустяк — забыли просунуть в ракету бикфордов шнур. Только и всего. Получилась ракета, которую нельзя запустить. Вот тебе и гвоздь новогодних торжеств. Не беда, Витя взял гвоздь, большой гвоздь, и стал ковырять им дно ракеты. Он проткнул бумажное дно и гвоздем стал расковыривать порох... Но порох не древесные опилки, и ковырять его железным гвоздем я вам не советую.

Какой это был ужас — ракета вспыхнула в руках Вити, куст огня и дыма, всех опалив, метнулся огненным столбом под потолок и там, разорвавшись, осыпал комнату огненным дождем. Лампа погасла, дети подняли страшный рев, собаки завyli, женщины завизжали, и полная тьма. Лампу! Лампу! Когда из другой комнаты была принесена лампа, тогда «считать мы стали раны». По плану эта ракета должна была разорваться высоко в небе и осыпать ночное небо фонтаном разноцветных огней. Она должна была разорваться в тот важный момент, когда будут подняты бокалы с шампанским и часы пробьют полночь и воздух огласится общим ревом: «С Новым годом!!! С новым счастьем!!!!»

И вся эта восхитительная программа лопнула как мыльный пузырь. Лопнула только из-за того, что Витя был пиротехник-любитель, да, да, только любитель. Любитель-цветовод — прекрасно, актер-любитель — тоже ничего, даже скрипач-любитель и то сойдет, но любитель-пиротехник — нет, гран мерси, тут надо держаться подальше. Вы сами видите, как это кончается. У Вити ожог всего лица, опалены брови и усы, стекла очков покрыты нагаром, и если бы не очки, Витя лишился бы глаз. Все мы, смотревшие с любопытством на его работу, тоже получили ожоги, а Вася стал пестрым с правой стороны от въевшихся в кожу порошинок. И вот теперь Витя сидит один в полутемной комнате с окном, завешенным шторой, сидит и думает, сидит и думает. Он конфузится своего обезображенного лица и не показывается на яркий свет. Чтобы унять жар, лицо посыпано картофельной мукой.

Лечить Витю взялась Нина — моя обворожительная племянница. Взялась всерьез. Она в легких саночках скатала на Орлике в город, посоветовалась там с доктором, купила в аптеке всяких мазей и присыпок и к обеду вернулась домой. «Бодритесь, Витя! Я скоро вас вылечу, и вы помчитесь к своей Липочке. Мы пошлем вам поздравительную телеграмму», — и она смотрела на Витю своими большими серыми глазами, и в них светилось столько участия и доброты, и, кроме того, в них было что-то, от чего Витя терял дар речи и образ Липочки таял и расплывался, как капля вишневого сока в стакане воды.

И Витя стал прежним Витей. Ожог исчез бесследно, отрасли брови и усики. В одном только изменился Витя — он перестал говорить о Липочке. Да, перестал, совсем перестал и уехал в Москву. В Москву, а не в Рязань к Липочке. Туда же уехала Нина. Что дальше было, я, право, не знаю. У меня ошенились Флейта и Пурга, и я был очень занят. Надо было ухаживать за двенадцатью щенками. Может быть, когда-нибудь я все разузнаю о Вите и расскажу вам.





ВСТРЕЧИ В ЛЕСУ

Без дороги, лесом, по кочкам и валежинам я шел, пробираясь домой, на Дикареву дачу.

Весь день был пасмурный, временами накрапывал дождь. Голый лес задумался, притих — ни звука, ни шороха. Под ногами упавшие листья сыры, и шаги мои беззвучны.

Солнце зашло и на прощание позолотило и подрумянило полоску облаков.

Из леса, навстречу мне, вышло стадо. Коровы шли не спеша, треща ломающимися под ногами сучьями. Две телки-подружки подошли близко и уставились удивленно на моих гончих. Черная корова шарахнулась от меня и побежала. За стадом прыгали спутанные лошади и шел знакомый пастух Федулыч. Его вел за руку подпасок Мишутка. Федулыч страдал куриной слепотой и после захода солнца ничего не видел, терял стадо и шел неведомо куда, в чепыгу, в овраг.

Мишутка отыскивал его и вел за руку.

— Здравствуй, добрый человек!

— Это с Дикаревой дачи, художник, — сказал Мишутка.

Мы поздоровались за руку, и я угостил старика папиросой.

— Вот и дорогой у тебя табак, а что в нем проку — только деньгам перевод... А нет ли у тебя, Алексей Никанорыч, ма-

хорочки?? От нее грудям легче бывает и голове того... способней.

— Это ты все выдумываешь, Федулыч! От твоей махорки мухи на лету дохнут, а ты «грудям легче...». Ты вот завтра приходи ко мне на дачу, мимо ведь стадо гонишь, я тебе и махорочки дам и газеток. Собак не бойся... всего не съедят.

— Ладно, зайду, прощевай пока.

И старик поклонился березе, стоявшей рядом со мной. Мишутка повел его за руку.

Огненные облачка на небе померкли. Из лесной чащи все темней и темней стал выползать сумрак. Небо затянуло облаками, и уже нельзя было понять, где закатилось солнышко. По серому небу летела с криком большая стая грачей и галок. Они летели ночевать на старые березы в Коняйковом поле. Там они всегда ночуют, там у них что-то вроде клуба, где они делятся последними новостями.

Я прибавил шаг. До дома было уже не так далеко, и я предвкушал и горячий чай, и сдобные лепешки, и мягкое кресло. Лес стал редеть, показалась большая поляна. Дорогу, по которой я шел, пересекала другая, малоезженная — одна из тех, каких так много в лесу, и все они кончаются либо на поляне, где косят сено, либо на вырубке, где дрова.

Из леса показалась лошадь с телегой и рядом мужик, за ней другая... Увидев меня, мужик закричал:

— Пстой-ка маленько, мил человек! Поговорить надо.

Я остановился. Из леса на поляну выехали четыре телеги и остановились. Четыре мужика нерешительно подошли ко мне.

— Глянь, ребята, да это Лексей Иканорыч! — поздоровались.

— Вы далеко ли едете, на ночь глядя? — спросил я.

— Куда нам ехать?! Нам бы до дома добраться. Мы, почти-тай, с обеда по лесу кружим и сами в отделку и коней замучили. Скажи ты нам вразумительно, в какое место мы теперь попали?



— Так вам домой надо? А вы от дома, на Ереминские ладите. Поворачивайте оглобли и вот этой дорогой прямо до дома и валите.

— Ну а ты не врешь? — Мужики стояли, смущенно переглядываясь. — Ну и дела! Добро бы пьяные были али бы ночь, темень... А то днем, тверезые, заблудились. В своих местах заблудились! Чудно!

— А все эта ведьма, Костылиха, напустила, — хрипло прошипел Клим Иголка. — Все она, сука, натворила... Чтoб ей пусто было!

— Говорили мы тебе, — сказал Вася Муравкин, — чтобы не ссорился со старухой. Старуха вредная. Человека испортить может, а не то что... Вот по его совету, — Вася указал на Иголку, — мужики и заняли старухин черед. Знамо, что может старая женщина против мужиков! Нам, видишь, хотелось пораньше домой вернуться, овес домолотить надо.

Мы нынче до свету из дома-то выехали. Пораньше черед занять на мельнице у Ивана Филипповича. Приехали, а там перед нами старуха Костылиха. И ржи-то у нее один мешок, а нам и покажись обидно дожидаться, когда ей смелют. Ну, полчаса, не больше. Старуха ветхая, пополам перегнулась, мешок с места сдвинуть не может. Ей бы помочь надо, а мы ее мешок в сторону отташили и свои положили. Вот и проплутались по лесу дотемна. Она нам глаза-то и застила. Места знакомые, а нам все наоборот кажется, и кружим по лесу-то, и кружим. Недаром старуха грозилась: «Вы еще помянете меня, не раз помянете! Я, — говорит, — все равно раньше вас буду дома». Так оно и вышло! А ты говоришь, колдунов не бывает...

Пришлось отложить и чай, и лепешки, и отдых и выводить мужиков на знакомую дорогу.





ЗА РУСАКАМИ

Едем в санях — я, да Вася, да Румянка. След на снегу печатный, ветра нет, и морозец небольшой. Взяли одну Румянку — она самая умная, и чутье у нее прекрасное, и заячьи повадки она назубок знает.

Недалеко от деревни Юдиной смотрим — через дорогу куниний след.

— Пойдешь? — спрашиваю Васю.

Вася не хочет. Отъехали несколько шагов — дядя Карп поскрипывает на лыжах.

— Эй! — кричим. — Борода, беги скорей, гляди!

Подбежал дядя Карп к следу скорей, скорей затоптал его и бросился вдогонку за куницей. Не прошло и десяти минут — слышим выстрел. Вышел из леса дядя Карп и куницу держит.

— Вот, глянь, какой кот. Вот те хрест, рублей семь за шкурку дадут. — Руки у самого трясутся, от радости дух перевести не может. — Сотни шагов не прошел, а она беличий след нашла да за ней тайно на елку кинулась. Сожрала белку да там и заснула. Ударил я по гайну, она тырчком оттуда в снег. Здоровенный кот!

Поздравили дядю Карпа с удачей, поехали дальше. В Юдине у нас приятель живет. Оставили у него лошадь, побежали на лыжах.

Места там полистые, и русаков пропасть. Подходим к оврагу. Длинный овраг и широкий. Я говорю Васе:

— Ты иди этой стороной, а я пойду той, а по дну оврага пустим Румянку,— показываю ей, где бежать, а сами по краям оврага пошли.

«Ай, ай, ай!» — заголосила Румянка. Смотрю, из оврага вверх на Васю русак катит.

— Береги! — кричу, а тут и передо мной другой из оврага выскочил. И пошло...

Собачка по дну бежит, а на нас с Васей русаки как из мешка. Шесть русаков мы ухлопали. Хватит, да и поздно уже стало. И Румянка упрыгалась по глубокому снегу. Пошли в деревню к своему приятелю. Его дома не оказалось — одна тетка Лукерья. Вешаем в сених ружья и зайцев, привязываем Румянку.

— Голубчики, да чем же я вас покормлю? — причитает Лукерья.— Нет у меня ничего. Вот только лепешка осталась. Не доели ребятишки.

— Тетя Луша, не горюйте. Мы и лепешкой сыты будем!

Смотрим, кладет она эту лепешку на стол, а лепешка больше тарелки и толщиной в три пальца.

— Поищи-ка, Петровна, может, яичек нам по парочке найдешь,— бурчит дядя Вася, успевший забраться на печку.

— Лукерья Петровна,— серьезно говорю я.— А слышали историю, как солдат из топора щи варил? Слышали? Нет? Так послушайте. Очень поучительная история.

Шел солдат с войны. Усталый идет, голодный, озябший. Вот как мы теперь. Зашел в избу. «Здравствуй, бабутка, покорми, чем Бог послал, солдатика». А старуха жадная-прежадная была. «Ничего,— говорит,— у меня нет, не взыщи, служивый. Сама ничего второй день не ела и печку третий день не топлю».

Видит солдат, что от нее добром ничего не выманишь, в Крещение льда не выпросишь. Он и говорит: «Эх, бабунька, был бы у меня топор, я бы тебя такими щами накормил — язык проглотишь». Затряслась старуха от жадности, хочется ей на дармовщинку шей похлебать. «На,— говорит,— топор, вари щи!»

Налил солдат чугуном водой, положил в него топор без топорнища, растопил печку...

В этот момент в сених что-то грохнуло, и раздался яросный лай Румянки. Я бросился туда, в потемках ничего не пойму. Споткнулся на поваленную лестницу и грохнулся куда-



то вниз. Набил шишку на лбу, ушиб коленку. Слышу, на чердаке злобно урчит кошка. Это она к нашим зайцам хотела подобраться.

Вхожу, прихрамывая, в избу, а тетя Луша уже самовар поставила и яички в нем варит. Досказал я ей всю историю про топор и жадную старуху. Гляжу, а она из клетки сало принесла и огурчиков соленых.

Тут в избу набились ребяташки. Стоят, на нас с Васей глазенки таращат. Подзываю старшую девочку.

— Вот что, Машенька, беги ты что есть духу в лавочку, вот тебе полтинник, и купи ты на него самых вкусных конфет и пряников!

Девочка смеется:

— Я не Машенька, я Санька!

А уже на столе и молоко, и творог, и сало, и яички вареные. Примчалась Санька с конфетами. Начался у нас пир горой. Ребяташки конфеты сосут, а мы чаек попиваем, знаменитую лепешку жуем. Попили чайку, закусили, попрощались с тетей Лушей, легли в сани на сено, в середку Румянку положили. Тепло под тулупом. Бежит Чалый, пофыркивает, под полозьями снег повизгивает. Вожжи к передку привязали, лежим дремлем.

Чалый дорогу знает, не ошибется... Дома будем.

ВОРИШКА

— Ей, отгоните собак, чтоб они полопались, окаянные! Ей, охотники, отгоните, оглохли, что ли? Штаны порвали и сапог прокусила проклятая.

Я слышу силный мужицкий крик и яростный брех моих гончих. Это неспроста. Ни Румянка, ни Найда в лесу на людей не лают. Бегу на крик и вижу забавную картину. Две мои гончие, подняв шерсть на загривке, злобно бросаются на незнакомого мужика. Мужик в шапке из заячьего меха крутится, отбиваясь от собак стволом шомполки-ружьишка. На земле на почерневших листьях лежал, четко выделяясь белой шкуркой, убитый заяц. Ага! Вот оно — яблоко раздора. Мои собаки не так воспитаны, чтобы могли позволить всякому приبلудному мужичонке взять нашего зайца. Они гоняли его для меня, только для меня, и Румянка наглядно доказала это, запустив все четыре клыка в ногу нахала. Будешь

помнить, как стрелять без спроса чужих зайцев. Хорошо, что клыки в ногу мужика запустила Румянка, а не Будило, который задержался на запутанном следе и опоздал с расправой. Он бы спустил с него штаны, и горе-охотнику пришлось бы похромать с недельку.

Когда я отозвал собак и взял в руки зайца, то велел мужику отойти подальше, но теперь инцидент был уже исчерпан, и собаки, и даже примчавшийся Будило равнодушно обнюхали место, где лежал убитый заяц, покосились на зайца и отправились разыскивать другого, свежего.

Подошел лесник Ветров и тихонько прошептал мне:

— Это жобкинский... Так, пустяковый мужик. Там, в Жобкине, они все охотники и пьяницы горькие. Пойдут на охоту толпой — один пьянее другого и давай садить из ружей куда ни попало. Пустой народ. У них во всей деревне нет ни одного, чтобы в нем дробь не сидела. Черт их знает, как они еще живы. На днях одному закатали заряд пониже спины. В больницу возили... ничего, отошел. Этого Федькой зовут — такой же.

Прослушав рассказ лесника, я крикнул:

— Ей, Федор! Подойди-ка сюда, да не бойся ты собак: они свое дело сделали — зайца отдали мне — и теперь им до него дела нет. Куснула тебя собака-то? Вот то-то, дружок, из-под моих собак не советую стрелять. И заяц того не стоит, как покалечить могут... Коль охота из-под чужих собак пострелять, так попроси позволения. А теперь шагай до дома и на память возьми зайчишку.

Я отдал жобкинскому алкоголику его воровской трофей, и он, даже не сказав «спасибо», а наспех затолкав зайца за пазуху, прихрамывая, заковылял в сторону. Подошли два Васи — Фомич и просто Васенька. Оба слышали и крик, и брех и, смеясь, выслушали наш рассказ.

ЗАБЛУДИЛИСЬ

Из леса на поляну вышли пять человек и три гончих собаки. Даже в густых сумерках осеннего вечера можно было увидеть, как и люди и собаки устали.

Выйдя на поляну, все остановились. Собаки тотчас же легли, а люди с надеждой посмотрели на меня. «Ну как, узнаешь, где мы?» — говорил их вопрошающий взгляд. Было ясно, что идти куда-то на поиск дороги они не в состоянии.



Все они были моими гостями. Все приехали на Дикареву дачу подышать чистым воздухом и поохотиться. За исключением Александра Осиповича, все были художники и ярые охотники.

— Ну что? Узнаешь дорогу? Веди нас к дому! Или мы растерзаем тебя в клочья. Довольно разыгрывать Сусанина! — сказал Кока Беловский и, сбросив висевшего у него на поясе зайца, лег на траву.

Васенька Груздев последовал его примеру. Александр Осипович, самый старший из нашей компании, устало опустился на землю и сел.

Я виновато поглядел на измученных охотников и тихо сказал:

— Я не знаю, где мы. Хотя убейте — не знаю. Мы заблудились. Теперь выбирайте, что вам больше нравится — идти в темноте по лесу искать дорогу, натываясь на сучья, или вот тут, на этой полянке, разжечь костер, ободрать одного зайца и пусть каждый жарит себе шашлык. Словивши зайца, вы мирно подремлете до утра.

Провести на голой земле холодную осеннюю ночь — такое никого не могло прельстить, и я видел, как лица моих друзей помрачнели. А тут еще по лесу пробежал веселый озорник ветерок, шутливо пощекотал каждую осинку, каждую березку и холодом обдал озябших охотников. На небе собрались тучи, и можно было ожидать, что пойдет дождик. Этого еще не хватало!



Бокал с горьким напитком был полон до краев, и нам предстояло его выпить!

— Какое низкое коварство — добрых, доверчивых людей затащить в лес и, полуживых от усталости, уложить спать на голой земле!

Кока даже плюнул в досаде.

— Дорогой Кокочка! — сказал Анатолий. — Вместо того чтобы ворчать, пошел бы набрал хвороста для костра, а мы с Алешей принесем воды в котелке. Я уверен, что в овраге есть или большой бочаг, или ключик.

— Нет, я удивляюсь, — ворчал Кока, — как это взрослые люди, охотники, живущие тут чуть не с рождения, и вот — заблудились! Вы только подумайте, уважаемый Василий Платоныч, заблудились у себя дома! Это же позор!

Василий Платонович посмотрел на Коку и усмехнулся в рыжий ус.

— Это вы, Кока, правильно изволили заметить — позор! Вот я, человек городской, я могу в лесу заблудиться, а они... Заведи меня в Москве куда хочешь — я найду дорогу. Завяжи глаза — и то доберусь до дома.

— Не всегда, Васенька, не всегда! А помнишь, как под Новый год заблудился? Сестры чуть с ума не сошли...

Васенька, и без того красный, густо покраснел. За целый день пребывания на ветру и на солнце нос его облупился и стал ярко-розовым, лицо было красно и пестрело веснушками. Ярко-рыжие волосы, когда он, закуривая, зажигал спичку, горели, как начищенный медный самовар.

Вася ничего не сказал — только подумал: «Ведь это же было под Новый год!»

Понемножку, нехотя, но все же натаскали сухих сучков, и на полянке загорелся костер. Сразу стало уютно и домовито. Освещенное костром, место стало своим, а за ним черный мрак, что-то страшное, неведомое. Что там таится в этом мраке? Какие чудовища попрятались за мохнатыми лапами елей? Кто это чуть слышно шуршит, осторожно шагая по иголкам хвои?

Все уселись около костра и наслаждались теплом и отдыхом. Кока взял самого плохонького беляка и стал его обдирать.

— Ты держи его зубами за уши, у тебя руки будут свободны... — советовали Коке. — Это тебе, Кока, не проектики чертить, тут нужна смекалка... Дай-ка мне, я попробую...

Заяц стал переходить из рук в руки, и в результате шкуру с него ободрали клоками и искромсали самого зайца.

...Я тихонько отошел от костра и исчез в темноте леса. Со всех ног я бросился по знакомой дороге и минут через десять был уже дома. Поражай, Ту-ту и лохматый Мирон встретили меня с вострогом и стали радостно прыгать.

Я, боясь, что они будут лаять и наши охотники на поляне услышат, поскорее завел собак в дом и запер, а сам с помощью бабушки Аксины Николаевны набрал полную корзину всяких закусок: тут и котлеты, тут и жареные грибы, и холодная картошка, и огурцы, и вареные яйца. С полной корзиной я помчался на поляну к своим друзьям.

Я издали посмотрел на них. Все сидели молча и держали над огнем кусочки мяса, нанизанные на прутики. Кое-кто жевал полусырое мясо, местами обуглившееся и насквозь пропахшее дымом. Выражение у всех было довольно грустное.

Как буря влетел я в освещенный костром круг и поставил перед ними корзину. Вслед за мной радостно ворвались собаки. Дикий рев восторга разбудил окрестные леса. Мирно спавшие тетерева с шумом взлетели и понеслись в черную темень. Зайцы перестали жевать заячью капусту и замерли. Летевший мимо большой жук-усач с перепугу сбился с дороги, с размаха ударился в лоб Васеньки и без чувств свалился на землю.

— Ах вы черти, что же вы нас мучили! Притворились, что дорогу потеряли! И ведь как разыграли!.. Поколотить бы вас надо...

Это относилось ко мне и Анатолию.





ДИКИЙ БАРИН

Как-то в один пасмурный осенний день я ехал к себе в Марьину пустошь.

На облучке сидел дядя Григорий и покрикивал на лошадей. Лошадки плелись шагом, тарантас нырял по глубоким колеям в непролазной грязи.

— А куда этот поворот? — спросил я.

Дядя Григорий посмотрел на поворот дороги, подстегнул пристяжку и оглянулся на меня.

— А это в Лубки. Там барышни Звягинцевы жили. Неужто не знаешь? Хорошие были барышни. Я их возил и гостей к ним возил. Хорошие барышни. Ласковые. Меньшая-то, Зоя Петровна, черноватая такая, господам больно нравилась. С ума по ней сходили. Как же это ты их не знал? Но, чаво там! — И дядя Григорий подстегнул своих лошадок. Мы поехали рысью.

Проехали Ивашково, Напольскую, и, когда стали в брод пересезжать речку, Григорий обернулся ко мне, покрутил головой, ухмыльнулся:

— История, понимаешь, с ней, с Зоей-то Петровной... Не приведи Бог, какая волынка была. Барин тут есть. В десяти верстах от них жил. Вот и приглянулась ему Зоя Петровна. А чудной барин. Образованный, всякие науки превзошел и

душевный такой... когда тверезый, а напьется — с кучером Федькой и пойдет чудесить: голый по деревне ходит — я, говорит, в раю, Адам, значит, первый человек. Собак, слышь, своих раскрасил.

Неспроста его Диким барином зовут. Один живет во всем доме. Он да Федька-кучер — тоже пьяница горький.

Старая барыня, маменька-то ихняя, в город уехала, не вытерпела этого безобразия. Может, слышал про Дикого барина? Гуревич его прозвище.

— Слышать-то слышал, а встречать не приходилось. Ну и что же этот Дикий барин?

— Да житья им от него не было. Вот поместье из-за него продали и уехали. Да ты об этом у Андрияшки спроси, он вроде как лакеем у них служил.

Эта история показалась мне интересной, и я стал спрашивать Андрияшку.

Оказалось, что он еще мальчишкой, лет тринадцати-четырнадцати, служил у барышень Звягинцевых. Зоя Петровна — художница, отправляясь на этюды, всегда брала с собой Андрияшку. Он ташил за ней мольберт, этюдник, зонт, стульчик и караулил ее во время работы. Одна она боялась отходить от дома.

— Сидим мы с Зоей Петровной на берегу пруда — она картину пишет, а я на травке валяюсь, — рассказывает мне Андрияшка. — Пруд очень большой, длинный, версты две будет. Время уже к вечеру, и тишина такая, что только комариков слышно. За прудом поле, а дальше лесок небольшой. Только слышим — колокольчик заливается. Ближе, ближе, из лесочка тройка вылетела. Я так и обмер. Дикий барин! Смотрю, летит тройка что есть духу, впереди две борзые собаки скачут. Одна красными полосами расписана, другая синими. Мчат все на нас. Барин в коляске стоит. Увидел нашу барышню и прямо на пруд тройку направил.

Барышня Зоя Петровна бросила палитру и кисти и со всех ног домой побежала. А уже тройка к берегу примчалась и с разлета в воду бултыхнулась и вскачь по пруду. Лошади прыгают в воде, барин гикает и кнутом их хлещет. Кричит:

— Зоя Петровна! Стойте... Не бегите, я все равно вас догоню!

Пруд этот у нас мелкий, и тройка по грудь в воде, прыжками. Выскакали на нашу сторону и уже почти выбрались из воды на берег, да левая пристяжная поскользнулась и упала,



запуталась в постромках. Дикий барин из коляски прямо в пруд прыгнул и, бросив тройку, выскочил на берег и помчался вдогонку за Зоей Петровной. У меня сердце зашлось от страха... Догонит он барышню. Что делать? Бросился я за ним вдогонку. Кричу: «Стой, барин! Стой!» Он как гаркнет на меня: «Убью, мразь! Не подвертывайся!» А барышня уже к дому подбежала, на террасу прыгнула и на мезонин влетела.

Я за ними бегу, не отстаю. Оглянулся, а за мной две полосатые собаки скачут. Ну, думаю, смерть моя пришла. Присел я на землю ни живой ни мертвый. Собаки мимо проскакали, даже не посмотрели на меня. Языки вывесили, мокрые, грязные, страшные. За хозяином ударились. Подбежал я к дому, спрятался за углом. Слышно мне, как Дикий барин по лестнице на мезонин вбежал и в дверь к барышне ломится.

— Отворите дверь,— кричит,— или я ее выломаю!

А барышня, Зоя Петровна, ему в ответ:

— Уйдите, Геннадий Сергеевич, или я и вас и себя застрелю!

Сижу дрожу за углом, не знаю, что мне делать, кого позвать. В доме только я да барышня остались. Кухарка и Дуняшка за ягодами ушли, а кучер Марью Петровну в город повез.

Слышу, Дикий барин тихим голосом стал упрашивать:

— Отворите дверь, я на вас только посмотрю и уеду. Жить я без вас не могу. Мне все равно один конец — или я застрелюсь, или сопьюсь и подохну где-нибудь под забором. Вы одна только можете спасти меня. Вы одна только можете сделать меня счастливым!

А барышня все одно ему отвечает:

— Уйдите, уйдите...

Вдруг слышу: трах! Выстрел... Кто выстрелил? Барышня? Или он? И тут по лестнице что-то загромыhalo, и все затихло... Долго была тишина. Потом дверь в барышнинной комнате с шумом распахнулась, Зоя Петровна вышли на лестницу да как вскрикнул дурным голосом и на пол упали.

Все это мне хорошо слышно было. Пойти посмотреть — боюсь. Долго я так сидел, слушал — тишина. Встать с земли не могу — ноги отнялись. Ну, наконец набрался я храбрости, взошел на террасу — и в комнаты... Подхожу к лестнице, что в мезонин ведет... Глянул и обмер — лежит барин, ноги на лестнице, а голова на полу, и под ней лужа крови. Я наверх взглянул — там на пороге барышня лежит и волосы по полу рассыпались.

Я еще мальчонком был — что делать, не знаю. Сижу на ступеньках террасы и реву. Спасибо, скоро пришли бабы, а тут и барышня Марья Петровна из города вернулась. Ну и поднялась кутерьма! И Зоя Петровна без чувств лежит, и барин с разбитой головой. Что делать? Доктора! А где доктора взять? Ну, барышня ничего, ее скоро привели в чувство.

Встала. А как вспомнила... Вскрикнула и бросилась к барину. Лежит он в луже крови. Попробовали пульс, как будто жив. Марья Петровна велит Степану скорей запрягать лошадей и везти барина в город в больницу. Побежал я тут к тройке, что у пруда осталась, выпутал пристяжную, подвел тройку к дому. Положили мы со Степаном барина в коляску и повезли в город.

Выжил барин-то. Пуля, слышь, вскользь прошла и только чуть черепную кость царапнула. Но все же два месяца он в больнице пролежал.

После этого случая я скоро от них в деревню к отцу ушел и не знаю, как они там теперь живут.





ФЕЯ БЕРИЛЮНА

Ну и погодка! С неба льется не дождь, а водопад! Небо поминутно распаивается, ослепительный свет, страшный треск и грохот, и все это в черной тьме.

Я и Анатолий едем в тарантасике домой, на Дикареву дачу. На нас нет ни одной сухой нитки. За шиворот по спине бегут холодные струйки, а тарантасик наш, как лоханка, полон воды. Вода плещется в нем, вода бурлит под колесами. В полной тьме нам кажется, что мы едем не по лесной дороге, а плывем на пароходе по реке и волны бьют о борт и колеса плицами шлепают по волнам.

Лошади не видно. Только слышно, как она разбрызгивает лужи. Куда она идет, куда она везет нас — это целиком на ее совести. Мы уже давно привязали вожжи к передку и доверились судьбе.

— А далеко нам еще ехать-то? — спрашивает Анатолий.

— Ты думаешь, я знаю, где мы едем? Я думаю, что мы проехали Сысы... а может, и не проехали. Тьма такая, что сам черт не разберет, где мы едем.

— Эх, хорошо бы сейчас надеть все сухое, — мечтает Анатолий, — сесть за стол, в комнате тепло, уютно, на столе лампа горит, всякие там антимоны на тарелочках. Налили бы мы

по рюмочке и закусили бы белыми грибочками в сметане... Ух! Даже слюнки текут...

— А мы вперед едем или пятимся? Потрогай колесо, куда оно вертится? Ну и тьма! Свою руку не видно... Приедем мы сейчас домой... Старуха спит, Андрияшка спит... не добудисься... Черт с ними, хоть бы под крышу... и то хлеб.

И опять мне кажется, что едем не вперед, а пятимся, и опять я трогаю колесо, чтобы убедиться.

Ноги по щиколотку в холодной воде, сидим в воде, и сверху льет вода.

— Пушкин вон любил ванну со льдом. Да ведь он не сидел в ней по три часа. Посидит минутку и вылезет... А мы сидим!

— Откровенно скажу: с меня этого водолечения с избытком довольно... Мне бы сейчас чая горячего с ромом! Хороши будут наши покупки! Баранки, конфеты наверняка в кисель обратились! Старуха ворчать будет. Троицын день через неделю! Да шут с ними, только бы до дома добраться.

Лошадь шлепает по лужам, вода бурлит под колесами. Дождь льет не переставая. Гроза как будто стала потише, но все же вспышки молний с треском и грохотом изредка освещают качающиеся от ветра деревья, струи дождя, сплошные лужи на дороге, нашу лошадь и нас, измокших, озябших.

Но всему бывает конец. Пришел конец и нашим мучениям. Мы подъезжаем к дому. К удивлению, мы видим свет в окнах. Значит, еще не спят. Но почему?

Лошадь поставлена под навес. Мы под проливным дождем мчимся через двор к дому. Тихонько вошли в переднюю, тихонько подошли к двери столовой и заглянули.

Что за дивная картина! На столе самовар, старуха домоправительница Аксиныя Николаевна и конюх Андрияшка сидят с довольными лицами и пьют чай, и с ними сидит... Кто бы вы думали? Сидит фея, самая настоящая сказочная фея.... Фея Берилюна из сказки Метерлинка. Сидит и тоже пьет чай. Если бы я увидел сидящего за чаем медведя или лешего, я, право, удивился бы гораздо меньше.

— Идем скорее переодеваться,— шепчет Анатолий,— сейчас мне что принцесса, что фея, что лягушка — все равно.

Мы немного потопали — из столовой выбежал Андрияшка, и с его помощью и с помощью старухи мы скоро были в сухом белье и в теплых одежках.

Когда мы вошли в столовую, фея большими, темными глазами доверчиво смотрела на нас. Фен, как известно, ма-стерицы творить чудеса. И наша фея тотчас же занялась этим. Повинуясь ее чарам, мы быстро согрелись, и между нами завязался дружеский, интересный разговор. Из него мы узнали, что наша фея живет в Хомякове у помещика Тимофеева, где она преподает французский язык и самой помещице, и ее дочери. В воскресенье у нее свободный день, и вот она пошла за грибами и заблудилась.

Тут уж началась самая настоящая сказка. В грозу и ливень она, испуганная и намокшая, набрела на наш домик. Совсем как в сказке о принцессе на горошине. А еще говорят, что сказки лгут! Нет, с этим я не согласен. В жизни бывают такие чудеса, что любую сказку за пояс заткнут.

Фея переночевала в нашем доме. Утром я отвез ее в Хомяково. Она спрыгнула с тарантасика далеко от дома помещика и пошла туда пешком. Я взял с нее обещание, что она будет, когда возможно, приходить к нам на Дикареву дачу.

В первое же воскресенье она пришла к нам утром, и с этого дня чудеса гурьбой полезли в наш дом.

Она пришла к нам в простеньком сереньком платьице, и только на шейке у нее было жемчужное ожерелье, конечно, искусственного жемчуга. Ни серег, ни колец у нее не было. Она не нуждалась в украшениях — все в ней было просто, естественно и прекрасно. Прекрасно своей простотой и правдой. Она не была классической красавицей... нет... но она была обворожительна. Ее улыбка, ее голос, ее ласковые глаза, большие темно-серые, ее движения, полные грации, все это вместе было так хорошо, ну просто глаз не оторвешь.

Она попросила показать ей наши этюды, наброски, картины. Это было ужасно! Что мы могли показать ей? Леня крепко засела в нас. У нас было всего пять-шесть незавидных, неоконченных этюдинов. Вот и все. Мы сгорели от стыда. Мы стали ей врать, что все наши работы находятся в Москве, что там и наши картины, которые мы готовим на осеннюю выставку.

Фея глядела на нас доверчивыми, правдивыми глазами, и мы путались в своей лжи и краснели. Она недолго погостила у нас и ушла, попросив, чтобы мы ее не провожали.

И тут совершилось первое чудо! Как только она ушла, мы бросились к нашим этюдникам, стали чинить мольберты, делать подрамники, отскребать от засохших красок палитры, натягивать холсты, отмывать кисти. Лени как не бывало.

Анатолий, навьюченный художественными доспехами, спешно отправился в лес. Я вывел из денника Орлика, привязал к телеге и стал писать его. После долгих прогулов работа подвигалась медленно, со скрипом. Пишешь и чувствуешь, что это все не то, чего-то нет, что-то надо найти, найти самое главное, найти правду жизни. К вечеру пришел Анатолий, принес два этюда и тоже недоволен.

Я где-то вычитал, что Чайковский говорил так: в первый день не вышло — делай то же на другой день, не вышло — делай на третий, на пятый, на десятый, а на одиннадцатый, может, и выйдет.

И мы стали работать. С каждым днем работа становилась легче, жизни в этюдах больше, краски прозрачней и воздух заструился. На одиннадцатый день вышло. Пришла фея и с доброй улыбкой смотрит на нашу работу. Милая фея Бериллюна!

Мы с ней подружились, хорошо, крепко подружились и стали называть ее Марго. Когда мы называем ее феей, она смеется и говорит, что она вовсе не фея, а обыкновенная девушка из местечка Бельвиль, недалеко от Парижа, и ее зовут Маргарита Линиже. Но мы не верим ее словам и крепко убеждены, что она фея. Иначе откуда взялись бы все эти чудеса. Только фея могла изменить нас и превратить из убежденных лодырей в трудолюбивых юношей. Только фея могла превратить нашу мастерскую из захлавленной конюшни в настоящую студию, всю завешанную этюдами и эскизами.

Когда она долго не приходит, мы начинаем скучать, бродим, как осенние мухи, печальные, хмурые. Когда она приходит, у нас сразу повышается настроение. Мы всячески стараемся сделать ей что-нибудь приятное. Мы катаем ее в тарантасике по лесным дорогам, мы учим ее стрелять из ружья, бегаем наперегонки, учим ее ездить верхом — ну, словом,



придумываем все, чтобы доставить ей удовольствие. И фея полюбила нас, и у нас она отдыхала душой и веселилась вместе с нами.

Как-то Анатолий сказал:

— А ведь может случиться, что мы в нее влюбимся или она влюбится... Сейчас она просто любит нас как друзей, а кто знает?

— Но ведь согласись, Толя, что она чудная девушка, добрая, ласковая, умная. Встретим ли мы с тобой другую такую же милую, такую же хорошую? Вряд ли встретим. Дураки мы с тобой. Ничего в жизни не повторяется. Упустил случай, и баста — не воротишь.

Так и случилось. Мы влюбились в нее по уши.

Как в тумане мы бродим, и все наши мысли, все желания все только о ней, только о нашей милой фее.

В бурю, в грозу появилась она у нас, но теперь гроза утихла, засияло солнце, наступила пора светлой радости.

Но недолго была эта пора. Среди ясного неба грянул гром. Пронесся вихрь, разметал, разбил все наши надежды, всю нашу радость. Он унес нашу милую фею... Это было так неожиданно, что мы не сразу поняли весь ужас нашей потери. Нас как будто стукнули кувалдой по голове. Это случилось в полдень, когда мы только что собрались обедать. Пришел Вася Муратов из Хомякова и принес письмо. У меня сердце сразу забило, и я дрожащими пальцами

разорвал конверт. Там крупным, округлым почерком было написано... У меня потемнело в глазах, я чуть не лишился чувств. С трудом я прочел: «Прощайте, я должна вернуться на родину. Мне очень трудно оставить Вас. Я полюбила Вас. Но я должна ехать. *Ваша Марго*».

Вот и все. Вот и вся сказка о фее Берилуне.





ПОШУТИЛИ

Из леса вышли два охотника. У каждого висел на поясе заяц. Выйдя из леса, они пошли напрямик через вспаханное поле, направляясь к дороге. Через поле идти было трудно. Охотники спотыкались о вывороченные глыбы, вязли в густой грязи. На сапогах у них налипла большими комьями глина. За ними шли две гончие собаки... Был поздний осенний вечер, по небу ползли тяжелые тучи. Временами брызгал холодный мелкий дождик. Становилось все темней и темней, и уж с трудом можно было разобрать, что по дороге двигалась рессорная тележка, запряженная парой лошадей.

— Это ереминские фабриканты едут,— проговорил высокий охотник.— Ишь погоняют, у самих небось душа в пятки ушла! Сейчас Диулина гора будет — лес, глушь! На Диулиной горе не поскачешь, а там, брат, дорога такая, что и шагом еле-еле проползешь. Вася, пугнем этих живоготов! Не все же им рабочих запугивать! Пусть и сами потрясутся маленько. Так, в шутку пугнем. Разочка два выстрелим. Им нас не видно за кустами. Вот припустят, вот дрогалия дадут...

Вася молча снял с плеча ружье, и — бац, бац! — грянули два выстрела. За кустами в густых сумерках им было плохо видно, что происходило на тележке. Было только слышно, как фабриканты стали гнать и нахлестывать лошадей и те-

лежка затарахтела по ямам и колеям дороги. Неожиданно из тележки сверкнули два огонька и щелкнули два револьверных выстрела.

Вася со стоном дернулся и сел прямо в грязь.

— Вася, Вася! Что с тобой, Вася? Ты что, заболел?

— Я готов...— промычал Вася.

— Как готов? Что ты говоришь?

— Меня убили... понимаешь, убили!

— Вася, не мели чепухи... Что с тобой?

— Ой, рука, рука. Пропала рука...

Вася правой рукой обхватил левую выше локтя и застонал...

— Вот это так пошутили,— пробурчал сквозь зубы высокий охотник.— Ишь, сволочи, осторожные.... с револьвером ездят. Ну и они лихо труса отпраздновали, ишь, мерзавцы, тарыхтят. Гонят! Вставай, Вася, я постараюсь перевязать тебе руку.

Кое-как стащили куртку. Рукав белой рубашки был весь в крови.

На руке сорвана кожа, и из раны сочится кровь. Рана оказалась не глубокой. Оторванным рукавом рубашки высокий перевязал рану, а носовым платком перетянул руку у подмышки, и кровь почти перестала течь.

— Пойдем, Вася, лесом пойдем. Нам не надо выходить на дорогу.

Как настоящие разбойники, лесом пробрались они к себе на Дикареву дачу.

Их никто не видел, да и увидеть в такую темень было невозможно. По дороге ехал домой только один пьяненький мужичок и горланил песню.

Дома охотники отослали конюха Андрияшку ставить самовар, а бабушку Аксинью Николаевну попросили приготовить яичницу. Отделавшись от лишних любопытных глаз, Алеша перевязал Васе руку. Нашлась даже какая-то медовая мазь, необыкновенно быстро заживляющая раны.

Поужинали и легли спать. Прошло три дня. Рана у Васи зажила, и об шутке почти забыли.

— А, сама власть предержащая пожаловали! — воскликнул высокий художник, встречая урядника.

— Здравия желаю, Алексей Никанорович! — рявкнул урядник, делая под козырек.

— Ну, заходи, Клим Лукич! Садись! Озяб?



— Так точно, Алексей Никанорович, студено!

— Ну ничего, сейчас согреешься. У меня перцовка есть такая, что при любом морозе в жар бросит! Ну, как у нас? Все спокойно?

— Я сейчас от господина Кулакова Артамона Ельпидифоровича. Он меня к себе в контору вызывал. На него ограбительное нападение было. Возле Диулиной горы. Пять человек напали. С ружьями. Говорит, насилиу отбились! Большой лежит теперь Артамон Ельпидифорович-то. Сильно напугался. Мне наказывал: «Ты, говорит, Клим Лукич, беспреренно найди этих разбойников». Я и без его наказа вот уж третий день по округе рыскаю. Следы разбираю. Сказывают, хомяковский пастух каких-то двоих видел с ружьями. Незнакомые люди... Пастух-то овцу искал, да сам и заплутался в лесу. Двоих видел, и с ними две собаки. Ты не бойся, Алексей Никанорович, мы их найдем, беспреренно найдем. Куда им деться? Еще сказывают, Васька Муратов выпивши ехал, тоже видел двоих, по лесу хоронятся. Возле хомяковских стогов их видел. От нас они не уйдут — найдем.

— Так, Клим Лукич, ищите... Только я все думаю, что вам их не найти. Это, наверно, опытные бандиты. А что пастух видел, я не верю. Он охотников видел. С собаками бандиты не ходят. Хомяковский пастух — старик и к тому же куриной слепотой болеет. Как он все стадо не растерял? Я удивляюсь!

Вы знаете, Клим Лукич, как у этих разбойников бывает? Вы за ними следите, а они за вами. Чуть зазевались, чик из обреза, — и концы в воду. Да и какой смысл их ловить? Добро бы большую сумму украли. А то так, только пошумели. Только пошутили.

Урядник искоса посмотрел на Алексея Никаноровича и ничего не сказал.

Он подумал: «Пошутили!! Хороша шутка! Человек третий день в постели лежит. Пошутили! За такие шутки не хвалят, по головке не гладят!»





ДЕД МОРОЗ

Большая поляна полого спускается к оврагу. На ее нижнем конце пруд. Вокруг пруда растут старые березы. Большие, красивые березы. Под ними летом — белые грибы, а зимой по вечерам на них присаживаются тетерева и оклевывают почки. В верхнем конце поляны в давние времена стояла избушка на курьих ножках и в ней жила баба-яга, а теперь тут стоит Дикарева дача и живет в ней дикарь. Дикарь — это я. Кругом лес. До села версты две. В селе живут люди. Люди как люди. По будням они работают, а в праздник пьют водку, поют песни, иногда дерутся.

Дикарь живет в лесу — по праздникам к обедне не ходит, водки не пьет и с гармошкой по селу не гуляет. Дикий человек. Старухи на селе шепчут, что дикарь — колдун и у него дурной глаз: на человека может хворь напустить, скотину сглазить. Такого колдуна и убить — греха нет, а даже сорок грехов простится.

На Дикаревой поляне есть большой пенёк, старый замшелый пенёк — так на этом пне, по рассказам стариков, в давние времена леший по ночам сидел и на дудочке колдовские песенки наигрывал. Если не верите, приезжайте и сами увидите. Зимой поляну заносит сугробами снега, и только зайцы

водят на ней при луне хороводы да ветер кружит снежные вихри.

На Дикаревой даче тишина. Еще только шесть часов, а уже темно, небо все в звездах и мороз крепкий. Тишина такая, что слышишь, как стучит в груди сердце. Изредка в лесу треснет от мороза сучок или стукнет рогом о стену задремавшая корова. Я стою на крыльце и слушаю тишину. Чу! Как будто шаги скрипят по лесной дороге. Все ближе, ближе. На освещенную луной поляну кто-то выходит. В мохнатой шапке, в полушубке, в меховых рукавицах, в громадных валенках. Да ведь это сам Дед Мороз! Дед Мороз подходит к крыльцу.

— Здравствуй, Лексей Иканорыч!

Снимает рукавицу и подает заскорузлую руку.

— Заходи, дядя Карп, заходи!

Я ташу его в дом. В прихожей дядя Карп отряхивает снег с валенок, снимает полушубок, отдирает сосульки с усов. Теперь уж он не похож на Деда Мороза — он в синей домотканой рубаше, с русой бородой, волосы острижены «в скобку».

Лицо у дяди Карпа красивое, с прямым носом, худощавое, настоящее русское лицо, как на старых иконах. Он садится поближе к печке, от которой пышет жаром. На столе появляется самовар. Долог зимний вечер, сидим разговариваем и чашек по пять, по шесть со сливками и бубликами выпиваем. Самовар поет песенку, потрескивает угольками.

Я беру карандаш и бумагу и начинаю рисовать дядю Карпа.

— Смотрю я на тебя, Лексей Иканорыч, и диву даюсь, как это у тебя рука сама по бумаге бегает. Ты со мной балакаешь, а она сама свое дело справляет. Чудно... Вот бы мне такую руку иметь... А то что моя рука? Только дрова рубить...

— Ты так не говори, дядя Карп! Твоя рука тебя кормит, и нечего ее хаять...

Вспоминаем совместные охоты.

— А помнишь, дядя Карп, как ты русака среди деревни убил? Вот была потеха! Ребятишки его схватили да с ним бежать, а Румянка у них его отняла да ко мне... Русак здоровенный, бежать ей трудно... Положит на землю, отдохнет немного, а ребятишки близко, опять схватит зайца и ко мне старается его донести. Ты-то был рядом, а тебе она не дала.

Ко мне принесла, хоть и трудно ей это было. Румянка никогда никому, кроме меня, зайца не отдаст. Умна и чутыста, не с Найдой сравнить.

Дядя Карп перевернул чашку, положил на донышко огрызок сахара и, отодвинувшись от стола, сказал:

— Годов пять тому назад жил у нас в селе человек. Чудной человек, не то мужик, не то барин — не поймешь. Плохо жил, в нужде, еле-еле кормился. И чего только он не пробовал: и сапоги шил, и кроликов разводил, и картины пытался писать, гуталин варил, а под конец спичечную фабрику затеял. Начнет, а до дела довести не может и уж другое затевает. Толку от его затей ни на грош. А потом повадился этот человек (его звали Фома Кузьмич) со мной на охоту ходить. Ружьишком где-то обзавелся, так — шомполка плохонькая. Стрелять он был не мастер — хуже меня. По бегущему зайцу обязательно пропуделяет... Пошли это мы с ним как-то за кuniцей. Мороз крепкий, лыжи скрипят — за версту слышно. Бежит куний следок все низом, низом. Снег глубокий, и на деревьях навесь большая. На каждой веточке бугорком снег лежит. Только вон взметнулся след на елку и пошел верхом.

Немного пройдя, на осине беличье гайно. Обошел я круг — выхода нет. Значит, съела белку и лежит в гайне. Прицелился я, выстрелил, а Фома Кузьмич за моей спиной был. Как вскрикнет он дурным голосом. Я обернулся, а он на снегу лежит, рукой глаза закрывает. Испугался я — страсть! Кое-как кунцу подобрал, а хороший кот, черный, пушистый, и опять к Фоме Кузьмичу. Поднял я его, вижу — глаз в крови и сам он еле на ногах стоит. Кое-как довел до большой дороги, а тут, на счастье, от Троицы наши мужики едут порожним. Ну, сели мы с ним и доехали до дома, а там я лошадь запряг и в город его повез, в больницу. Два дня в больнице полежал — помер. Дробина-то, слышь, от мерзлого сучка рикошетом



отскочила и прямо ему в глаз угодила. Такой уж был мужик незадачливый.

Дядя Карп покрутил головой и прибавил:

— А хороший был человек, душевный. Последнюю копейку отдаст.

Однако время-то позднее! Прощевай, Лексей Иканорыч. Спасибо за угощение.

Мой гость встал, неторопливо оделся. Я вышел с ним на крыльцо. Луна старалась изо всех сил, ибыло светло и сказочно, и опять дядя Карп стал превращаться в Деда Мороза, и чем дальше уходил, тем все больше и больше походил на елочного Деда. Вот он дошел до леса и уже наполовину скрылся за убранной снегом елкой, и вот уже только слышны шаги по морозному скрипучему снегу. Прощай, Дед Мороз! Не забывая соседа, приходи!

О ВОЛКАХ

Входит дядя Карп. Лицо загадочное, что-то знает, а молчит. С бороды сосульки снимает.

— Ну, дядя Карп, говори, что у тебя там? А?

— Запрягай, Лексей Иканорыч, Чалка, поедем.

— Куда, дядя Карп? Зачем?

— В Напольской у Федьки Кабана корова сдохла. Ты дай ему на бутылку, а корову мы отвезем в Сысы на поляну. Понял?

— Как не понять,— говорю.— А где прошел?

— След печатный, в Савищах овраг перешел.

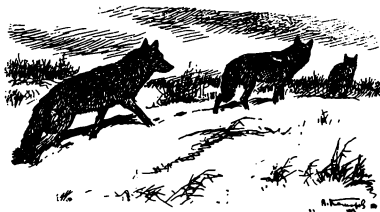
— Ладно, едем.

Разрубили у Федьки Кабана корову на две части, насилу навалили на сани, отвезли в Сысы. С трудом свалили, стараясь с саней на снег не слезать, чтобы не было человеческих следов у привады.

Кругом поляны стоят старые ели, задумались, на своих деток любят, а молоденькие елочки по поляне разбежались, на солнышке греются. Свалили корову и едем тихо, молчим. Волк наверняка недалеко лежит, где-нибудь в чащобе, и уже запах от нашей коровы чувствует.

Сидим в санях и шепотом разговариваем, мечтаем, как волка обложим, как его картечью на ходу ухлопаем.





Насилу дождались другого дня. Бежим на лыжах в Сысы. Ш-ш-ш... Вот он, след-то. Через овраг перешел и к приваде идет.

— Смотри, Карп, а где же задняя часть?

Подошли ближе и видим — идет волчий след от привады к оврагу и с двух сторон у следа снег прочерчен. Видно, он нес в зубах крестец коровы, а ее задние ноги чертили по снегу. Ну и силища! Мы этот крестец с задними ногами насилу вдвоем на сани навалили, а он один несет его в зубах, как зайца.

Перешел волк овраг и на другой стороне в крупном лесу лег. И сейчас, видно, лежит там, и около него мясо. Все это нам ясно, потому что над волком на вершинах елей сидят вороны и ждут, когда и им будет возможно полакомиться говядиной. Волк тут. Скорей домой за флажками и... Что-то нам судьба готовит? А судьба нам готовила сюрприз. Бегу я с флажками, окидываю оклад и набежал на волчий след.

Учуял нас, негодяй, и ушел.

Стаял снег на нашей поляне. Только в лесу еще под елками белест. Только что зазеленела молодая травка. Выпустили овец — пусть погуляют, и сижу рисую для «Светлячка». Вбегает Андрияшка.

— Алексей Никанорович! Какие-то две собаки за овцами гоняются.

Выбежали, смотрю — два волка. Бросился за ружьем. Бежим что есть духу по следу. Ни волков, ни овец. Только от овец ясный след по сырой земле и кое-где снег глубоко копытцами проткнут. Вот лежит овца, брюхо разорвано и половина ягненка в брюхе. Скорее дальше. Вот две овцы с распоротыми животами, и в них тоже ягнята. Еще и еще. Восемь овец нашли зарезанных. Скорей, спасти бы остальных. Бежим, задыхаемся, глядим, под елкой наши овцы стоят, трясутся. В кучку сбились. У одной на шее рана, но она жива, только очень испугана. Эта овечка два дня тряслась, думали, что издохнет. Нет, ожила и долго еще прожила, и ягнят от нее много было.

Овечек своих мы загнали домой. Вот какие собачки за овцами гонялись.





ДЯДЯ ГРИГОРИЙ

— Запрягать, что ли? — кричит Григорий, выбегая без шапки из трактира.

— Запрягай, — отвечаю я с извозчика.

Григорий — мой постоянный ямщик, он из Троице-Сергиевой лавры, возит меня за двадцать верст в Марьину пустошь или, как называет народ, на Дикареву дачу. Это мой маленький хуторок в лесу.

Сейчас Григорий запряжет парочку рыжих лошадок в большие сани, я устроюсь, полулежа, на сене, закутаюсь в шубу — и пошел!

Сергей Иванович Шувалов, немного картавя, будет говорить:

— С Богом, с Богом, скатертью дорога! — и будет бестолково суетиться около саней. — Алексей Никанорович, вот я вам дам осьмушку нюхательного табака. Всякие люди бывают. Дорога дальняя. Вы ему в глаза табаком, табаком.

Шувалов — мой придворный поставщик. Его лавочка на Переяславской улице, там продаются хомуты, конфеты, сахар, деготь, баранки, колесную мазь. Я забираю у него овес, чай, сахар и прочие деликатесы. В его дворе я оставляю лошадь, когда еду ненадолго в Москву.

Григорий, несмотря на свои шесть десятков, легко прыгает на ходу на козлы. Лошадки бегут ровной рысью. Выехали за город в поле. Ветер резкий и мороз крепкий, градусов 25 — 30. Метет поземка, и в лицо бьет колючим снегом. На Григории старенький полушубок, на плече прореха и синяя рубаха видна. Мне за него холодно, а он ничего, знай покрывает:

— Но, чаво там!

Повизгивают полозья, заливаются колокольчик. Вот и Диулина гора. Летом тут дорога «срамная», как говорит Григорий, гать из гнилых бревен, ну а зимой ничего, хорошо. С двух сторон стоят старые высокие ели, седой мороз окутал их стволы и ветви. С унылым криком перелетел с одной ели на другую черный дятел. Я лежу в санях, наслаждаюсь. Не торопясь бегут лошадки. Не скоро меняются зимние пейзажи. Вот маленькая деревушка Сельниково, всего пять дворов. А вот на горе видно Ивашково — это значит полдороги проехали.

Григорий то соскочит, пробежит немного, то опять вскочит на козлы, рукавицами похлопывает, кнутиком помахивает. Проехали Ивашково, Напольскую, проехали сбоку Хомяково и стали спускаться в овраг. Занесло овраг снегом, дороги не видно. А поднимаясь из оврага, завязли. Прыгают лошади в глубоком снегу. Попрыгали, попрыгали и легли. Мы на них сани надвигаем, сами по пояс в снегу. Нет, глубокий снег, лошади ногами до земли достать не могут. Побежал Григорий в Хомяково. Я сижу жду. А уж вечереет.

Вот и Григорий, с ним Василий-кузнец. Оба с лопатами. Отребли с дороги, вывели на дорогу лошадей. «Спасибо, дядя Василий». Теперь уж близко. Приехали. Прыгают на меня собаки: и Поражай, и Ту-Ту, и Румянка, и Найда.

— Раздевайся, дядя Григорий, давай чай пить!

Чай для Григория основная пища. Чай да баранки — ему ничего больше не надо. На столе самовар поет веселую песенку, на чистой скатерти молочник со сливками, гора бубликов свежих, колбаса, сыр.

В комнате тепло. Сидит дядя Григорий в синей чистой рубахе, пьет чай вприкуску, бублики в чае мочит и явно наслаждается и теплом, и отдыхом, и чаем.

Лошадей он выпряг, поставил в сарай к корму. Он у меня переночует.

Пьем чай, разговариваем.

— Расскажи, дядя Григорий, как ты купца в Калязин возил.

— Что рассказывать-то? Меня дохтур тогда ругал, ругал... За что ругал? С ума, говорит, ты сошел, что ли, старый дурак, с переломанной ногой в Калязин едешь, а потом два дня дома лежишь. Бить, говорит, тебя надо. Ведь ты, говорит, ногу потерять можешь. Такой дохтур сурьезный, дай Бог ему здоровья. Вылечил меня, ничего, нога в целости.

— Как дело-то было, Расскажи.

— Повез я, значит, купца в Калязин. Купец сердитый такой, собой видный, как боров толстый, на меня кричит: «Гони, старый черт! Что ты, кислое молоко везешь, что ли?» Ну я подстегиваю коренного. Да, знать, больно стегнул, он и ударил задом, да мне по ноге. Плохо дело — нога-то перебита, а ехать еще далеко. Верст десять отъехали, не больше. Купец и слушать не хочет. «Вези, коли взялся. У меня,— говорит,— дело безотлагательное».

Приложил я к ноге кнутовище, с пристяжной вожжу снял да вожжей-то и замотал, крепко замотал. Отвез купца в Калязин. Ничего, купец доволен. «На,— говорит,— тебе четвертак на водку».

Вернулся я, значит, домой, лег на лавку, лежу. День лежу, два лежу. Терпенья не стало — нога болит. Говорю бабе, чтобы отвезла меня в больницу. Вот тут дохтур и начал меня ругать. Сурьезный дохтур, дай Бог ему здоровья! Вылечил. А ругал сильно.





ЛАВОЧНИК

Я приехал из Москвы в Троице-Сергиевую лавру и теперь еду по Переяславской улице в лавочку Сергея Ивановича Шувалова. В Москве я был у Сытина в «Светлячке», побывал у знакомых, у друзей, набрал много работы и теперь еду к себе на Дикареву дачу, где буду в тиши и уединении рисовать всяких зверушек.

Лавочка Сергея Ивановича — это справочное бюро, это станция на пути в Дикареву дачу, это пункт снабжения продуктами питания и фуражом. Сергей Иванович в долгополом кафтане неопределенного цвета, выгоревшем и засаленном на груди и рукавах. Сергей Иванович никогда не улыбается, никогда не меняет выражения своего лица. Он всегда серьезен, всегда занят делом. Шутить с ним не надо — на шутку он или обидится, или рассердится. Не каждый понимает шутку. Разговаривать с Сергеем Ивановичем лучше всего на религиозные темы. Он состоит в Союзе Михаила Архангела. В большие праздники он надевает торжественный кафтан с золотым позументом и несет хоругвь. Это торжество наполняет его гордостью до предела, и на всех остальных людишек он смотрит с высоты своего величия. Союз Михаила Архангела был самой черносотенной организацией — это была банда, устраивавшая еврейские погромы, избивавшая студенческие



демонстрации. Я не думаю, что Сергей Иванович сам участвовал в погромах, но он им, конечно, сочувствовал. В его скучной, однообразной жизни была одна яркая страничка, и он любил о ней рассказывать. Готовилось открытие мощей Серафима Саровского. Союз Михаила Архангела послал туда за счет Союза нескольких наиболее «почтенных» членов, и в их числе и Сергея Ивановича. Торжество открытия, все эти пышные церемонии богослужения, богатые ризы высшего духовенства, множество архиереев, митрополит, монахи, сановные особы и толпы каких-то юродивых, бесноватых кли-

куш, калек, всякого бродячего отребья, всяких святош, таскающихся из монастыря в монастырь — все это поразило Сергея Ивановича и навсегда врезалось в его память. Но самое яркое воспоминание оставило в нем «чудо», в котором ему пришлось самому принять деятельное участие.

Он, по его словам, выгнал беса из молодой женщины. Он приложил ее к раке Серафима Саровского. Когда он рассказывал мне этот случай, то, не довольствуясь словами, хотел наглядно показать, как это произошло, для этого он закричал проходившей мимо бабенке: «Тетка Матрена, тетка Матрена! Дело есть, зайди на минутку, дело есть!» В лавку зашла недоумевающая тетка Матрена. Сергей Иванович, не говоря ей больше ни слова, схватил ее за голову, нагнул и приложил к прилавку. «Вот так, Алексей Никанорович, я приложил ее к святой раке». Тут он повернул за плечи тетку Матрену к двери и с досадой сказал: «Ну чего стоишь? Проходи своей дорогой!»

Удивленная баба что-то пробормотала и вышла.

И зиму и лето Сергей Иванович находится в своей лавке. Зимой в ней такой же мороз, как и на улице. Летом в распахнутую дверь летят с мостовой облака пыли и рой мух. Она полна товаром. На полках стоят банки с конфетами, мятными пряниками, сахаром, горки чая. Около прилавка бочонок со сметками, другой с селедками, кули с овсом, мешки с мукой, на стенах висят хомуты, уздечки, связки кнутов, у стены ящики с колесной мазью, некрашенные дуги. Иногда в лавке сидит жена Сергея Ивановича, громоздкая, мрачная, молчаливая, похожая на ломовую лошадь; иногда сын Коля, тоже крепкий, крупный парень с русским лицом. Коля разъезжает по округе и торгует скотом. В лавке стоит стойка с коромыслом, на котором висят большие медные чашки, на одной из них всегда лежит фунтовая гиришка. Ходят слухи, что под эту чашку Сергей Иванович подлепляет медный пятак. Но проверить равновесие чашек невозможно из-за фунтовой гиришки, и это так и остается только слухом, так сказать, торговой тайной.

Через двор у Сергея Ивановича стоит двухэтажный дом. В нижнем этаже живут жильцы, а верхний состоит из парадных комнат — это чистая половина. Один раз Сергей Иванович показал мне эти парадные комнаты, в которых два или три раза в год бывают гости: родня, батюшка с причтом и почетные члены Союза Михаила Архангела.

Убранство комнат было строго выдержано в мещанско-купеческом стиле. На окнах кисейные занавески с узорами, по стенам базарные стулья, обитые пестрым ситцем, на полу полосатые дорожки, пол крашеный, до блеска натертый, на стенах олеографии с портретами каких-то архиереев.

Но главное великолепие представляет кровать — высокая, с горой подушек, с атласным одеялом и с кружевными накидками. Не кровать, а поэзия.

Но хозяева не живут тут, они не спят на этой кровати, не любят на портреты архиереев, не ходят по ковровым дорожкам. Где же живут хозяева? Живут они в каморке рядом с лавочкой, в тесной полутемной каморке, загороженной русской печью, тремя кроватями с красными засаленными наволочками на подушках, с засаленными же лоскутными одеялами и какими-то лохмотьями и старыми полушубками, которыми они покрываются. В каморке тесно, утарно и жарко от печки, едят из одной чашки, строго соблюдая посты.





НАСТАЛИ СВЯТКИ

В мой тихий лесной домик пришли ряженные. Они конфузятся, жмутся друг к другу и только хихикают. Их человек десять — девушки и парни. В вывороченных полушубках, с намазанными углем усами. Девушки одеты парнями, а парни девушками. Я веду их в большую комнату, сажаю на стулья и прошу не церемониться и петь-плясать. На диване тут же сидит мой гость Олав Бергрэн. Широко раскрытыми голубыми глазами он смотрит на этих детей природы — русских крестьян. Мой гость приехал из Стокгольма, чтобы лучше постичь этот дьявольски трудный русский язык, который он изучал у себя дома, и очень доволен, что пришли эти ряженные и он послушает русские песни, посмотрит русские пляски.

Вижу, что Олав смотрит с интересом и ждет, что будет дальше. Надо сделать так, чтобы эта молодежь не стеснялась, а развернулась вовсю. Своей старухе домоправительнице я тихо говорю, чтобы она принесла ветчины, хлеба, сладкой наливки для девушек и бутылку рябиновки для парней, и, конечно, орехов, пряников и конфет. Старуха ворчит, но все же на столе появляются и вино, и закуски, и сласти. Девушки сначала отказываются, прячутся друг за другом, но все же выпивают по стаканчику наливки. Парни не отказываются. Разговоры стали громче, лица веселей. Вася Муратов растянул

гармошку. Девушки сначала робко, а потом дружно подхватили, и полилась русская песня: «Во саду ли, в огороде». Все выпили по другому стаканчику, и веселье развернулось еще шире. Красивая, бойкая Лушка Кузнецова выскочила на середину комнаты, затопала каблуками и, ловко перевернувшись, пошла частить, размахивая платочком. Васька Муратов заиграл плясовую.

— Ех, ех, ех! — взвизгивает Лушка. — Мой миленок на заводе одевается по моде.

Ее хорошенькая мордашка с намазанными усами дышит весельем. Вот и Анютка Лехтеева вышла на середину, и Санька, и Феня, и даже скромная, застенчивая Дашенька. Веселье в полном разгаре. Весь пол усыпан ореховой скорлупой и бумажками от конфет. Спели: «Вдоль да по речке». Разошлись и парни. Васька Карпухин, повязанный красным платком, пустился вприсядку, его круглая рожа с белесыми бровями и улыбкой до ушей была так комична, так напоминала плохо выпеченную булку, что мой швед, уже не стесняясь, смеялся и кричал: «Браво!» Песни сменялись частушками, плясками, гармошка Васька Муратова выделявала чудеса. Вскочил с дивана и Олав Бергрэн и тоже пустился в пляс. Он уловил ритм и характер русской пляски, и у него дело пошло на лад. Смотрю, он уже обнимает Лушку, а она хохочет и взвизгивает. Я кричу ему: «Браво!» — и обнимаю свою старуху стряпуху. Лушка пляшет и поет.

— Хомяковские ребята захотели молока, они сели под козову, а попали...

Парни хохочут.

Все угощение съедено, все вино выпито. Полушубки давно сняты, да и все уже сняли свои маскарадные костюмы. Девки смыли под умывальником свои усы, и теперь приятно смотреть на их свежие смеющиеся личики.

В комнате жарко и от натопленной печи, и от ламп, и от народа. Все садятся и отдыхают, от всех пышет жаром. Ну что ж, надо прощаться. Одиннадцатый час. Благодарят, прощаются и выходят гурьбой в сени.





АНДРИЯШКА

Теплый, даже жаркий летний день. Над пасекой вьются пчелы. Они, как пули, носятся во все стороны. На прилетных досках они не задерживаются, не любуются красивыми облаками, не шепчут на ухо друг дружке скандальные новости из соседнего улья, они быстро пробегают мимо сторожей и исчезают в темноте родного дома. Скорей, скорей надо положить в ячейку последнюю каплю меда. Скорей, скорей надо заготовить душистую еду для подрастающей смены. По пасеке ходит в холщовом халате Кузьма Фомич, покуривая «козью ножку». Он поджидает, что вот-вот из старой колоды выйдет рой, да вон и та колода что-то подозрительна, как-то недружно летают пчелы и у летка кучами сидят. Кузьма Фомич обошел все колоды и только вон за теми кустами не осмотрел два улья. Там были ульи Дадана, и на них у Фомича была главная надежда. Обошел кусты Кузьма Фомич да так и ахнул. Там стоял только один улей, а от другого остались лишь колышки да днище.

Украли! На утренней заре уташили!.. Но ведь дно-то от улья осталось. Пчелы-то все могут свободно вылететь. Ну и дадут они ворам взбучку... На траве ясно видны следы по росе. Припустился Кузьма Фомич по следу между кустами орешника в лес. Далеко не унесут... И правда — смотрит, на

траве на боку валяется улей и рядом с ним рыжеватой кучкой сидят пчелы и много их летает кругом. А трава кругом вся помята — видно, катались по ней в отчаянной схватке с пчелами. Пошел по следу дальше. Вон какими прыжками помчались ребята. Вот дураки! Летки заткнули, а дно оставили!

Вернулся Фомич домой, развел дымарь, надел на себя и на Андрияшку сетки, потуже завязали рукава, обвязали шеи. Надо поставить улей на прежнее место, а пчелы все прилетят в него сами. Андрияшка смеется: «Я,— говорит,— завтра узнаю их, морды-то во как разнесет. Что смеху будет... Девки задразнят...»

Завтра будет воскресенье, и Андрияшка мечтает пойти погулять в село. Завтра к вечеру он наденет шелковую рубашку, лаковые сапоги, попросит у Марьи Сергеевны душков. Но вот что всегда огорчает Андрияшку — рожа-то круглая, а вот шея тонковата. Ничего бы, сошла, шея как шея, да вот хомяковские красавицы выше ценят парней с толстыми шеями. Как тут быть? И Андрияшка, презирая страдания, просит Кузьму Фомича присадить ему на шею двух пчелок. По одной с каждой стороны.

Pur efre felle ile faux sofure — красота требует жертв. Андрияшка умом и сердцем постиг эту истину. С распухшей шеей Андрияшка надеется иметь полный и блистательный успех у Лушки Карпухиной.

Вот и воскресенье. Погода дивная. Все цветет, все поет. День для Андрияшки тянется невероятно долго. Но вот наконец скотина стоит в сарае, лошади в денниках — все накормлены, все напоены. Андрияшка неотразимым франтом с сияющей физиономией отправляется в Хомяково. Скоро его не ждите... Он придет на заре. Не раньше.

Проходит ночь. Как она проходит, это навсегда останется тайной. Наутро является наш Андриян Иванович Баранчиков, наш герой, хомяковский Дон Жуан. Но, Боже, в каком он виде... «Была игра, могу сказать!» Ворот шелковой рубахи разорван, один рукав у пиджачка болтается, левая скула со здоровенной ссадиной, весь в грязи. Он угрюмо и скоро скрылся за своей перегородкой и вышел оттуда в своем стареньком пиджаке, в старой рубахе и в опорках. Хорошо погулял. *Cherche la femme*, как говорят французы, или как Пигасов в романе Тургенева «Рудин»: «Какое бы ни случилось бедствие, землетрясение, потоп, пожар, он спрашивал: «А как ее звали?»



Андряшка хорошо знал, как ее звали, и очень хорошо знал, что хомяковские ребята не посядут на затрещины, но любовь не картошка, а фонари и ссадины заживут!

ПРИЕЗД ГОСТЕЙ

Мы втроем сидели в мастерской и уныло смотрели в окно. По двору изредка проходили, опустив хвосты, печальные куры, моросил мелкий дождик, и все живое попряталось под крыши, только утки да гуси не обращали внимания на дождь. Им что? Не даром говорят: как с гуся вода...

Я сидел и рисовал для «Светлячка», а Толя и Фомич бездельничали и тосковали. Ну и погода... Какого черта заманишь в такую погоду? Да, брат Толя, не придет твоя Надежда Николаевна. Тут только лягушкам раздолье. К нам под окно подошли гуси. Впереди гусак китайской породы, за ним подростки гусенята, нескладные, большелапые. Они держались тесной кучкой и шли, переваливаясь с ноги на ногу. Шествие завершали две гусыни, заботливо охраняя малышей. Иногда пролетали ласточки — низко-низко над самой землей. Вдруг забрехал Мирон и помчался к воротам. В открытых воротах появилась дуга и две лошадиные морды. Это было так неожиданно, что мы не сразу бросились к дверям. На козлах сидел дядя Григорий, а в тарантасе две фигуры. Фигуры были закутаны непромокаемыми плащами, и мы смотрели на них, не узнавая.

— Вася! Надежда Николаевна! — наконец завопили мы, узнав приезжих.

— Никакого черта не заманишь в такую погоду!

— Ах, а вы, ангелочки наши, приехали! Вот умники-то!

Анатолий схватил на руки Надежду Николаевну и вынул ее из тарантаса. Вася с трудом сам вылез.

— Ой, братцы, как ноги отсидел, того гляди, шлепнусь.

Из тарантаса, из-под мокрого сена, выволоч длинный сверток и, оберегая его от дождя, заковылял на крыльцо.

— Васенька, сокол наш ясный, где это ты Надежду Николаевну обрел? Ты же с ней и знаком-то не был...

Анатолий взял под руку Надежду Николаевну, которая со страхом смотрела на обступивших собак, и повел ее в дом. Громадный борзой кобель на ходу старался лизнуть ее в лицо,

гончие, дворняги — все были очень рады гостям и старались как можно наглядней выразить им свою радость.

И вот все мы сидим за самоваром, жадно расспрашивая друг друга. Оказывается, Надежда Николаевна близко приняла к сердцу наше скорбное письмо. Там мы жаловались на безысходную скуку и уверяли, что с каждым часом мы дичаем все больше и больше и уже недалеко то время, когда мы опустимся до уровня культуры каменного века.

Мужчины, лишенные женского общества, кубарем катятся вниз, в яму грубости, дикости, забывают все навыки цивилизации и скоро превращаются в самых обыкновенных людоедов.

Надежда Николаевна испугалась такой перспективы и вот приехала вытаскивать нас из этой ямы. А кто мы такие, я сейчас расскажу. Мы молодые художники и страстные охотники. Эту охотничью страсть Надежда Николаевна презирала и всячески старалась искоренить ее из наших огрубелых сердец.

— И не стыдно вам, — говорила она, — врываться с ружьями и собаками в исконные заячьи угодья и беззащитного зверюшку убивать не из-за нужды, а для потехи. Стыдно, господа! Очень стыдно.

Мы сделали вид, что нам действительно очень стыдно.





МОЖЕТ, ЗА ПОПОМ СХОДИТЬ?

Прогремела революция, наступили трудные времена — в Москве было голодно, приближалась весна 1918 года.

А что, если поехать в Марьину пустошь и посадить там немного картошки? Это идея.

В самую распутицу добираюсь до Марьиной пустоши. Ну и дорожка! Ни пешком, ни в телеге, ни в санях. «Срамная дорога», — как говорил дядя Григорий. Все-таки добрался.

Достал мешок мелкой картошки, договорился со Степаном, чтобы он вспахал и помог посадить, а сам вечером пошел на тягу. Тишина, только в большом овраге чуть слышно бурлит вода да певчий дрозд с высокой ели выкрикивает свои песни.

Гаснут облачка на закате. Темнеют вершины леса. Где-то далеко ухнул выстрел. Напряженно слушаю — не прозвучит ли желанное тройное харканье, не покажется ли на светлом кусочке неба летящая точка. Вот он! Вскидываю ружье... Тыфу ты — это комар. В сырых сапогах ноги зябнут, да и рукам холодно. Неожиданно из-за вершин березняка вырвались, гоняясь друг за другом, два вальдшнепа. С резким свистом они так же быстро исчезли, мой салют из двух стволов проводил их.

Становится совсем темно, и если даже удастся убить птицу, то найти ее будет невозможно. Вальдшнеп так раскрасил свои перышки, что его на бурых опавших листьях в двух шагах не увидишь. Однако мне стало очень холодно. Ноги околели, пальцы рук не двигаются. Иду домой и долго не могу согреться.

Пью чай. Горячий чай меня не согревает. Во рту какой-то металлический вкус. Аппетита нет. Плохо дело — я заболеваю. Не согрелся и ночью. Утром приехал Степан с плугом и с ним жена Анна. Солнце светит, тепло, хорошо, а меня как в холодную воду окунули.

Через силу сажаю картошку, спотыкаюсь, падаю. Тетка Анна гонит меня домой:

— Иди уж, ложись, без тебя посадим.

Ложусь, натягиваю на себя все, что нашел в доме: одеяла, полушубки, куртки, но согреться не могу, и дрожь меня подбрасывает чуть не на пол-аршина. Так проходит день, два, три.

Картошку посадили без меня, а мне надо бы ехать в Москву, а сил нет. Пришла навестить меня тетка Анна. Увидала — ахнула.

— Лексей Иканорыч, да ты помрешь! Краше в гроб кладут. На, покушай, я тебе лепешку принесла.

Пришел старик пастух Кузьмич. Долго смотрел на меня.

— Нет, не выжить тебе, помрешь. Может, за попом сходить? Все легче помирать, с попом-то.

Пастух положил молча на столик у кровати пару печеных яичек и тихонько вышел. Перекрестился...

Зашел дядя Карп.

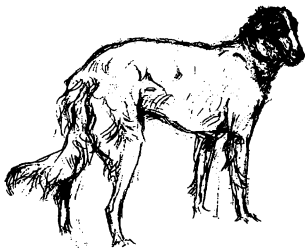
— Эх, Лексей Иканорыч, и с чего-то ты помирать задумал? Оно конечно, все под Богом ходим, все померем, да тебе-то словно бы рано. Пожить бы еще маленько надо. Пострелял бы еще... А видать, помрешь.

Но во мне еще теплились силы жизни. Умирать я не имел никакого желания. Я написал письмо в Москву, жене. Я писал, что все обстоит благополучно, я сажаю картошку, но мне очень хочется лимончика.

Жена сразу поняла, что все далеко не благополучно, и спешно примчалась ко мне. Где-то с большим трудом она достала лимон и догадалась привезти хину.

Лимон, хина и женский уход сразу подняли меня на ноги. Но я был очень слаб, и жене пришлось пожить со мной на лоне природы еще два-три дня.





ДРУЖБА С ЖИВОТНЫМИ

За мою долгую жизнь много животных у меня перебывало. Можно сказать, что я никогда не жил без моих любимых животных. И кто только не был у меня — и домашние животные, и лесные зверьки, и множество птиц, и даже насекомые. Особенно запомнились мне ласковые ручные лисы и ручные белочки, выросшие из маленьких бельчат. Жил у меня милый молоденький зайчонок, который смело подбегал к борзой собаке. Собака старалась отстраниться от него, отворачивалась, поджимала лапы, но зайчонок не боялся. А ночью вскакивал на подоконник и громко барабанил в окно.

Интересен был байбак, живший в сарае и благосклонно принимавший пищу из рук, но который на всю жизнь возненавидел мою жену и бросался кусаться из-за того только, что она шутя потрепала его за шкурку, а он принял это за страшное оскорбление.

Очень любил я сову-неясыть, принесенную мне маленьким трех-четырёхдневным пушистым птенчиком и выросшую в великолепную красивую совушку, которая свободно летала по участку, купалась в поставленном для нее тазике, садилась на плечи и выпрашивала лакомства.

Очень ласковая была ворона, которая терлась головкой, как кошка, и провожала меня, когда я уходил на прогулку, перелетая за мной с дерева на дерево.

Невозможно озорной был грач, который утаскивал все, что мог утащить, и прятал в кустах. Однажды утащил у знакомых, приехавших к нам, золотые часы, которые так и не нашли. Он опрокидывал набранные в корзинки ягоды, тотчас убегал и издали наблюдал за произведенным впечатлением.

Интересно было наблюдать за двумя ручными сороками, которые дразнили легшую отдыхать собаку, дергая ее за хвост, и, отлетев, выжидали, когда собака успокоится, и опять повторяли свое озорство.

Была у меня беспородная собачонка Ту-ту, имевшая ничем непобедимую страсть к охоте. Стоило только снять со стены ружье, как Ту-ту исчезала. Ее искали, хотели запереть и, наконец, махнув рукой, выходили на охоту. Через две-три версты появлялась Ту-ту, и отогнать ее было невозможно. Гончие поднимали зайца, заяц катил на охотника, и тут появлялась Ту-ту, мчалась наперерез, и охота была испорчена.

В клетках постоянно жили у меня певчие птицы. Интересно было наблюдать за ними. Был у меня чижик, который ловко ухитрялся поднимать коробочку с кормом, которая была подвешена на ниточке. Он тащил нитку клювом и забирал ее под лапку до тех пор, пока коробочка не становилась на уровне его носика и он мог брать из нее зернышки.

Скворчик ловко открывал спичечные коробочки с мучными червями, просовывая в щелку клювик и раздвигая его. Дубонос легко раскалывал вишневые косточки ровно на две половинки и выбирал ядрышки, а косточку трудно расколоть даже молотком. Серый сорокопут, которого кормили мясом, приспособил для удобства гвоздики, вбитые в жердочку. Он насаживал на гвоздики куски мяса и потом, отрывая их маленькими кусочками, глотал.



Когда я жил в Крыму, у меня на окне стоял кустик сухого растения, на который я сажал богомолы. Они ловко ловили своими лапами-крючьями мух, привлеченных сладким виноградом. Бывали случаи, когда самка богомола, толстая, могучая, своими крючьями захватывала подвернувшегося неосторожно тоненького, слабенького самца и тут же начинала его пожирать — безразлично, с головы или с живота. Это было ужасное зрелище. Уезжая в Москву, я наловил богомолы и посадил их в одну коробку. В Москве я обнаружил только одного богомола, другие были или мертвы, или съедены.

СОБАКА

Мне говорят, чтобы я писал о собаках. Но как писать? Собаки наши близкие друзья, они живут с нами. Они помогают нам, они защищают нас, они жертвуют жизнью для нас, и они перенимают характер и поведение своих хозяев.

Когда писатель, например Чехов или Пришвин, наделяет собаку человеческими мыслями и поступками, натуралисты называют это антропоморфизмом и считают неправильным, ненаучным. А что научно? Когда животные, как машины, действуют, только повинаясь инстинкту и рефлексам? Но ведь собака любит хозяина. А разве любовь — инстинкт? А разве любовь — рефлекс? Собака любит, ненавидит, ревнует, тоскует, горюет, раскаивается, веселится. Неужели это все рефлексы?

Кто долго жил вместе с собаками, кто их любил, кто занимался с ними, тот хорошо знает, как отвечает собака на ласку, как развито у собак чувство долга.

О ЛОШАДЯХ

Среди лета под вечер приехал на дрожках цыган. К оглобле упряжной лошади привязан серый в яблоках конек, сытый, холерный. Цыган зубы скалит, смеется:

— Купи коня.

Видит, что мне конек понравился. Быстро распрягает лошадь — запрягает конька.

— Садись на дрожки, поедem. Посмотри, как идет.



Сажусь. Конек немного замылся, но пошел хорошо, крупной рысью. Едем по лесной дороге. Вдруг конек затоптался на месте. Цыган сейчас же:

— Тпр, тпр.— Соскочил, обежал вокруг него, поправил хомут, подтянул чересседельник, сделал вид, что вожжа захлестнулась, и конек пошел, и уже без остановки до дома. Цыган говорит: — Видишь, как идет. Не конь, а золото. Давай полторы радужных! Благодарить будешь. Деньги мне надо, а то я бы на ярмарке его за три загнал.

Я говорю:

— Оставь лошадь на ночь. Я завтра утром его попробую и, если хорош будет, полсотни дам.

Долго торговались. Сторговались за восемьдесят. Цыган оставлять не хочет. А я сейчас денег не даю.

— Приезжай завтра.

Наконец согласился.

Утром запрягаю конька в тарантасик. Сажусь. Беру вожжи. Конек ни с места. Обошел кругом, погладил. Опять стоит. Положил морду на оглоблю, косит глазом, стоит. Надвигаем с работником на него тарантасик — стоит, хоть ты что хочешь делай. А жалко конька — красивый, складный. Припрягаем другую лошадь — стоит. Тянем за повод — нет, уперся, и ни с места. Распрягли. Вася Бобырев говорит:

— Стой, братцы, я попробую верхом — может, пойдет! — Ухватился за холку, прыгнул раз, прыгнул два и, наконец, перевалился животом через спину.

Конек поддал задом, и Вася каким-то чудом очутился у него на шее. Обхватив руками и ногами шею, Вася пытался удержаться, но конек неожиданно пустился галопом, и Вася съехал под шею. Висит Вася под шеей, а конек вдруг остановился, нагнул голову, и лихой ездок плюхнулся в грязь. Вася ругается:

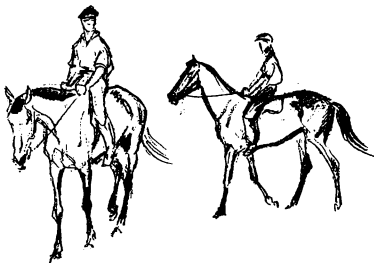
— Вот чертова скотина!

Пришлось вернуть цыгану серого конька, а жаль.

В Форосе у Григория Константиновича Ушкова я купил вороного жеребенка трех лет. Породистый жеребенок — от Летуна и Машистой — красавец, игривый и озорник, но не злой и очень резвый. Дает ему конюх овес, а он норовит с него шапку снять. Станешь его чистить щеткой, а он хватается за руку и зубами легонько покусывает или задней ногой тихонько тронет. Вел я его как-то на длинном поводу, а он разыгрался и задом бросил высоко. Тут я был в буквальном смысле на волосок от смерти — его копыто пролетело так близко от моей головы, что слегка зацепило по волосам. Это была наука. Никогда с тех пор я не водил лошадей на длинном поводке. Не со зла, а убить может.

На конном заводе «Восход» я много нарисовал портретов чистокровных лошадей — и маток, и жеребцов, и молоди.

Мне всячески содействовал тренер Мурзин. Лошадей для меня выводили, держали или привязывали, а чаще я рисовал их в левадах, в стойлах или прямо в степи. Пробовал я там ездить на чистокровных, но на английском седле я не мастер и боюсь лошадь испортить. Попадет в сусличью нору ногой — ломает ногу, тут горяхватишь. Лошадь-то тысячи стоит.



Поехал я с Мурзиным посмотреть табуны в степи ночью. Подо мною холостая кобылка Мюзет, золотисто-гнедая, белоногая. Красавица. Седло с ладошку величиной, скользкое, только на стремянах держишься.

Подъезжаем к табунам, а там переполох — не углядели табунщики, и молодые жеребчики-двулетки подбежали к табуну двулеток-кобылок. Лошади визжат, носятся. А уж темно стало. Табунщики скачут, кричат. Никак разогнать не могут.

— Гони всех домой! — кричит Мурзин.

Табуны помчались домой. Мы за ними. Моя лошадка просится вперед, а я боюсь ее пустить вскачь. Помню про сусличьи норы и всеми силами стараюсь ее сдержать. Но не удержать горячую лошадь, когда впереди скачут и табунщики и табуны. Помчалась моя Мюзет карьером, а я уж не знаю, каким чудом я не слетел с нее. Мурзин смеется:

— Да вы не держите ее. Тут сусличьих нор нет.

Была у меня кобылка Машка. Кругленькая, плотная, рыжей масти. Запрягут ее в тарантасик — бежит, головкой помахивает, вожжи просит... И вдруг на ровном месте — стоп. И Боже упаси вожжой хлопнуть или кнутом стегнуть. Тогда конец. Положит морду на оглоблю и будет стоять до самой смерти. Чтобы этого не случилось, надо обойти кругом, поправить дугу, погладить по шейке, потрепать по крупу, взять

вожки и сесть в тарантасик. Опять пошла как ни в чем не бывало.

Вез раз Андрияшка сено из леса. Кобылка и встала. «Но, но!» — ни с места. Сломил прут — и давай ее охаживать. Ехать надо. Туча заходит, а она стоит. Стояла, стояла и легла. Обозлился Андрияшка, лупит прутом. Кобылка лежит, храпит. А тут рядом большая муравьиная куча была. Андрияшка и давай граблями ее подгребать кобылке под хвост. Лежала, лежала да как вскочит. Дуга пополам, а она из оглобель выпрыгнула, стоит трясется. Хорошо, что это недалеко от дома было. Сбежал Андрияшка за другой дугой, запряг и привез сено. И что же? С тех пор перестала кобылка останавливаться — бежит и только головкой помахивает. Золотая лошадка стала.

Лошади — в большинстве покорные, не злобные, трудолюбивые существа, но бывают и у них разные характеры. Знал я одного конька, он в тройке в корню ходил. Бежит тройка по степной дороге, и вдруг коренник начинает поворачивать влево. Повернет, сделает круг по степи и опять бежит по дороге, и никакими уговорами его от этого не отучишь.

А то была кобылка. Наденут на нее хомут, и она начинает пятиться. Пятится, пятится и допятилась до того, что продали ее цыганам. Как цыгане ее с рук сбыли — это их тайна.

Зацвела черемуха, пошел по лесу горьковатый аромат — стереги лошадей! Как пахнёт лошадям в ноздри черемуший дух — их и потянет куда-то в далекие незнакомые страны. И пойдут по росистой траве куда глаза глядят. Идут и идут. За много верст уйдут, пока не примкнут к чужому табуну.

Ушли у меня Гнедой и Каурый. Ходил я по лесу, искал их и нашел двойной след по росе. Долго шел. Пока роса была — след четкий, а как солнышко росу выпило — следа нет. Взлетит рябчик — фпр! — а мне кажется, лошадь фыркает. Потерял след, сам заблудился. Только к вечеру домой пришел. А лошадей через две недели нашли за двадцать верст, за Дубной.

Был у Ушкова в конюшне жеребчик злой-презлой. К нему в денник конюха войти боялись — сено ему через перегородку бросали. Он и зазнался. Станут к нему в денник дверь отворять, а он зубы оскалит и бросается, норовит укусить. Жеребчик — чистопородный орловский рысак, собой красавец,

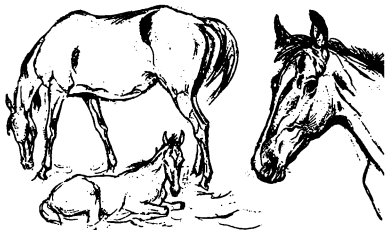


серый в яблоках. Его на бега готовили, а он зверем стал. Конюха отказываются — нам, говорят, жизнь тоже дорога. Его Ушков и продал в цирк. Пришел из цирка наездник. Влез на перегородку, да и прыгнул ему на спину. Заметался, запрыгал жеребчик, а сбросить не может. Надел ему наездник узду, охлестнул несколько раз хлыстом по шее и кричит:

— Отворяй денник! — выехал верхом из конюшни и уехал.

Через две недели жеребчик уже в цирке на арене курц-галопом скакал и мадемуазель Трущи у него на спине в обруч прыгала.

Рисовать лошадей всегда было для меня большим удовольствием и в то же время страданием. Когда начинаешь портрет, всегда кажется, что ничего не получится. Вот небольшая лохматая лошадка. Шерсть на ней как бархат. Смирная мордочка с длинной челкой. Густая грива, густой



длинный хвост. Эту лошадку нарисовать, конечно, гораздо легче, чем чистокровную или вообще холеную, породистую лошадь. Простая лошадка, как дикий зверь, заросла шерстью. У нее лохматые ноги, и на ней не видно ни мускулов, ни жилок, ни костяка. Эта лошадка хороша своим бархатом шерсти, своей близостью к нашему русскому пейзажу. Ее можно вставить в любой пейзаж. Она украсит и деревенский двор, и луг, и опушку леса. Она тащит плуг, борону, везет воз, рысцой бежит в санках. Она нам родная, близкая. Я рисовал ее и зимой и летом, и спереди, и с боку, и сзади. Рисовал ее голову, круп, ноги, упряжь. У нашей деревенской лошадки много разных мастей. То она темно-бурая, то гнедая, соловая, чалая, пегая, буланая, сивая, чубарая, вороная, и так без конца.

У благородных коней масти сильно ограничены: там не бывает такой пестроты. Чистокровные бывают, главным образом, рыжие, гнедые, караковые, бурые. На заводе «Восход» я не видел ни одной серой.

У этих лошадок точеные ноги, безупречный костяк, красивая тонкая шея, небольшая головка, сухая, с большим темным глазом, тонкая, не густая, грива и жидкий хвост. На ней видны все мускулы, дрожат все жилки.

Тут нельзя сделать в рисунке ни малейшей ошибки. Сделал чуть потолще коленку — налив, удлинил немного бабку — по-

рок, укоротил — тоже. А линия спины, а постановка ног, а скакательный сустав!

Строго следи за рисунком, не ошибайся! Хорошо сказать — не ошибайся! А попробуй нарисуй. Лошадка-то живая — она не стоит неподвижно, она все время переставляет ножки, мотает головой. Шерсть на ней все время переливается. Вся она играет отсветами, бликами. Под тонкой кожей перекатываются мускулы, видна каждая жилка.

Вот привезли из Москвы молодых трех-, четырехлетних кобылок. Кобылки поджарые, сухие, как борзые собаки, нервные, пугливые. Теперь они будут отдыхать на заводе «Восход». Они были на скаковой конюшне в Москве. Там из них вытянули все, что можно. Там они скакали на призы, скакали что есть мочи, не жалея сил. Хлыст жокея не знает пощады. Они скакали два года, показали свою резвость, брали призы или не брали, а теперь они будут отдыхать. На будущий год у них будут жеребята, и из подтянутых, тренированных кобылок они станут грузными брюхатыми матками. Будут пастись табуном в степи. Будут жить свободной счастливой жизнью, на воле и в холе.

А вот азиатские лошади. Небольшие, с поднятыми почками, отчего они кажутся горбатыми, с крепкими сухими ногами, с костистыми горбоносими головами. Они часто бывают иноходцами. Эти лошадки могут сделать в день сто километров и больше! В Туркестане есть прекрасная порода лошадей — ахалтекинская. У них оленья шея, небольшая голова, они стройны, благородны, с красивым ходом. Большей частью они бывают рыжей масти — или золотой, или золотисто-гнедой.

ПЕТУХ

На нашей улице живет старичок, ласковый старичок, тихонький, и зовут его Тихоныч, Тихон Тихоныч.

На пенсии он, но стучать костяшками домино не хочет, а собрал своих внуков и чужих ребятишек, обложился ими, как наседка, и квохчет. Книжки читает, сказки рассказывает, петухов, голубей из бумаги делает. Прыгают вокруг старичка ребятишки, глаз с него не спускают.

— Дедушка, дедушка, Расскажи сказочку, сделай лодочку... — И на нашей улице прекратились драки у ребятишек,



никто из них не бросает камни в собак, никто не мучает котят, не стреляет из рогатки воробушков, не ломает посаженных вдоль тротуара деревьев.

Большое и нужное дело делает Тихон Тихоныч, он учит детишек любить и беречь родную природу.

— Типа, типа, типа! — тонким голоском выкрикивала Мария Степановна, держа в руках таз с куриным кормом. — И куда она пропала? Все куры собрались, а ее нет.

— Мама, Чернушки и вчера вечером не было.

— Что же ты молчишь? Искать надо.

Начались поиски по всем сараям, в дровах, на чердаке, под досками, в зарослях крапивы. Чернушки нигде не было.

В самом разгаре поисков Ниночка закричала:

— Мама, мама, смотри. Чернушка во дворе!

Мария Степановна выглянула из чердачного окна и увидела Чернушку, озабоченно и торопливо клюющую из корытца. Наскоро поклевав, она так же торопливо побежала и нырнула под сарай. Ясно! Через три недели жди цыплят. Так и случилось.

Было прекрасное солнечное утро. Чернушка, окруженная пушистыми шариками, вышла из-под сарая. Взяв перья и все время повторяя: «Ко-ко-ко», тихо пошла по двору.

Все дальше водит их Чернушка по двору, все больше и больше узнают они жизнь.

Ребятишки вокруг старичка прыгают, а вокруг Чернушки пушистые шарики катаются, с каждым днем все смелее, все

быстрее бегают. Они уже хорошо знают всех своих кур, петуха, и Марию Степановну, и Ниночку, и главного сторожа — Мурзика. Об этом песике мы еще поговорим, а теперь познакомимся с петухом.

Наш петух — рыцарь без страха и упрека. Красавец в яркой оранжево-красной мантии, с черной грудью и черным, отливающим зеленой бронзой хвостом, в красном шлеме и с большими острыми шпорами. Этот старинный рыцарский наряд достался нашему петуху от очень отдаленных предков, от диких банкиевских петухов.

Было солнечное теплое утро. Стоя посередине двора, петух вдруг захопал крыльями, вытянул шею и громкое, голосистое «кукареку!» разнеслось по белу свету. В переводе на человеческий язык это значило: «Попробуй приходи к моим курам — я покажу тебе, где раки зимуют!» Соседние петухи не остались в долгу и ответили: «Не испугались! Придем и тебе же шею намылим». Но это они только так, хвастались, а на самом деле побаивались нашего петушка.

Все время заботливо подзывая цыплят, прошла мимо Чернушка. Ее пушистые шарики немного подросли, и у некоторых уже были заметны коротенькие хвостики.

Петух снисходительно посмотрел на цыплят и отвернулся — он считал, что возиться с детворой не мужское дело: бабы нарядили, пусть они и возятся.

Чернушка со своим семейством подошла к тыну, отделявшему огород от двора. Тын был из высоких, в рост человека, кольев, переплетенных прутьями. Цыплята свободно проскользнули между кольями и очутились в сказочном царстве.

Ну и чудеса! Над их головами поднимались громадные светло-зеленые листья капусты, рядом темно-красная свекла, а вот среди исполинских листьев крупный желтый цветок тыквы. Цыплята рты разинули от удивления. И страшно и интересно. По земле бегают крошечные жучки, малютки паучки висят на паутинках, а в воздухе танцуют бабочки, мушки, мохнатые, толстые шмели. Неожиданно свалился большой бронзовый жук и пополз прямо на цыплят. Те врассыпную.

А на дворе Чернушка бегает около тына, зовет, зовет, сердце у Чернушки выпрыгнуть хочет. А все этот проклятый тын. Не дает он Чернушке найти своих деток. Тычется Чернушка между кольями — голова проходит, а дальше никак.

И Чернушка решилась на отчаянный поступок. «Перелечу через тын», — решила она. Собралась с духом, подпрыгнула, изо всех сил замахала крыльями и вот самую малость, не перелетела. Головой застряла между кольями и повисла.

Не слышат цыплята маминого голоса, испугались, выбежали из огорода на двор, собрались в кучку, пищат в десять голосов. Смотрят на них куры — и никакого внимания... Строго взглянул на цыплят Мурзик: «Чего вы кричите — никто вас не трогает, идите к своей маме». Поза висящей курицы ему показалась странной, но он не понял весь ужас разыгравшейся драмы. Он не понял отчаяния цыплят, да и помочь им он не мог.

А цыплята не переставая вопили: «Мама, мама! Мы здесь, мы здесь! Нам страшно, иди к нам!»

Ниночка услышала, выбежала на двор и все поняла. Поднялась тревога. Чернушку сняли с забора, но было поздно — никаких признаков жизни уже не было. Что же делать с цыплятами?

— Мама, надо сделать брудер и греть их под лампочкой. Они, конечно, привыкнут к нам. Я буду ухаживать за ними.

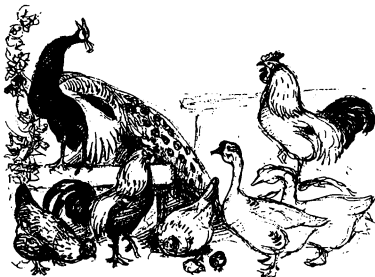
Ниночка спешно из досок сделала около крыльца, на солнышке, загончик, провела на длинном проводе электрическую лампочку, из круглой коробки от торта соорудила брудер.

Принялись ловить цыплят. Это оказалось дело нелегкое. Цыплята убежали в огород и там между капустой, свеклой и помидорами так попрятались, что вскоре пришлось отказаться от этой затеи. Решили дождаться вечера и переловить их сонных. Малыши опять вышли на двор, собрались стайкой и жалобно пищали.

— Мама, они же маленькие, они есть хотят. Я попробую сачком.

Но и сачком поймали только двух. Усталые и расстроенные, они решили напиться чая и отдохнуть.

В это время к тыну подошел петух. Какое-то непонятное новое чувство влекло его к цыплятам. У его предков, древних банкиевских кур, был закон — если погибала курочка, водящая цыплят, ее заменял петух. Именно петух. Не другая курочка, а только петух. И вот этот древний закон загупорил в крови нашего петуха. Он присел около тына и голосом наседки стал звать: «Ко, ко, ко». Из-под свеклы, из-под ли-



стве тыквы, из зарослей крапивы на его зов выбежали цыплята и доверчиво полезли к нему под крыло. Стало смеркаться, и Ниночка решила еще раз попробовать переловить цыплят.

— Ты что тут делаешь? — удивилась она, увидев сидящего около тына петуха. — Ты что, заболел, что ли?

Каково же было изумление Ниночки, когда из-под крыла у петуха выглянули две пушистые головки. Она побежала домой.

— Мама, мама! Поди скорее, посмотри. Наш петух сидит как клушка, а под ним цыплята.

Марья Васильевна так и ахнула.

— Что же делать-то? Он их задолбит! Вот горе-то!

Помчались к петуху. Тот сидел на том же месте, и во всей его фигуре и в выражении его полужакрытых глаз было столько сознания исполненного долга и важности порученного ему судьбою дела, что и Мария Степановна, и Ниночка, и даже Мурзик замерли в восхищении. Принесли тех двух ранее пойманных цыплят и выпустили их рядом с петухом. Петух тихонько квохнул, и оба цыпленка тотчас юркнули под него. Ниночка накрошила крутого яичка и пшенной молочной каши, и петух скоро подошел, стал подзывать и из клюва кормить цыплят.

Весть о необыкновенном подвиге петуха разлетелась по всей улице, и на другой день приходили соседи и просили показать им удивительного петуха. Народу приходило так много, что Мурзик перестал лаять и только отходил к своей конуре и неодобрительно смотрел оттуда. Пришел и Тихоныч со своими ребятами. Петух со своими — Тихоныч со своими. Когда Ниночка увидела их вместе, она не могла удержаться от смеха и тихонько сказала:

— Смотри, мама, наш петух совсем как Тихон Тихоныч.

А петух не обращал внимания на зрителей, тихонько ходил по двору, окруженный пушистыми шариками. Временами он останавливался, слегка присаживался, и все шарики подлезали ему под крылья и отдыхали. Когда ему удавалось найти червячка или жука, он обрывал жуку крылья, подзывал цыплят и заботливо кормил их.

Мария Степановна была в восторге от петуха.

— Надо же,— говорила она,— такому умному петуху зародиться. А вы говорите, чудес не бывает.

Время шло. Цыплята подросли, и молодые петушки уже начали петь хриплыми голосами. Они стали далеко отходить от своего воспитателя, стали требовать простора. Им уже не нужна была опека старого петуха. Они начали уходить за пределы двора в поле, в огород. В огороде огурцы и помидоры были уже сняты, остались капуста, свекла, морковь, и куры навредить уже не могли, и потому были туда допущены. В огороде было раздолье. Старые куры и молодки и молодые петушки — все наслаждались простором и с упоением копались в земле. Все они держались отдельными группами. К старым курам примкнул петух, а молодежь держалась отдельной стайкой. Около стены сарая, на самом солнечном припеке, была сухая земля, и тут были вырыты пылевые ванны. В них купались и старые и молодые куры.

Однажды молодой петушок, натряхивая себе на спину сухую пыль, то одним, то другим боком ложился в ванну. Из-за сарая низом мелькнула большая рыжевато-серая птица. Петушок закричал отчаянным голосом. Наш петух, наш храбрый рыцарь, не задумываясь, бросился ему на выручку. Этот крик о помощи услышал также и Мурзик. Он заметался по двору, но скоро сообразил и кинулся за сарай.

Ястреб вонзил свои громадные когти в ребра петушка и хотел уже взлететь с ним, как на него налетел наш храбрый

петух. Два желтых глаза свирепо сверкнули на него, лапа с могучими когтями уже готова была схватить героя, но в эту минуту, в эту секунду, во всю прыть своих коротких лапок, примчался Мурзик. Ястреб не стал дожидаться Мурзика. Он цапнул когтями нашего петуха и взмыл вверх.

Петух с окровавленной грудью и с сердцем, полным отваги, остался со своим раненым питомцем.

Это был второй великий подвиг нашего рыцаря.

Слава ему!





ГОЛОВА ИГУАНЫ

Вы не можете догадаться — что это такое?

Ну да, конечно, это — шипцы для орехов. Это — шелкушка.

Я сам ее сделал из корня жимолости. Ого, какая страшная морда! Это — голова игуаны... Она может укусить: не кладите ей в рот свой палец, а положите лесной орех. Трах! И скорлупа лопнула — ешьте орешек!

Эта шелкушка напоминает мне о хорошей поре моей жизни. Эта страшная голова игуаны знает одну из прелестных, правдивых сказок весеннего леса. Там она сама пряталась в земле под кустом жимолости и прикрывала собой и охраняла всю долгую зиму от жестокой стужи одно маленькое, удивительное существо.

Я тогда жил в лесу в одиноком домике, и тогда была весна, и светило солнце, и на березе звенел зяблик, а на другой, около скворечника, качался на ветке скворец и пел, размахивая крыльями. Его песенка лилась, журча, как ручеек, и в нее он вплетал все, что видел, что слышал: закудаhtала в сарае курица, он тотчас же вставил это в свою песенку. Заржал в поле жеребенок, заскрипели ворота, залаяла собачонка — все хорошо, все годится. С мира по нитке-нотке, и у скворушки готова песенка.

Он не гонится за славой великих артистов. Он не соловей, не певчий дрозд, не ученая канарейка, даже не такой самородок, как жаворонок, он — просто веселый малый и сидит на ветке, пригретый солнцем, черный, блестящий, отливающий то синим, то фиолетовым, размахивает крылышками, как дирижер, и, широко разевая рот, поет, поет вдохновенно и радостно!

Я брожу тихонько по лесу, греюсь на весеннем солнышке и слушаю голоса вернувшихся из дальних стран певцов.

«Ку-ку», — неожиданно раздается знакомый голосок. Первая кукушка. Лес еще голый, а она уже кукует!

Тут мое внимание привлек наполовину вывороченный корень жимолости. Какой интересный корень!

Я сильно дернул его из земли, и у меня в руках оказалась... голова игуаны.

Немного кое-где подрезать, подчистить, вырезать другой глазок, и будет чудесная голова! Сама природа сделала ее из корня жимолости и украсила шипами и наростами.

Я так увлекся этой головой, что сразу не обратил внимания на серенький комочек, лежащий в ямке под головой игуаны.

А там лежало удивительное существо: оно не шевелилось, не двигало ни одним членом, не открывало глаз. Оно свернулось калачиком, мордочку уткнуло в живот и закрылось хвостом. Оно крепко спало.

Я взял его в руки, перекладывал с ладони на ладонь — зверек не подавал признаков жизни. Он лежал свернувшись, холодный, твердый, закоренелый.

— Ну что же, если вы так крепко спите, я подожду, когда вы проснетесь. Тогда и познакомимся.

Я принес его домой и устроил в коробочке от конфет. Положил туда пустое гнездышко зяблика и уложил в нем зверушку, которая при ближайшем знакомстве оказалась лесной соней, и сверху покрыл одеяльцем. Спящая царевна.

Соня уютно спала в гнезде, а я занялся головой игуаны. Перо-





чинным ножом, стамеской и рапилом я усердно старался придать игуане страшное выражение «лица». Потом мне пришла идея сделать из нее шелкушку для орехов. Это было не так-то просто, и я до самого вечера трудился, не жалея сил, и так увлекся, что позабыл о соне.

Наступил вечер, и спящая царевна проснулась.

Я узнал об этом, когда со стола слетел со звоном стакан, потом с полки грохнулась фарфоровая пастушка, потом с подоконника слетел горшок с геранью, потом...

Я бросился к месту погрома и увидел мою царевну-соню, когда она, с ловкостью заправского верхолаза, взлетела по оконной занавеске под потолок и гигантским прыжком переметнулась на шкаф, с которого посыпались какие-то коробки и книги. Соня была уже на спинке дивана, а через мгновение она вскочила в печной отдушник и исчезла в нем.

Я испугался за судьбу сони, но она уже выскочила из другого отдушника, вся черная, но возбужденная, видимо довольная своими приключениями, и шлепнулась на подушку моей кровати. На чистой наволочке четко отпечатался черный след. След побегал по всему одеялу, потом дальше, по оконным занавескам, по стульям, по полу.

В комнату вошла моя домоправительница — старушка Аксинья Николаевна. Соня в неистовом восторге носилась по

комнате. Легким прыжком с этажерки она перелетела на плечо старушки. Та в ужасе присела и завопила:

— Да где же это ты взял такую пакость? Да убери ты ее, Христа ради, напугала как, окаянная!

Что было делать с буйной царевной?

Я открыл настежь дверь, и моя милая гостья помчалась на крыльцо, с крыльца на дорожку — и в лес. Счастливого пути!

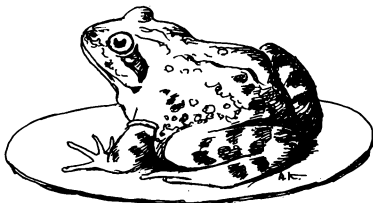
Но чей же сон теперь будет охранять осиротевшая игуана?

Голова игуаны лежит на моем столе и свирепо смотрит на меня.

Игуана — это громадная южноафриканская ящерица. Она достигает полутора метров, причем ее хвост длиной до одного метра. Питается растениями.

Соня — небольшой зверек из семейства грызунов.





ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

Это была огромная лягушка. Это была великолепная лягушка! Она была величиной с мой кулак; зеленая, с темно-коричневыми пятнами и обворожительными золотыми глазами.

Ну конечно! Как это я сразу не догадался: это была не просто лягушка, а Царевна-лягушка.

Я своей соломенной шляпой накрыл Царевну. Она не сделала даже попытки убежать — так она была уверена в своем могуществе. Я осторожно завязал ее в носовой платок и бросился со всех ног к полустанку. Поезд уже отходил, и я на ходу вскочил в него.

Моя Царевна-лягушка — дома. Она сидит на пробковом кружке. Кружок плавает на поверхности аквариума.

Я предлагаю ее высочеству откормленного зеленого кузнечика. Хап! — и кузнечика нет. Предлагаю другого, хап! — и другого нет. Еще и еще... Четыре крупных кузнечика исчезли в желудке ее высочества.

Ее высочество поправила лапками торчавшие изо рта ножки кузнечика и успокоилась: больше кушать она не желает.

На комод у жены я нашел сломанную золотую серьгу и из нее сделал чудесный браслет на левую ручку Царевны. Золотой браслет и золотые глаза! Царевна великолепна!

Она спокойно берет из рук кузнечиков, крупных мух, бабочек. Иногда она плавает, к великому ужасу гуппи, которые, как стрелы, мелькают в разные стороны.

Слава о Царевне-лягушке разнеслась широко за пределы моего дома. Приходили друзья, знакомые, и все любовались ею.

— Какая красавица! Какая прелесть! Ну как вам не грешно томить несчастную лягушку в одиночестве! Вас бы посадить на необитаемый остров!

Сердобольные дамы возмущены, и на их лицах столько терзаний за мою Царевну, за мою кроткую страдальницу, что я спешно бегу на Трубную площадь и покупаю там небольшую, темную, с оранжевым брюшком лягушку — уку. Других не было.

Когда моя Царевна увидела незнакомку, она очень оживилась: радостью сверкнули ее золотые глаза, она подплыла к ней вплотную — носик к носику...

— Смотрите, смотрите, какая трогательная встреча, как она обрадовалась!

И вдруг — хап! — и нет уки... Только ножки торчат из рта.

Дамы в ужасе ахают, а Царевна уже спокойно сидит на плотике, «переживая» свою близкую, очень близкую дружбу с укой.

Одиночество не тяготит ее. У нее созерцательный характер.

С каждым днем я все сильнее люблю мою прекрасную Царевну. С каждым днем она кажется мне все меньше и меньше похожей на лягушку. Ее загадочные золотые глаза, ее нежные, тоненькие пальчики, золотой браслет...

— Нет! Это не лягушка. Это — Светлана. Царевна Светлана.

Дни бегут. Мне надо уезжать в Крым, и, как это ни грустно, я должен расстаться с моей ненаглядной Царевной.

Я отвез ее в Петровско-Разумовское и выпустил в большой тихий пруд.

Помнишь ли ты меня, моя радость?!

ГОРНОСТАЙ

Из ловушки я впустил его в канареечную клетку. В клетке зверек задержался на одну секунду. Раздвинув прутьи клетки, он выскочил и помчался по комнатам. Печной отдушник привлек его внимание, и он юркнул в него, через минуту он выскочил из другого весь черный и опять стал носиться по полу, придерживаясь плинтуса, около стен.



Мне пришла счастливая мысль положить у стены валенок. Этот буйный зверек был горноста́й. До путешествия по отдушникам он был белее снега, и только хвостик черный, блестящий. Горноста́й — большой франт, у него два костюма: летний — темный и зимний — снежно-белый с черным хвостиком. Запомните черный хвостик.

Мелькнув этим хвостиком, зверек с разбега вскочил в глубь валенка и остался там. Ему показалось, что это спасительная норка и в ней он совершенно недоступен.

Теперь горноста́й в моих руках. Спешно из проволочной сетки мастерю просторную клетку и сажаю зверька. Там, в уголке, в кучке сена, он устраивает свое гнездо.

КРЫЛАТЫЙ КОТЕНОК

Какое странное название. Где это видано, чтобы кошки летали? Кошки и без крыльев ухитряются ловить птичек, а дай им крылья, так они ни одной не оставят в живых, и мы

не услышим ни жаворонка в поле, ни зяблика в лесу, ни соловья в кустах у речки. Ни в коем случае нельзя давать кошке крылья.

Котенок, о котором я хочу вам рассказать, был совсем не котенок, а соколенок — молодой чеглок. Я его подобрал в березовой роще, на земле, беспомощного, голодного. Плотно поев и сладко выпавшись, чеглочок стал смотреть на мир и окружающую его новую, непривычную обстановку гораздо веселее. Со мной он тут же познакомился, а вскоре и подружился.

Березовая роща, где я нашел своего чеглочка, стоит как островок среди степи. На много километров кругом нет ни одного деревца, и птицы с боя захватили каждую березу, каждый удобный для гнезда сучок. Верхние сучья ломаются от тяжести многолетних гнезд, вся земля покрыта птичьим пометом, выпавшими из гнезд мертвыми грачатами, разбитыми яйцами, птенцами клинтухов и многих других птиц. В больших гнездах грачей и хищников селятся мелкие птички, и все эти случайные соседи мирно уживаются друг с другом. Воздух полон грачиного крика и мерзкой вони от выпавших мертвых птенцов. Люди пробовали сбрасывать грачиные гнезда, стрелять птиц, ставить пугала, но ничего из этого не вышло. Птицы опять натаскивали прутьев, опять строили гнезда. В этой березовой роще и вывелся мой чеглочок.

Обладая завидным аппетитом, он быстро рос. Скоро покрылся гладкими блестящими перьями, и только кое-где оставались еще детские, белые пушинки. А какой он стал ручной, какой ласковый! Как терся он головой о мою руку, как любил, чтобы я тихонько почесывал ему затылок. У чеглочка отросли крылья, и он уже мог делать небольшие перелеты по комнате. Однажды, увидев покотившийся клубок шерсти, он спрыгнул со спинки стула и погнался за ним. В несколько прыжков он догнал клубок, вцепился в него длинными острыми когтями, потом отшвырнул и опять вцепился и снова дал клубку докатиться до шкафа. Прыжок с помощью крыльев, клубок летит вверх и быстро катится под кровать. Соколенка это не смущает — он догоняет свою добычу под кроватью. Перехватывая из лапы в лапу, падает на спину, подбрасывает клубок и вдруг с добычей в когтях взлетает на спинку стула. Глаза его сияют, движения быстры и ловки. Он снова бросил клубок и стал гоняться за ним. Эта игра с клубком была так похожа на игру котенка. Те же гибкие кошачьи повороты, те же ловкие хватки, и это понятно...



Ведь они товарищи по охоте. И кошки, и чеглоки ловят мышей и мелких птичек, а ведь для того, чтобы поймать этих быстрых, увертливых созданий, нужна быстрота и ловкость. Я скатал из тряпки шарик, привязал его на длинную нитку и перед кормежкой играл с соколиком в «кошки-мышки». Эта игра доставляла нам обоим большое удовольствие. Птица, а играет как котенок, и я назвал его крылатым котенком. После игры я давал ему воробья, или мышь, или кусок мяса. Соколик, поев, садился на спинку стула и дремал, прищурив свои чудные соколиные очи.

Каждый день я выносил его за ограду сада, сажал на забор, а сам отходил на несколько шагов в степь и звал его: «Чеглик! Чеглик!» Чеглик подлетал и садился мне на плечо или на руку. Я давал ему воробья. С каждым днем я отходил все дальше. Соколик стал прилетать ко мне на зов на очень большое расстояние, на сотни шагов. Соколик стал улетать куда-то в степь и самостоятельно охотиться, прилетая один-два раза в день за кормом, который он съедал у меня на руке, и опять улетал. Я проследил его полет и убедился, что он летит напрямик к березовой роще, где я когда-то нашел его выпавшим из гнезда, беспомощным и голодным.

Теперь мой чеглок стал совсем взрослым красавцем, сильным и ловким охотником.

Прилеты его стали всё реже и реже — через день, через два, а вскоре и совсем прекратились. Чеглочок, мой любимый крылатый котенок, занял в природе свое место и без моей помощи стал бороться за жизнь.

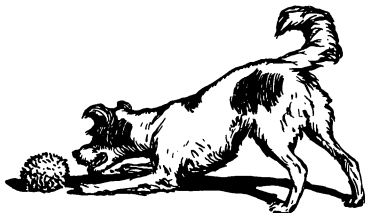
Пожелаем ему успеха в охоте и счастья в жизни.

СУРОК

Мне подарили сурка, толстого, неуклюжего. На его родине, в степях, он зовется байбаком, за его удивительную способность долго спать. Он спит всю зиму, весной, когда зазеленеют травы, байбак выходит из норы и усиленно питается молодой зеленью. Потом наступает жара, травы высыхают, и байбак снова залезает в нору и спит. Спит до осени. Когда пройдут дожди и зазеленеет трава, байбак вторично просыпается и бодрствует до зимы. Наш байбак был ручной, позволял брать себя на руки, гладить его и кормить вкусными вещами. Он любил морковь, печенье, фрукты и молоко. В углу, в сарае с сетчатой дверью, было положено сено; байбак устроил себе там логово и почти все время проводил в спячке.

Один раз моя жена, принеся ему еду, не могла его добудиться. Она подошла к логову и стала трепать его по шкурке и уговаривала проснуться. Байбак выскочил из логова страшно рассерженный. Он встал на задние ноги и свирепо заскрежетал зубами. Он был возмущен до глубины души, и эту обиду он простить не смог. Жена всячески задабривала его, давала самые любимые кушанья, но он на нее бросался, скрежетал зубами и норовил впиться в руку. Он не простил ее до конца своей жизни. К другим же был по-прежнему ласков и брал из рук еду.





ЖУЛИК

Я жил на своей даче в Песках. Умер сторож нашего поселка. Жена сторожа собиралась уезжать к родным в свою деревню. У них оставалась в сторожке маленькая собачка по имени Жулик. Вся черная, отдаленно напоминающая таксу, она была на низком ходу с кривыми вывернутыми ножками, да и с мордочки красива не была: у нее выдавалась вперед нижняя челюсть, как у бульдога, однако привлекали необыкновенно умные, карие глаза.

Нам жалко стало собачку, которая оставалась без хозяев, и мы попросили сторожиху привести ее к нам. Она привела Жулика на поводке и привязала на террасе к столбику. Жулик дрожал, отказывался от еды и рычал, когда к нему подходили. Наутро он исчез, поводок был отгрызен. Сторожиха его опять привела и сказала, что к вечеру она уедет. Но Жулик вылез из ошейника и вечером опять убежал. Идти за ним было поздно, и мы решили отложить это до утра.

Утром смотрим — Жулик сидит на террасе и ласково на нас поглядывает. От еды он не отказался. Мы его не привязывали, а он больше от нас не убежал. Он, видимо, прибежал к сторожке, когда там никого уже не было, и пришел обратно туда, куда привела его хозяйка.

Жулик необыкновенно к нам привязался. Он был очень заботливый хозяин, строго следил за порядком в доме. Он не допускал ссор между курами, не раз спасал кур от нападения ястреба, который частенько наведывался к нам на участок. Ястреб не успевал схватить курицу, как Жулик, яростно лая, набрасывался на него. Когда утка с утятами уходила за участок к ручью, который был недалеко от нашего дома, Жулик, если слышал тревожный крик утки, моментально мчался туда и наводил порядок, возможно, он не раз и утят спасал от ястреба. Но не всегда его заботливость была целесообразна. Он, например, оберегал наш участок от ужей, вероятно считая их вредными и ядовитыми. Надо было видеть, с какой яростью он набрасывался на них. Он, бывало, схватит ужа, сильно тряхнет и сейчас же бросит, как бы опасаясь укуса, потом опять начинает трясти и бросать, и так до тех пор, пока уж не будет задушен, а справившись с ним, гордо уходил победителем.

Так же ненавидел он и ежей. Он мог ночь напролет лаять на ежа и в конце концов загрызал. Прибегал весь в крови — и морда и лапы.

Шла война. Случилось так, что жену мою, которая работала в лесном хозяйстве, перевели из Песков лесничим в Надеевское лесничество, километрах в десяти от нашего поселка. Жулик очень любил мою жену и решил с ней не расставаться и переселился туда же. Он ни на шаг не отходил от нее, где бы ей ни приходилось быть. В приемные дни, когда в контору лесничества приходило много народу, он всегда лежал под столом и зорко присматривался к людям. Но вот в контору входил объездчик, дюжий детина в полушубке, с окладистой рыжей бородой, очень хитрый, с вкрадчивой, ласковой речью. Жена его терпеть не могла. Как могла неприязнь хозяйки передаться собаке? Жулик всегда тревожно вскакивал и начинал рычать. Если же объездчик подходил ближе, Жулик начинал нервничать и норовил схватить его за полушубок. С большим трудом жене удавалось его успокоить.

На других людей он не бросался и не рычал.

Несмотря на маленький рост, Жулик был очень отважен. Он не боялся броситься на большую собаку, если считал себя обиженным. Как-то в лесничество за хозяином прибежала большая, похожая на немецкую овчарку собака. Она нашла кость, спрятанную Жуликом в земле про запас. Жулик с



яростью бросился на эту громадную собаку, которая не хотела уступить добычу и, огрызаясь, кидалась на Жулика. Но отвага маленького Жулика и натиск его были настолько сильны, что собака уступила и убежала.

Как-то жену мою вызвали в Коломну в лесхоз на совещание. От Надеева до Коломны было километров пятнадцать. Она поехала туда на лошади. Жулика она оставила дома, но он вырвался и догнал ее на дороге.

В Коломне был базарный день, было много народу. Проезжая через базарную площадь, жена вдруг заметила, что Жулика нет. Он, видимо испуганный толпой, отстал и потерял след. Жена остановила лошадь и стала его звать:

— Жулик, Жулик!

Поднялся страшный шум:

— Где, где жулик? Что он украл? Куда побежал?

Жена старалась объяснить, что потерялась собака, но волнение еще долго не унималось и волной катилось по базару.

А Жулик пропал. Грустная, ехала жена обратно, слабо надеясь, что Жулик может быть уже дома. Но и в Надееве его не было.

В ближайший выходной день жена поехала навестить меня в Пески. У ворот с радостным визгом встретил ее Жулик. Как он мог найти дорогу из Коломны в Пески за восемнадцать километров? Он никогда не бегал по этой дороге! Ему перепоразивала путь широкая река Москва! Переплыл ли он ее или переехал на пароме? И почему он побегал по незнакомой дороге в Пески, а не в Надеево, дорога куда ему была знакома?

Я страшно волновался, когда увидел прибежавшего Жулика одного, без жены. Он никогда не бегал один. В голову лезли всякие страшные мысли. Жена ездила одна на лошади через лес. Мало ли что могло случиться!

Война кончилась. Жена переехала опять в Пески. Прибежал с ней и Жулик. Занял опять свою прежнюю будочку, возобновил свои старые знакомства, завел новые. Он редко надолго убегал из дому, но знакомства поддерживал. В лесничестве, примерно в километре от нашего дома, через лес, у него была приятельница, которую он изредка навещал. Вот однажды, это было зимой, к вечеру он побегал ее навестить и не вернулся.

Мы искали его и не нашли. А потом узнали, что около нашего поселка появился волк. Волчьи следы были и около нашего дома. Лесник сказал нам, что в лесу нашли остатки черной шерсти и обглоданную волком голову какой-то собаки. Это, конечно, был наш Жулик.





КРЫСА

Наконец она пришла в наш дом. Пришла и поселилась.

До нее в этом доме никогда не было крыс. Крысы любят город, амбары, склады, элеваторы, продуктовые магазины, большие конюшни, птичьи фермы, вообще те места, где много зерна, хлеба, мяса, где можно жить, не заботясь о пище.

А тут небольшой домик в лесу и несколько сарайчиков. Плохо, конечно, но все же можно кое-как устроиться, и крыса поселилась. Когда еще не было этого домика, тут был глухой сосновый бор, а в бору была поляна, поросшая можжевельником, бересклетом, кустами орешника и густым высоким пыреем.

Лес тут рос сотни лет, и в этом лесу жили только звери и птицы. В давние времена тут бродил косолапый мишка. Он перевортывал упавшие стволы деревьев, отыскивая гнезда мышей и личинки муравьев, откапывал корни, поедая ягоды и грибы. Заяц-беляк, чутко прислушиваясь, сидел под нависшими ветвями ели. На голой, сухой вершине сосны ранним весенним утром токовал глухарь. Прошло много-много лет, и на этой поляне застучали топоры, зажужжала пила, раздались веселые голоса строителей и вырос небольшой домик. Это и был наш домик.

Да! О чем я начал? О крысе... Как поселилась крыса в нашем домике, как она, несмотря на все наши хитрости, продолжала припеваючи поживать в нем и причинять нам всяческие неприятности. Мы наделали много пирожков с крыситом, достали капкан, крысоловку-душегубку и вот теперь хотим еще попробовать насторожить большой чугунок. Крыса испортила провод у телефона, обгрызши изоляцию. Телефон вышел из строя. Я думаю, что она это сделала, чтобы предупредить наши звонки в милицию с жалобами на нее. Пирожки с крыситом ею съедены или утащены, капканы спущены, приманка на них съедена, а крыса продолжает наслаждаться жизнью и наносить нам всяческие обиды. То она прогрызет и испортит шкуру, положенную на мое кресло, то выбросит землю из цветочного горшка, то погрызет в подполье картофель. Ночью она гремит посудой, бегает по комнатам, и тетя Шура гоняется за ней с палкой. Нельзя ничего оставить на столе. Крыса терроризировала всех в доме. Все стали спать гораздо хуже, похудели, лишились аппетита... а крыса благоденствует, полнеет.

СОВИК

Это случилось 13 июня 1954 года. Я шел по лесной дороге и встретил плотников, идущих с работы. Один из них подошел ко мне и протянул мне руку, в которой что-то лежало.

— Вот, Алексей Никанорыч, возьми, мы на дороге нашли. Жалко бросить, а ты, может, как выкормишь. Мы и сами никак не пойдем — птенец, что ли? Чудной больно! — Он положил мне в руку маленького птенчика, покрытого белым пухом, местами голого, красновато-синего цвета, с большими, плотно закрытыми глазами и громадным ртом.

Это был соенок, такой маленький, такой беспомощный, что выкормить его мне казалось невозможно. Чем я его буду кормить? И будет ли он есть? Но нельзя же его бросить на дороге... Попробую...

Я принес его к себе в мастерскую, устроил ему гнездо в старой зимней шапке и, раскрыв ему рот, вложил туда кусочек мяса. К моему удивлению, соенок охотно проглотил его и

опять раскрыл рот. Проглотил и другой кусочек. Э, да ты, брат, молодчина! Глотай, ешь досыта. После третьего куса совенок лег на бочок, положил головку, как на подушку, на мягкую подкладку шапки и, по-видимому, уснул. Я покрыл его сверху тряпкой, пожелал ему приятных снов и занялся своими делами.

Совенок стал членом моей семьи. У него был прекрасный аппетит, и он рос не по дням, а по часам. Через две недели это уже был шар из мягких перьев и пуха величиной с два кулака и с темными, задумчивыми глазами. Я кормил его мясом, а когда мыши попадали в мышеловку или когда я находил выпавшего из гнезда воробьенка, у моего питомца был пир. Я давал ему больших ночных бабочек, лягушат, крупных жуков. Любимым блюдом все же были мыши. Когда Совику исполнился месяц, у него уже были большие мягкие крылья, и он, сидя на спинке стула, старался ими размахивать.

Совик живет у меня уже два месяца. Он летает по саду и прилетает, когда я зову его:

— Совик, Совик!

Он садится мне на плечо или на руку и любит, когда я чешу ему шейку. На дорожку сада я ставлю большой таз и наливаю воды. Совик сидит на плече и смотрит. Тогда я говорю ему:

— Ну что же ты? Иди купайся, купайся.

Совик смело садится прямо в воду, и тут начинается забавное представление. Совенок так увлекается купанием, так хлопает крыльями по воде, что сам уже не виден. Это фонтан из брызг, хлопанье крыльев... Совенок весь мокрый, облипший, с него ручьями течет вода, но на личике у него написано блаженство. Кое-как он вылезает из таза и начинает отряхиваться. С большим трудом взбирается на перекладину между ножками табуретки. Тут он долго сидит, тщательно просушивая свои перышки.

Но вот перышки просохли, хорошо уложены, и весь наряд в самом лучшем виде. Совик взлетает на сучок сирени, еще и еще отряхивается и куда-то улетает. Я не боюсь за него — я знаю, что стоит мне позвать его — и он прилетит.

Мне бы хотелось закончить эту историю тем, что Совик окончательно возмужал, научился охотиться на мышей, об-

завелся семейством и прожил долгую счастливую жизнь, но... Но вышло совсем по-другому...

Совик погиб от руки неразумного парня... Я слышал выстрел и пошел в ту сторону, предчувствуя беду. Я нашел Совика, повешенного на заборе соседней дачи. Я взял его, написал с него портрет и похоронил его в своем саду.





ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Из обрезков теса и фанеры я смастерил прекрасный и вместительный почтовый ящик. Спереди у него я прорезал довольно широкую щель, куда было бы можно просунуть газету и письмо. Сверху я сделал на петельках крышку, которая защищала бы письма и газеты от атмосферных осадков, и приколотил это сооружение на ствол сосны недалеко от ворот. Прекрасно! Теперь почтальонше не надо тшкетно звонить, и она не положит на землю мои письма и газеты, что не раз случалось прежде.

Все почтальоны как прекрасного, так и непрекрасного пола панически боятся собак, и, вместо того чтобы приручить собак кусочком сахара или печенья, они предпочитают скандалить и грозить милицией.

Этот ужас перед собаками, хотя собаки были не больше кошки, заставляет их отдавать почту не адресату, а его соседям. Несколько дней почта доставлялась мне таким кружным путем, и я не подходил к своему ящику. В один прекрасный день подхожу, и что же?... Два письма и рваный клочок газеты валяются на траве. Нехорошо. Неужели трудно было положить в ящик? Заглядываю в него и вижу... там гнездышко и восемь яичек. А синичка подлетела и недовольно кричит на меня.

На другой день та же история. Синичке явно мешают письма, и она их выкидывает. Пришлось ящик с гнездышком

повесить на метр выше, а на ворота прибить другой ящик. Этот ящик был старый, железный, и у него была слабая дверка. Козы сейчас же заметили этот дефект и приспособились отворять дверку и съедать газеты и письма.

Не везет мне с почтой. А как я был уверен в ней раньше! Меня восхищало, что вот напишу я письмо, положу его в конверт, надпишу адрес, приклепну марку, и мое послание неведомым, но верным путем обязательно попадет в руки тому, кому я писал. Обязательно попадет! Но я забывал о почтальонах, о дурной погоде, о синичках, о козах, о собаках, которые нападают на почтальонов. Много, много врагов у письма, и нужно исключительное счастье, чтобы письмо дошло до того далекого человека, кому оно адресовано.

В самое древнее время писали на скалах — это была скорее стенгазета, чем письмо. Рисовали бизонов, мамонтов, пещерных львов и героев, побеждающих их или позорно убегающих от них. Если нужно было сообщить дружественному племени о готовящейся охоте на мамонта или на диких лошадей, то на кусочке коры изображали этого зверя, и с этим дипломатическим письмом бежал гонец через дебри и пустыни, и в счастливых случаях он добегал, а большей частью он попадал на завтрак диким собакам или пещерному медведю, и письмо не доходило.

Настоящую почту изобрели еще в Древнем Египте, в Персии, в Древнем Риме.

У нас, на Руси, во время татарского владычества были устроены татарами станции — ямы, в них жили гонцы, и они мчались верхом от яма к яму с приказами хана. Наша почта, русская почта, пошла впервые при царе Алексее Михайловиче, а при Петре Великом уже были почтовые станции.

Сто лет тому назад кому-то пришла в голову мысль написать письмо на кусочке картона. С одной стороны он написал адрес, с другой — письмо. И письмо дошло. С тех пор пошли открытые письма. А теперь на открытом письме напечатано поздравление или самые лучшие пожелания, и ничего писать не надо. Подписался, и конец. Прежде, чтобы отправить письмо, нужно было идти на почту, сдавать это письмо, и стоило это гораздо дороже, а теперь сунул в почтовый ящик, и все — письмо дойдет, если... его не съедят козы, если... и так далее.

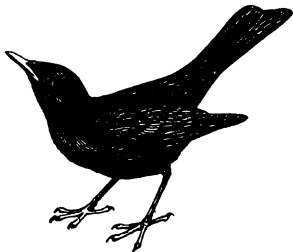
Все же дойдет!

ГАЛОЧКА

Приходилось ли вам когда-нибудь жить, имея своим другом и ближайшим соседом кого-нибудь из вороньей семейки? Ну, скажем, ворону, галку, сороку, грача?

Если приходилось, то вы прекрасно знаете, что, заведя такого друга, вы теряете душевный покой, навсегда расстаетесь с хорошим настроением и все время ожидаете какой-нибудь новой беды.

Вот вы садитесь за стол в уютное кресло и пишете письмо, очень нужное, деловое. Вы совсем забыли, что у вас есть сердечный, любящий вас друг. Но друг не забыл вас, он не способен вас забыть, и он спешит к вам на помощь. Вот он быстрыми шагами бежит к вам по столу, по дороге опрокидывает пузырек с тушью, мгновенно выдергивает у вас письмо и летит с ним на книжный шкаф. Он боится, что вы переутомитесь, а это будет вам вредно. Милый, заботливый друг. Друг этот — галка, стройная, блестяще-черная, с серым платочком на затылке. Подняв под лапу ваше письмо, галочка начинает старательно отрывать от него небольшие кусочки и бросать их со шкафа на пол. Ей нравится смотреть, как эти кусочки летят, кувыряясь в воздухе, и пестрят на полу. Чтобы пропала, чертова птица!!! Это у вас немного испортилось



настроение. Что вы, что вы! Разве можно сердиться на такую милую птичку.

— Анна Николаевна! — кричите вы своей жене. — Уберите вы свою проклятую галку. Она мне весь стол залила тушью и изорвала письмо. Завели же такую мерзость.

Вы в сердцах забыли, что сами принесли этого галчонка и сами его вырастили. Но галчонок этого не забыл, и всем сердцем он льнет к вам. Быть с вами, помогать вам во всех делах, развлекать вас — это его самое заветное желание. На стол для вечернего чая ставят чайник, вазочки с вареньем, чашки. Галочка тут как тут. Со стола звонко падает на пол любимая ваша чашка. От чашки одни черепки. Вот галочка насторожилась. На дорожке в саду играют собаки. Они кубарем катаются по песку и гоняются друг за дружкой. Галочке необходимо принять самое живое участие в этой игре. Она выжидает момент, когда собаки в изнеможении повалятся на бок и будут лежать, высунув языки. Тут она бочком, бочком подберется к ним — и цап Пальму за хвост. Сильный рывок за самый кончик хвоста, и галка уже сидит на перилах террасы, а испуганная и оскорбленная Пальма, поджав хвост, прячется под крыльцо. С маленькой спаниелькой Меджи галочка не позволяет себе такие вольности — Меджи не любит глупые шутки, и лучше с ней не связываться. И так целый день. С утра до вечера вы ожидаете от галочки всяких проказ. Их запас у галочки неистощим.

СОРОКИ

Они были еще маленькие, два сорочонка, когда их принесли, едва оперившиеся. Первое время они дичились и не хотели открывать рот, но потом голод взял свое, и на другой день они орали во всю глотку, прося есть. В еде они не были разборчивы: их кормили и моченым в молоке хлебом, и червями, и маленькими кусочками мяса. Как все птенцы, они были очень прожорливы. Некоторое время после еды они молчали, но через час-полтора поднимали страшный крик. Если бы не ребята, которые вызвались помочь кормить сорок, я должен был бы бросить всю свою работу и только заниматься раздобыванием корма. Сорочата сидели на бортике ящика без клетки и, пока у них не отросли крылья, не решались его покидать. Смешны были первые попытки рас-

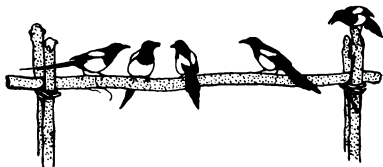
статься с насиженным местом. Они долго вертели головами, пробовали крылья, приседали, чтобы прыгнуть с бортика,— и не осмеливались. Несколько дней они колебались. Наконец один из них расхрабрился и прыгнул вниз, тотчас же за ним прыгнул другой. Они опять огляделись и подпрыгнули, пробуя крылья, но лететь не отважились. Помогли им ребята, они взяли сорочат и невысоко подбросили. Сорочата замахали крыльями и слетели на землю. Видимо, тут они уверовали в свои силы. Мало-помалу, увеличивая длину и высоту полета, они научились прекрасно летать. Но добывать корм сами они не хотели и, почувствовав голод, прилетали к нам, ходили следом за людьми и, открыв рот, кричали и махали крыльями. Наконец сорочата возмужали, оделись в великолепный наряд и перестали выпрашивать еду, а норовили сами без спросу брать то, что им казалось нужным. А нужно им было все, начиная от съедобных до всяких мелких, особенно блестящих предметов. Это были отъявленные воровки, страшно хитрые и ловкие. Помню один трагикомический случай. К нам на дачу приехала мамаша с маленьким, искусственно выкармливаемым ребенком. Был прекрасный теплый день, и мамаша расположилась на террасе. На столе у нее были расставлены бутылочки с молоком, чашки и лежала соска, которую она хотела вымыть и надеть на бутылку. На дереве около террасы расселись сороки и внимательно следили за работой матери. Вдруг заплакал ребенок, мать бросилась к нему... Сорока только ждала удобного случая: как стрела ринулась она к столу, схватила соску и, взлетев на крышу, на глазах у отчаянно кричавшей матери принялась ее долбить.

— Боже мой, у меня одна только соска, как я накормлю Петю! Ради Бога, отнимите ее у сороки!

Ребята принесли лестницу и залезли на крышу. Но сорока была хитра. Она очень близко подпускала к себе преследователя, и в тот момент, когда, казалось, можно будет дотянуться до соски, сорока отпрыгивала, держа соску в клюве, и отлетала дальше. Долго продолжалась погоня, и, видимо, наскладившись игрой и достаточно помучив ребят, сорока соску бросила, но она была уже разорвана.

А как сороки любили дразнить собаку!

Обычно они выбирали момент, когда собака мирно дремала, растянувшись на солнышке. Тут действовали обе сороки. Они бочком подходили к собаке, одна спереди, другая



сзади. Собака, чуть приоткрыв глаза, следила за сорокой, которая была перед ней, у головы. В это время задняя сорока подскакивала ближе и сильно дергала собаку за мохнатый хвост. Собака взвивалась и со страшным лаем бросалась на обидчицу. Сороки моментально взлетали на высокий сучок и с наслаждением смотрели на выходящую из себя собаку. Наконец, успокоившись, собака ложилась снова. Выждав некоторое время, сороки снова повторяли свою забаву, и так до тех пор, пока собака не догадывалась уйти на другое место.

Сороки, летая на свободе, к концу лета стали понемногу дичать, к себе близко уже не подпускали, а глубокой осенью улетели совсем.

Как память о них остались наброски, рисунки, которые были использованы потом для картин и иллюстраций книг.

ГРАЧ

Собаки бросились к калитке. За воротами стояли ребята и что-то держали за пазухой.

— Вам что, ребята?

— Нам сказали, что вы всяких животных берете, не возьмете ли грачонка? Мы его на земле нашли, наверно, из гнезда выпал, а где гнездо, мы не знаем. Только он очень маленький, наверно, его трудно выкормить.

— Дедушка, возьми, возьми его, мы поможем его кормить,— теребили Алексея Никаноровича внуки, подбежавшие к калитке.

— Да, жалко птенчика, ну что же, попробуем заняться воспитанием, — сказал дедушка, принимая от ребят почти голого, неоперившегося птенца.

Грачонок посадили в ящик, наполненный сеном. Он опустил голову и изредка вздрагивал.

— Ему холодно, он озяб, — заявила Мариша. — Я его погрею. — Она взяла его в руки и своим дыханием старалась согреть его.

И правда, грачонок поднял головку и открыл рот.

— Вот видишь, видишь, он есть просит, что ему дать?

— Попробуй дать ему хлеба, только намочи его в молоке, — сказал дедушка.

Девочки накрошили в молоко хлеб и стали совать грачонок в рот, но птенец мотал головой и отворачивался.

— А попробуйте накопать дождевых червей, может, он лучше их возьмет, — посоветовал Алексей Никанорович, наблюдая за кормлением птенца.

Но не сразу и червей стал глотать грачонок. Сначала ему насильно открывали рот и всовывали червячка, и, если червяк не глубоко попадал ему в рот, он его выплевывал. Через день-два грачонок освоился: он с криком разевал рот, если к нему подходили, и глотал и червей, и моченый хлеб, но требовал, чтобы еду просовывали ему глубоко в глотку, иначе он мотал головой и выбрасывал ее.

Птенец скоро подрос, оперился, стал выскакивать из ящика и с криком преследовал людей, прося есть. Он жил на свободе, разгуливая по саду возле дачи, и с возрастом становился умнее и озорнее. Он никого не боялся, собаки его не трогали. Когда же грач, которого прозвали Кар-Кар, научился летать, то сожительство с ним стало уже мучительно. Его проказам не было конца. Надо было все убирать и прятать. Так как он был вхож в дом, он таскал из дома все, что мог унести: наперстки, ножницы, мелкие инструменты и прочее. Все это он утаскивал в кусты и прятал. Интересно то, что он прекрасно знал, что воровать нельзя. Он всегда проказил, когда его никто не видел, и всегда, недовольно каркнув, поспешно улетал, если его заставляли на месте преступления. Отлетев на безопасное расстояние, он издали наблюдал, какое впечатление он произвел своим озорством.

Особенно он донимал жену художника. Она, увлекаясь садоводством, много работала в саду. Грач всегда внимательно следил за работой, и если была повешена этикетка на расте-

нии, грачу непременно нужно было ее снять. Если производилась прививка растений и место прививки заматывалось изоляционной лентой, грач старательно разматывал ее, снимал этикетку и, довольный, торопливо удалялся. Стоило только отвернуться или отойти от рабочего ящика, где были карандаши, этикетки, тетрадки, грач тут же подлетал и, что-нибудь стащив, исчезал. Он опрокидывал корзинки с ягодами или портил плоды — проклевывал дырочки на яблоках, грушах, сливах.

Но, несмотря на все его проказы, его нельзя было не любить. Он всегда откликался и прилетал по первому зову. Он сопровождал хозяев, если они уходили на прогулку, перелетая с дерева на дерево, и летел над лодкой, если они катались по реке. Он никогда не пропускал время обеда и терпеливо ждал, когда ему дадут вкусные кусочки. Обычно он сидел на спинке стула, иногда от него страшно разило луком — это значит он побывал на огороде и занимался тем, что дергал лучок, и не столько ел, сколько портил его. От еды он никогда не отказывался, и если был сыт, то лакомые кусочки брал и прятал про запас: он засовывал их в башмаки, в носок галош, под шкаф или в другие укромные места. Наевшись, грач садился кому-нибудь на плечо или на голову и пытался вытереть клюв о волосы.

Настала осень. Грачи собирались в отлет. К грачу подлетали его дикие собратья. Они клевали у него корм и звали его с собой. Но Кар-Кар не улетел. Он остался верен своим воспитателям. Пришла зима, его посадили в большую клетку, загороженную со всех сторон от ветра, и он благополучно живет до сих пор. Зимой он очень любит лакомиться мышами, которые иногда попадают в капканчик, любит колбасу. Клетка открыта, и он выходит из нее, когда ему хочется.





ЛИСА

Ко мне принесли маленького лисенка. Он был пойман в лесу с перебитой задней лапкой. Я взял его на руки, он сразу же вцепился мне в подбородок и укусил до крови.

Первое время он дичился. Я посадил к нему в клетку маленькую собачку. Это была собачка, не привыкшая к людям, взятая щенком от бродячей собаки, ошенившейся под сараем. Щенок отказывался от еды и стремился убежать. Лисичка и Бобочка, как мы называли щенка, не хотели смотреть друг на друга и отвертывались. Их старались подружить, кормили из одной миски, но они ели отдельно. Лисичка, более смелая, выбирала самые лакомые кусочки, а потом уж Бобочка, когда не было людей, вылизывала остальное. Недели через две лисичка поправилась, стала наступать на ножку, привыкла к людям, стала еду брать из рук. Осмелела и Бобочка, с лисичкой подружилась, но кормить ее пришлось отдельно, так как она, более деликатная, не спорила с лисичкой, уступала ей еду, и если бы мы не давали ей отдельно, оставалась бы голодной. Бобочку из клетки выпустили, но дружба ее с лисичкой осталась. Иногда лисичку и Бобочку я брал к себе в мастерскую, и надо было видеть, какую возню и игру они поднимали. Они прятались друг от друга и гонялись со страшной силой по мастерской. Лисичка легко давала

себя брать на руки и больше уже никогда не кусалась. Лисичка жила в большой клетке, где у нее стояла будочка, в которой она спала. Она очень любила лежать или на крышке будочки, свернувшись клубком, или на высокой полке, сделанной для нее в клетке. В еде она была неразборчива и ела все, что ей давали. Любила сахар, но любимой едой были мышки, которыми снабжали ее все соседи, знавшие лисичку. Как она играла с мышами! Подбрасывала высоко вверх, ловила, швыряла лапкой далеко от себя и прыгала с налета с необыкновенной грацией и проворством. Часами я мог сидеть около клетки, наблюдая за лисичкой. Сколько зарисовок я с нее сделал, как хорошо изучил все ее повадки, привычки! Она к осени хорошо оделась, сделалась пушистой, с великолепным хвостом. Единственно, что было неприятно в ней,— ее ужасная нечистоплотность. Она пачкала всюду, и особенно любила пачкать свою еду. Если она не съедала сразу всего, то обязательно мочилась в остатки. Лисичка у меня прожила три года. Однажды осенью, в то время когда начинается гон у лис и она чувствовала себя очень беспокойной и лаяла по ночам, я, выйдя утром проведать лисичку, ее не нашел. Довольно толстая сетка была разгрызена. Лисичка убежала.

Я очень горевал, спрашивал всех о ней. И вот через неделю вдруг узнаю, что поймана лисичка и находится она у учителя местной школы. Я тотчас же пошел туда. Да, это была она,



но в каком виде! В нее, видимо, бросали палки, поленья, она была испугана, избита и дико озиралась. Учитель не хотел отдавать мне ее, требовал доказательства, что это именно моя лиса. Я взял ее на руки, она от меня не вырывалась (учитель говорил, что она страшно искусала тех, кто ее ловил). Я показал учителю ее ножку, где прощупывался небольшой бугорок от зажившего слома, и учитель вернул мне ее. Но прожила она у меня после этого не долго. Она опять сбежала, прогрызши клетку в другом месте. На прощание она загрызла курицу, которая ходила по двору.

Лисичка больше ко мне не вернулась.

БОБОЧКА

По-другому о там же

Небольшая рыжая собачка на коротких лапках, худая, с отвислым животом, подлезла под пустую дачу, выкопала в углу ямку и легла.

Холодный ветер со снегом рвался во всякую щель и даже там, в углу под дачей, он тормозил шерсть на собаке и обдавал ее холодом. Собака была бездомная, бродяга, пугливая и злая. Жизнь не баловала ее: за каждый кусок она боролась с судьбой, изредка ей удавалось стащить у зазевавшейся хозяйки шмат мяса или рыбу или, на ее счастье, на помойке оказывался заплесневелый хлеб или протухшие котлеты. Да, это было счастье, но счастье редко улыбается бродячим собакам. А зимой так и вовсе было плохо. Дачи стояли пустые, в деревне ребятишки не бегали с краюхами хлеба и не бросали недоеденных корок.

В самое трудное время, когда от голода собачонка превратилась в скелет, обтянутый взъерошенной, грязной шерстью, в колхозе издохла лошадь, ее ободрали и вывезли в овраг. Хотели закопать, но земля так замерзла, что решили подождать до весны. Тут явно фортуна позаботилась о бедных бродячих собаках. Три дня они ели досыта лошадиное мясо, а потом оно замерзло, как камень. С большим трудом можно было отгрызть небольшой кусочек, и все беспризорные собаки по ночам грызли остатки мороженой лошади и свирепо дрались.

Как-то под утро рыжая собачка подбежала к оврагу и насторожилась. Ни одной знакомой собаки не было видно, а около обглоданных ребер стояла какая-то большая незна-

комая собака, с толстым, пушистым хвостом и стоячими ушами. В морозном воздухе был едва заметный намек на незнакомый мускусный запах, запах чуждый и опасный. Инстинкт остановил рыжую собачку и заставил ее со всех ног помчаться в деревню под сенной сарай. Это спасло ее. Волк был занят остатками лошади и не заметил рыжей собачки. После этого случая она стала еще осторожнее и пугливее. Волк только одну ночь подходил к лошади, утром он был уже далеко. В селе он поймал дворовую собачку и с ней умчался на дальнее болото.

Приближалась весна, начались метели, снегу навалило очень много, и обглоданные кости лошади приходилось выкапывать из сугробов, чтобы еще немного поцарапать зубами присохшую к ним кровь. Опять был голод, опять наша собачка превратилась в скелет.

Наступил апрель. Дачи еще были пустые, и рыжая собачка лежала с пустым желудком. Холодный ветер трепал клочья шерсти на ее худых ребрах. Миновала темная ненастная ночь, а наутро возле рыжей собачки лежали четыре щенка, тыкались тупыми мордочками в соски и тихо попискивали. Собачка не переставала их вылизывать. Щенки были пестрые, с коротенькими хвостиками, слепые, беспомощные. Соски у собачки были почти пустые, и щенки теребили их, требуя молока. Надо было во что бы то ни стало где-то добыть еду. Хотя бы поймать крысу или мышонка, хотя бы отыскать корочку хлеба на помойке.

Рыжая собачка поднялась и, в последний раз лизнув щенков, вылезла из-под дачи. Нужно куда-то бежать, где-то добыть еду. И она побежала.

Она пробежала поселок художников, где почти все дачи стояли пустые, а в которых зимовали люди, там были собаки, а вступать в драку с собаками не входило в планы рыжей собачки, и она направилась в деревню Конев Бор. В деревне ей встретились мальчишки, которые шли в школу. Они кричали, толкали друг друга и, увидев рыжую собачку, стали свистеть и погнались за ней. Пришлось свернуть в луга. Мальчишек рыжая собачка боялась и ненавидела больше всего на свете.

В лугах вода широко разлилась и залила Москву-реку и старицы и близко подходила к деревне. Норы водяных крыс были залиты водой, и вот одна крыса, чтобы не захлебнуться, вылезла из норы и с наслаждением дышала весенним воздухом. Водяные крысы плоховато видят, и ей не пришлось в



голову, что на нее зорко смотрят два глаза, а четыре коротеньких лапки приготовились к прыжку. Рыжая собачка, почти не жуя, проглотила водяную крысу. Это была удача. Но крысы было мало для пустого желудка, и собачка отправилась дальше. В надежде на счастье она обежала деревню Конев Бор, сбегала на полустанок, потом побежала в деревню Пески. Пока ничего съестного ей не попадалось.

В это же время в пяти километрах к востоку, в глухом еловом лесу, в заросшем овраге, из глубокой норы вылезла лисица. У нее, так же как и у рыжей собачки, в эту ночь родились четыре лисенка. Четыре бурых комочка лежали на мягкой подстилке в самом дальнем отнорке. Эти комочки тоже просили молока, и лисица отправилась на охоту. Она знала, что в деревне утром бабы выпускают кур из курятника и иногда в лугах пасутся гуси. Охотиться утром и днем было не в привычках лисицы, но в норе четыре бурых комочка требовали пищи, и лиса побежала за добычей в дачный поселок. Тут было тихо. В заколоченных дачах скреблись только мыши да синички попискивали, перелетая с дерева на дерево. За зиму всех кошек, брошенных дачниками, переловили лисицы или они издохли с голода. Лиса тихо пробиралась от одной дачи к другой и чутко прислушивалась. У лисицы слух

очень тонкий и нюх отменный, и она вскоре услышала тихий шенячий писк и учуяла запах. Она заглянула под дачу. Там было пусто — собаки не было, только в одном углу что-то копошилось и тихонько стонало. В один миг лиса была там. Схватила в зубы двух щенков и, пулей пролетев поселок, в густых зарослях молодых елочек съела обоих щенков и, довольная богатой добычей, напрямик отправилась к своей норе. С километр не доходя до норы, она вернулась на свой след, сделала скидку, прошла метров сто, опять вернулась по своему следу и опять сделала прыжок через куст и, проделав все это еще два раза, осторожно подошла к своей норе. В норе все было тихо. Лиса облизала своих лисят и легла около. Бурые комочки зачмокали, присосавшись к соскам. Лисичка закрыла глаза и задремала.

Рыжая собачка, обегав все поселки и не найдя ничего, вернулась к пустой даче и, подлезая под нее, учуяла какой-то новый неприятный запах. Она в страхе бросилась к своему гнезду. Только два щенка! А где же еще два? Собачка поспешно обежала все подполье — нигде щенков нет. Обежала вокруг дачи, обежала соседние участки. Нигде нет ее бесценных деток. Собачка жалобно завывала и легла к оставшимся двум щенкам. Молока у нее было так мало, что его не хватило даже на двух.

Щенок с четырьмя круглыми пятнами на спине был сильнее и отталкивал другого. Прошло несколько дней. Сильный щенок один высасывал все молоко, а другому только изредка удавалось кое-как пососать. Всегда голодный, он с каждым днем все больше и больше слабел. Наконец он перестал двигаться и лежал холодный, недвижимый. У рыжей собачки остался один щенок.

Был теплый весенний день. Скрипнула калитка, и собачка услышала частые женские и еще более частые детские шаги. Шаги поднялись по ступенькам на крыльцо. Щелкнул замок двери. Послышались голоса — женский и детский. Мимо дачи проехала грузовая машина. Поселок художников стал оживать.

Над головой рыжей собачки раздавались голоса, двигались стулья, стучали каблучки. Необыкновенно приятный запах добрался до голодного собачьего носа — так может пахнуть только поджаренная свиная котлетка. Рыжая собачка упивалась этим ароматом, а голод еще больше терзал ее. Это было нестерпимо. И собачка вскочила и выбежала из-под дачи. Она села и стала смотреть в открытую дверь. Там, в комнате,



сидели за столом молодая женщина и девочка. Девочка увидела собаку и закричала:

— Мама, мама, смотри, вон видишь, это та же прошлогодняя собачка! Ой, какая она худая! Мама, можно я ей дам хлеба? — И большой кусок хлеба полетел из двери.

Собачка отскочила в испуге, но запах хлеба притянул ее, и она с жадностью схватила кусок и мгновенно проглотила.

— погоди, Леночка, мы ей дадим в прошлогодней кормушке.

Прошлогодняя кормушка стояла на террасе. Леночка скоро ее нашла и в нее вылила остатки молока, крошила хлеб и туда же положила косточки от свиных котлет. Эту пищу богов вынесли и поставили недалеко от крыльца, а сами стали смотреть из окна. Собачка долго не решалась подойти к кормушке, но голод взял свое. Крадучись, ползком, она подошла и лизнула. Ничего... Никто не бросил в нее палкой, никто не заорал. Глоток за глотком она все смелее хватала куски, в зубах у нее затрещали свиные косточки, и в момент кормушка была пуста. Мать и дочь из окна видели, как собачка была худа и как она с жадностью ела.

— Мама, мы будем ее кормить! — говорила Леночка, и слезы жалости заволакивали ее глаза.

Люди были добры к ней, люди кормили ее, но рыжая собачка не могла доверять им. Всю свою жизнь она страдала

от людей. В нее летели камни, палки, на нее кричали, а один раз близко над ней пролетела пуля и грохнул выстрел из ружья. Теперь человека с ружьем она обегала на большом расстоянии.

Над ее гнездом поселились люди. Ходят, разговаривают, шумят. Рыжей собачке это все очень неприятно. Она предпочитает тишину, глубокую тишину пустой дачи, и рыжая собачка перенесла своего единственного щенка под пустую дачу. Она перенесла его ночью, чтобы никто не видел и не знал, где щенок.

Наступили теплые весенние дни, и поселок художников с каждым днем оживлялся все больше и больше. Пустых дач уже не оставалось, и та, под которую рыжая собачка перетащила своего щенка, тоже оживилась.

В ней поселились две дамы, одна старенькая, другая помоложе. Переносить щенка было некуда, и он остался под этой дачей. Дамы давали собачке остатки от обеда, и Леночка тоже звала и кормила ее. Щенок изредка вылезал из-под дачи, но мгновенно скрывался, если кто-нибудь выходил из дома или звал его. Щенок, как и его мама, был дикий и трусливый.

Соседи сказали дамам, что им надо собаку и они возьмут щенка. Но как поймать его? Надо было подкараулить его, когда он выйдет лакать молоко из кормушки... Подкараулить и заложить дыру под дачу. Так и сделали. Щенка поймали. Он визжал и рвался из рук.

Дама помоложе завернула его в старую юбку и понесла к знакомому художнику. Старый художник встретил ее у калитки.

— Вот вы какое существо принесли,— сказал он.— Ну, большое спасибо. Как вы его назвали?

— Это Бобик,— сказала дама.

Старый художник вынул Бобика из юбки и засмеялся.

— Да какой же это Бобик? Это Бобочка.

Так Бобочка познакомилась со старым художником.

Бобочка стремилась удрать от людей, и ее пришлось на первое время посадить в клетку, в которой когда-то жил заяц. Бобочка забилась в угол за парниковые рамы. На другой день она вылезла из угла и с аппетитом поела. Старый художник взял ее на руки и тихо уговаривал не дичиться, слушаться старших, не кусаться, не драться с собаками, не гонять кур. Бобочка слушала и смиренно сидела на руках.

С этих пор Бобочка признала старого художника и следовала за ним по пятам.

В это же время в глухом овраге в лисьей норе лисята подросли, окрепли, и огонь жизни, горящий в их маленьких сердечках, настойчиво звал их вон из норы, на вольный воздух, на простор. Лисята в отсутствие матери стали далеко отбегать от своей норы.

Они весело гонялись друг за дружкой, боролись, рыча, старались повалить один другого, ловили бабочек и мух, и вдруг перед ними из кустов выбежали два парня. Лисята никогда не видали людей, и тут они от удивления и от страха растерялись и завертелись на одном месте. Полетели две палки, и один лисенок с перебитой задней ногой закружился и пополз, волоча зад. Его скоро поймали, завернули в куртку и понесли.

Старый художник купил лисенка. Он взял его на руки, но, должно быть, лисенку было больно сломанную ножку, и он до крови укусил художнику подбородок.

Лисик стал жить в клетке. В клетке была конура, а на стене полка, на которой Лисик любил лежать. Сломанная ножка скоро срослась. Иногда Лисика брали в мастерскую художника и пускали бегать с Бобочкой. Вот поднималась беготня, по стульям, по кровати, по столам! Веселье не знало удержу. С высунутыми языками и Лисик и Бобочка гонялись друг за другом. Лисик был и быстрее и ловчее Бобочки и гораздо неугомоннее. Набегавшись досыта, они ложились рядом на кровати. Тогда старый художник брал Лисика на руки и уносил в клетку, а Бобочка выбегала на двор.

Наступила зима. Бобочка выросла, и Лисик вырос, окреп, и пускать его бегать на воле было опасно — он стремился удрать.

В их компанию из Москвы прибыла новая личность — Мурзик. Этого Мурзика нашла в магазине артистка Малого театра. Долго дожидалась она, не вернется ли его хозяин, и, не дождавшись, принесла собаку к себе домой. Мурзик был тогда еще щенком.

Добросердечная артистка притащила его в свою комнату. Мурзик с благодарностью смотрел на нее умными глазками. Ему были предложены остатки свиной тушенки в консервной банке, туда же было вылито стуженное молоко и компот. Мурзик вздохнул и все съел. Голод не тетка. Плотно поев, Мурзик мирно уснул на вязаной кофточке артистки.

А вот что дальше случилось, этого Мурзик совсем не ожидал. Проснувшись, Мурзик открыл лапками и носом дверь

в коридор и стал искать укромное местечко. Самым укромным ему показался угол, где стояли новенькие дамские калоши.

Из кухни вышла полная дама с кастрюлей молока. В коридоре было темновато, и дама наткнулась на Мурзика. Отчаянный вопль — и кастрюля с молоком на полу. Все двери, выходящие в коридор, открылись, и тут уж все дамы завопили хором.

— Чья собака? Откуда? Это безобразие! Полон дом каких-то собак!

Одна из дам увидела свои новенькие калоши со следами Мурзика. Взрыв всеобщего негодования не поддается словам.

Мурзик стоял и смотрел на беснующихся дам своими умными, добрыми глазами. Артистке стали стучать в дверь.

— Это ваша собака? Какое безобразие! Возьмите свою ужасную собаку, и чтобы ее не было в нашей квартире. Мы пойдем в домоуправление, в милицию, к прокурору...

Артистка обиделась, взяла Мурзика на руки и помчалась к своей подруге.

— Здравствуй, Оля! Я принесла тебе подарок, смотри...

Она поставила на пол мохнатого песика. Вошла девочка Аня.

— Мама, какая чудная собачка, совсем как у Карандаша, смотри, и ушки стоят и борода. Это Мурзилка!

Безымянная собачка получила имя. Видя улыбающиеся лица и ласковое внимание к себе, Мурзик развеселился, стал лаять, прыгать на всех и приглашать поиграть с ним, побегать взапуски.

В это время в комнату вошел кот Мишка. Он не спеша подошел к Мурзику, мрачно заурчал и, не говоря худого слова, дал Мурзику по морде лапой. Мурзик опешил. Он отошел в сторону и, ласково виляя хвостиком, с почтением смотрел на грозного хозяина.

Мурзик остался жить у своих новых друзей. Но он прожил тут недолго. Аня отвезла его в Пески к старому художнику. Тут судьба еще раз улыбнулась Мурзику. Бездомный песик попал в рай. Его милостиво встретила борзая Сильва, маленькая Бобочка, Лисик, сам старый художник и все обитатели райского сада.

Тут Мурзик взял в свои лапы охрану старого художника. Вдвоем с Бобочкой они неустанно караулили свой сад, свой двор и не допускали вторжения чуждых элементов. Им было строго запрещено переходить границу к соседу. Вдоль границы никакой ограды не было, только на дорожке стояла



арка из вьющихся растений. Ни через границу, ни через арку собаки не должны проходить, и этот закон они выполняли честно. Но если со стороны соседа переходили границу Абас или Пальма, сражение было неизбежно, маленькая Бобочка яростно бросалась на вдвое большую Пальму. Мурзик заступался за свою приятельницу, и битва кончалась только тогда, когда Бобочке, изрядно потрепанной, удавалось заставить Пальму с позором удрать.

Зима была лютая, снежная, с метелями. Лисик в своей клетке, забившись в конуру и свернувшись клубком, большую часть суток спал. Но вот художник стал замечать, что иногда, по вечерам, Лисик хрипло лаял и беспокойно носился по своей клетке.

Приходит художник как-то утром — Лисика нет. Прогрызена проволочная сетка, и ясный след к забору. В заборе щель. Прощай, Лисик. Его позвал голос инстинкта. Могучего, непобедимого инстинкта. От души пожелал старый художник своему маленькому другу найти подругу жизни, найти мирный уголок и пожить полной звериной жизнью.

Мурзик побежал было по следу Лисика, но скоро вернулся.

И еще несколько слов о Бобочке. Эта собака привязалась к старому художнику, она не отходит от него, а когда он уезжает или уходит куда-нибудь, она лежит у калитки и смотрит на дорогу и день, и два, и три...

Бобочка — прекрасный караульщик, она не пропустит никого во двор и уж обязательно проводит яростным лаем.

Она ни к кому чужому не подойдет и не возьмет ничего, даже самого вкусного.

Мурзик немножко с ленцой и не столь ярый защитник.

РАЗГОВОР С МУРЗИКОМ

Дорогой Мурзик! Вот ты лежишь под садовой скамейкой, лежишь грустный, даже иногда тихонько повизгиваешь. Загри-вок у тебя в засохшей крови, задняя лапа распухла, и ты с трудом на нее наступаешь. Как все это грустно! Что заставило тебя броситься в бой с базуринскими собаками? Их две, а ты один. Это нечестно с их стороны. Да, ты храбрый пес. Ты настоящий герой! Тебе показалось, что базуринские собаки могут укусить Маришу, и ты не рассуждая бросился на них. Это, конечно, хорошо. Это по-джентльменски — защищать своего друга. Раны твои заживут, но слава останется. Слава храброго, честного пса. Да, в этом случае ты прав, но что заставляет тебя постоянно враждовать с соседом? Ты прекрасно знаешь, что Абас твоих хозяев не кусает, да и Пальма тоже, а вот твою обожаемую Бобочку она не любит. Ты за нее заступаешься? Ты герой, Мурзик! Но как было бы хорошо, если бы вы жили дружно со своими соседями. Бери пример с меня — я ведь не грызусь с Сергеем Сергеевичем, не катаюсь с ним по земле в отчаянной схватке. Если мы иной раз и порычим немного друг на друга, то все же до драки дело не доходит, и мы друзья. Так и ты. Подойди к Абасу, поверти хвостиком и отойди в сторону! Это мой дружеский совет!

ЗА ГРИБАМИ

Субботнее утро обещало ясный день без осадков. Надо скорей-скорей собираться, напиться чая и катить в лес. Таня спешно направляет свою голубую «Волгу», роется в ее кишочках, поит водой. Машина, пятась, выезжает со двора,

развертывается, и все залезают на свои места. Багажник забит корзинами для грибов, в авоське куча яблок; дедушка, обязанность которого сторожить машину, забрал альбом, акварель, складной стульчик и сел рядом с Таней. Мурзик с радостными воплями уже давно мечется внутри машины, перелезая с одного сиденья на другое, и торопит Таню скорей ехать. Всем хочется побродить по лесу, набрать грибов, у всех радостные лица. У всех, кроме несчастной Бобочки. Она с тоской видит, что в машине уезжает дедушка, и она остается дома без своего любимого друга. Бобочка бросается вслед за уходящей машиной, она мчится за ней из последних сил, но ее коротенькие лапки не могут соревноваться с этим чудовищем, уносящим дедушку. Бобочка скоро отстает и печально смотрит вслед убегающей «Волге».

Всех счастливее в это летнее утро был Мурзик. Он сидел рядом с дедушкой и смотрел в открытое окно. На его мохнатой мордочке расплылось блаженство. Мелькали мимо кусты, деревья, дома. От машины с криком отлетали куры, иногда мелькали собака или кошка, тогда глаза у Мурзика загорались, он до половины высовывался в окно и успевал разика два брехнуть. Машина мчится. Скорей, скорей. Навстречу едут мотоциклы, «москвичи», даже автобусы, люди просто идут пешком, с полными корзинами — это все грибники.

Мы, конечно, опаздываем, и грибы уже все собраны, остались только пеньки от срезанных ножек. По обочинам дороги иногда стоят машины, иногда видно запрятанную в кустах «Волгу» или «Победу». Много людей уже побывало в лесу, обобрали грибы. Вряд ли найдешь белый гриб! Но ведь лес велик, и к тому же кому какое счастье.

Машина сбавляет ход и начинает спускаться с шоссе в лес. Заехали в укромный уголок и остановились. Девочки выпрыгнули, и Катя уже нашла подберезовик. Все забирают корзинки, дедушку сажают на складной стульчик, дают альбом и все прочее и оставляют караулить «Волгу». Мурзик радостно носится по лесу, перебегая от одного грибника к другому. Дедушка тихо сидит и с удовольствием рисует мохнатые ели, пни, маленькие елочки, собравшиеся в кучку и о чем-то перешептывающиеся между собой, ствол старой березы, сухой, с наплывами и грибными наростами. К дедушке приближается стадо. Слышны окрики пастуха, хлопки пастушьего кнута, мычанье коров. Вот показалась первая корова, за ней другая, третья. Увидя сидящего человека, коровы сворачивают

и, не интересуясь живописью, обходят стороной. Пастух, молодой парень, мельком взглянул и прошел равнодушно, как мимо гнилого пня. Из всего стада только одна молодая телка остановилась, любуясь написанным пейзажем. Постояла и пошла, переживая увиденное.

Два часа я писал пейзаж. За это время мимо меня прошел только один грибник с полупустой корзиной.

— Нешто это лес? Одни окурки да конфетные бумажки... Вот у нас в Белорусии! Грибов!!! Ступить негде. Да все белые, белые. Мы черных грибов и не берем. А тут... Тыфу! Смотреть противно! — Грибник плюнул и поплелся дальше.

Мои, видимо, зашли далеко. Я два разочка гуднул машиной. Сижу слушаю. Неожиданно появилась Наталия Александровна. В корзине у нее немного грибов. Все больше опенки да сыроежки и разные красивые сучочки и мхи, наплывы, лишай.

— А какой я нашла чудесный наплыв на березе. Громадный, похожий на голову какого-то диковинного зверя. Только он висит на дереве очень высоко. Не достанешь. Надо приехать сюда с пилой и спилить эту гнилую березу. Я место заметила и найду.

Выбежала Маришка. Сияющая. У нее в корзине пять белых и очень много опенков. Вышли Таня и Катя, у Кати белых оказалось пятнадцать. Катя побила рекорд. Все возбужденные, немного уставшие, голодные и довольные.

Из багажника вытаскивают мешок с яблоками и с азартом грызут. Когда немного успокоились, отдышались, выяснили, кто что нашел и у кого грибы лучше, вдруг вспомнили:

— А где же Мурзик? — Погудели машиной и стали что есть мочи кричать: — Мурзик! Мурзик! Мурзик!!!

Мурзика нет. Подождали полчаса и снова хором стали звать Мурзика. Вспомнили, что Мурзика уже давно не было видно. Вышли на шоссе и там стали вопить в пять голосов:

— Мурзик! Мурзик!?

Какой-то пеший грибник с полной корзиной белых (внизу под ними наверняка всякая дрянь, а белые только сверху для закраса) остановился, поставил корзину на землю, утер рукавом пот со лба и сказал:

— Вон там далеко я видел — две собачки играли. Так, небольшие собачки. Знать, и ваша там.

Мы поблагодарили грибника и принялись еще пуще орать. Дудели машиной и, надрываясь, кричали. Таня выкатила «Волгу» на дорогу. Мы стоим и смотрим — никого не видно. Шоссе блещет белизной. Но вот что там чернеет? Точка движется. Точка подвигается к нам. Да, это Мурзик. Во всю прыть своих коротких лапок он мчится по дороге к нам. Он испугался, что мы уедем без него и он останется тут в незнакомом лесу один, без друзей, без хозяев. Все ближе, все ближе к нам мчится Мурзик. Вот он с нами. Он так спешил на наш зов. Он не может отдышаться. «Ах, ах, простите, пожалуйста. Ах, ах, я увлекся, я забыл все на свете. Она так обаятельна, она так прекрасна! Она нежно укусила меня за щеку, и я потерял голову! Ах, ах, я не могу отдышаться».

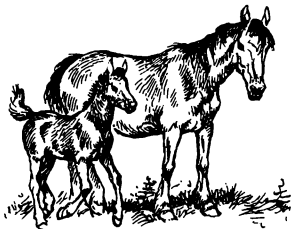
Мы уже давно едем в машине, а бедный Мурзик все еще ахает и тяжело дышит. Песик, видно, струхнул не на шутку.

— Дурачок,— говорит Катя,— неужто ты думаешь, что мы оставим тебя в чужом лесу? Ведь ты же наш, наш песик.

Едем уже больше получаса, а Мурзик все еще вертится и часто дышит. Вперед тебе, Мурзик, наука — никогда не отбивайся в незнакомом лесу. Пес сидит со мной рядом, и у него на морде уже появляется блаженная улыбка.

А помнишь, Мурзик, как ты обиделся, нет, не обиделся, а оскорбился, когда Таня не взяла тебя в Пески? Когда Таня вернулась, Мурзик стал на нее лаять. Как-то особенно лаять. Совсем не так, как он обычно лает на чужих. Он опустил голову и, несмотря на зов, даже не поглядел на Таню, ушел в беседку, сел там под скамейкой и сидел, уставясь в темный угол. «Все кончено! Если ты так поступаешь со мной, то и я не могу простить тебе».





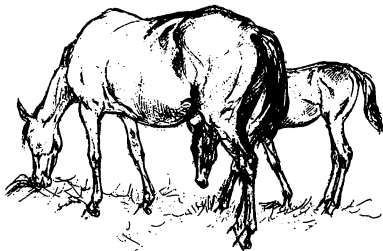
ЯШКА

Его называли Яшкой. Ну что ж, Яшка так Яшка. Русские кучера своего любимого коня обычно зовут Васькой. Будь он хоть Ганибал, хоть Мелек-Тимир, хоть Буцефал, кучер зовет его Васькой. И конь не обижается на эту кличку и тихонько ржет в ответ.

У кобылки Змейки родился жеребенок. Она заботливо его обнюхала и осторожно перешагнула через него. Жеребенок лежал тихо и удивленно смотрел на бревенчатые стены, на лучи солнца, бьющие сквозь запыленные стекла. В лучах танцевали пылинки, в стекло билась муха. Жеребенок захотел встать. Он вскинул передние ножки, оперся на них, хотел поднять задок, но не удержался, упал и забился на соломе. Змейка нагнулась к нему, тихонько заржала и подставила ему свои соски.

Жеребенок встал, качаясь на высоких ножках, и сделал первый шаг. Он стал тыкаться мордочкой ей под грудь, под бок, наконец нашел сосок и стал сосать.

Прошло два дня, и жеребенок уже уверенно бегал за мамой, разыгравшись, подкидывал задом и галопом кружил вокруг нее. Змейка щипала траву, любуясь своим бойким сынком. Теперь он стал полноправным жителем поселка «Советский художник». Вместе со своей мамой он развозил по дачам баллоны с газом, доски, шифер, отвозил дачников на станцию.



Его, конечно, все знали. Дети кормили его сахаром и хлебом, ласкали и немножко боялись.

Когда Змейка привозила какой-нибудь груз на дачу, дети выбегали, кричали: «Яшка! Яшка!» — и прыгали вокруг него. У него был добрый спокойный характер, и он не кусался, не бил ногами, не старался сделать больно. Но он был еще ребенок, и ему хотелось пошалить, побегать, попрыгать. Он не отставал от своей мамы и все лето сопровождал ее. Это была счастливая пора его детства.

Он, конечно, не знал, что члены кооператива на общем собрании обсуждали вопрос его дальнейшего существования. Мнения разделились: некоторые были за то, чтобы жеребенка продать на колбасу, но большинство решило подарить его Роксане. Были и такие предложения: дать жеребенка Роксане на воспитание, пусть кормит, поит и забавляется с ним сколько душевнечке угодно, а через два года она вернет его кооперативу за полцены. И подарили! Никому он ни гроша не стоил, отчего не подарить.

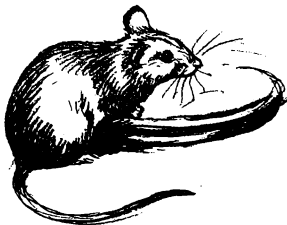
И вот Яшка у Роксаны. Если лошади за праведную жизнь попадают в рай, то Яшка попал туда фуксом. Никакой он праведной жизнью не жил, никаких трудовых подвигов не делал, а попал в рай. Его главным божеством стала Роксана. Она избавила его от превращения в колбасу, она сделала его жизнь вечным праздником. А какая честь! Его, бес-

породного жеребенка, запрягают в качалку, как какого-нибудь рысака, на него надели седло, и само божество, сама Роксана садится на него верхом. И Яшка галопом скачет под седлом. Яшка воображает себя кровным ахалтекинцем или буденовцем. Не надо замечать, что у Яшки толстые лохматые ноги и широкий, жирный круп, зато у Яшки длинный, до земли, пышный хвост. Яшка — признанный Роксаной красавец, с него художники пишут портреты, с него скульпторы лепят статуи. Яшка мечтает о всемирной славе. Ведь были же такие знаменитые лошади, слава о которых гремела на весь мир: был Пегас, Буцефал, Холстомер, Карагез. Чем Яшка хуже их? Ведь был же Конек-Горбунок! Ну какая красота была в нем? Урод. А слава гремит и по сей день.

И Яшка решил затмить славу Конька-Горбунка. Он держал это в секрете. В самом строгом секрете. Он размышлял так: сядет на меня моя дорогая Роксана, ничего не подозревая, а я помчусь что есть духу в тридевятое царство, в тридесятое государство за жар-птицей. Но в округе не было ни тридевятого царства, ни тридесятого государства, да и жар-птицы тут не водились. Были только грачи да вороны, и их уж никак за жар-птицу не примешь.

Эти мечты не сбылись, но слава все-таки подкралась к Яшке. Кроткий и ласковый, Яшка стал понимать русский язык. «Яшка, подай!» И он идет, поднимает брошенную уздечку и подает. «Яшка, запри ворота!» Яшка мордой запирает их. «Яшка, ты любишь меня?» Конь утвердительно кивает головой. «А кнут ты любишь?» Яшка отрицательно трясет головой. «Налево! Направо! Рысью, галоп, стой!» Яшке не надо вожжей — он понимает слова. Правда, бывает иногда, что он с тележкой, соблазнившись зеленой веткой, заезжает в такую глушь, что трудно его и тележку оттуда «выпытить».





ЗАМЕТКИ О ЖИВОТНЫХ

Певчая мышь

Однажды, это было в Москве, раздался звонок по телефону. Я подошел. Послышался голос моего приятеля:

— Очень забавный случай, ты когда-нибудь наблюдал такое? Около клетки со щеглом появилась мышь. Она стоит на задних лапках, никого не боится и поет. Мы ее взяли в руки, а она петь не прекращает. Слушай, я поднесу ее к телефону.

В телефоне раздалось пиканье: «пик, пик, пик» — и так долго без перерыва. Приятель предложил мне ее взять.

На другой день я ее принес к себе, посадил в клетку, но мышь больше не пела. Это была простая серенькая мышка, ничем не примечательная. Что ее заставило петь — неизвестно.

Снегирь

Очень давно, когда мне было лет тринадцать-четырнадцать, у меня был вот совсем такой же снегирек. Я поставил его клетку перед собой и старательно нарисовал его в натуральную



величину акварелью. Поставил рисунок перед клеткой. Снегирек тотчас же принял позу угрозы — раскрыл клюв, раздвинул крылья и приготовился к бою. Но портрет сидел смирно в позе покоя и равнодушия, и снегирек вскоре тоже успокоился.

9/III 76 г.

Сорока

«Сорока-воровка кашу варила...»

Помните эту песенку? Это очень поучительная песенка, и младенец, слушая ее, с первых дней своей жизни загорается любовью к труду. Он хочет носить дрова, топить печку, чтобы заработать кашу. Вот видите, вы с раннего возраста знакомитесь с сорокой. А видели ли вы ее? Очень многие ее не видали. А если и видели, то не замечали — птица и птица. Стоит ли обращать внимание на всякую мелочь?

Кому же довелось иметь у себя дома ручную сороку, вот те хорошо знают, что такое сорока.

Сорока-белобока — очень красивая птица. Хвост у нее отликает зеленоватым и красноватым металлическим блеском, голова угольно-черная, на боках белые пятна. Характер у нее



веселый, она любопытна, и у нее неодолимая страсть к накоплению богатств. Всякая вещь, в особенности блестящая, привлекает ее внимание, и она стремится припрятать ее куда-нибудь подальше. Чайная ложка,

кольцо, серьги, пуговица и тому подобное она моментально хватает и, несмотря на крики и брань, улетает и старательно прячет где-нибудь в дровах или в мусорной куче. Попробуй найди. Она любила убирать вещи, чтобы они не торчали на глазах. Она считала, что хорошо убранная вещь будет целее и проживет дольше. Эта страсть к уборке и к борьбе с пылью и окурками свойственна не только сороке.

Если вы работаете за своим столом в своем кабинете, у вас создается свой порядок и вы мало обращаете внимания на лежащий окурочек или кучку пепла. Вы привыкли к такому порядку, и вы знаете, какая книга лежит у вас на столе, какая на стуле рядом с вашим креслом, какая под креслом, какая под столом и где у вас ручка, где карандаш, где баночка с гуашью, где клей. Книг много. Они лежат кучами вокруг вас, но стоит вам протянуть руку, и вы берете из этих куч ту книгу, которая вам нужна. Это ваш порядок, и его менять нельзя. На первый взгляд это, конечно, мало походит на порядок, но привычка создает удобство, и вы к этому привыкли, и вы, не глядя, знаете, где какая книга. И вот тут-то является некая сорока...

Кукушка

— Ай, ай, ай! Кукушка, кукушка! Как же вам не стыдно в чужие гнезда яички класть. Прошлым летом вы положили в мое гнездо ваше яичко... Помните? Ну и намучились мы с вашим кукушонком. Аппетит у него волчий. Мы с ног сбились, таская ему червяков, жуков, бабочек, а он знай глотает и опять есть просит. У нас сердце не камень — сами голодные, а его кормим.

— Я вам очень благодарна, госпожа горихвостка, за ваши заботы о моем сыне, но я, право, не знаю, как быть. Не умею я свить гнездо. Даже не знаю, с чего начать.

— Ничего, я вас научу. Полетели!..



И горихвостка с кукушкой перелетели поляну и сели на старую плакучую березу.

— Смотрите! — сказала горихвостка и указала кукушке на маленькое гнездышко, ловко прикрепленное на конце ветки. — Это гнездо зяблика. Оно глубокое и очень теплое. В нем не озябнут юные зяблики, а снаружи оно все мхом и тоненькими пленочками бересты утыкано — это для маскировки. Смотрите, как ловко сделано — гнездышка совсем не видно.

— О нет, это гнездо мне не подходит... Мне бы попроще. Такого гнезда мне, хоть век учись, не сделать.

— Ну, тогда я вам покажу гнездо горлицы. Вот, смотрите, не гнездо, а решето — насквозь все видно. Я всегда удивляюсь, как это из такого решета яички не вываливаются.

Кукушка посмотрела на гнездо горлицы и подумала: «Пожалуй, такое я смогу сделать».

— Благодарю вас! — сказала она горихвостке. — Попробую. Принесла кукушка веточку, положила ее на дубовый сук, подул ветерок, и веточка упала на землю. Принесла другую, и другая упала, и третья. «Да! Не так-то просто делать гнезда, — подумала кукушка. — Лучше я на земле его сделаю или в дупле».

Тут увидела она невысокий пенек, внутри пустой. «Вот и чудесно! Положу я внутри пенька яички и прекрасно высижу

кукушат». Положила кукушка на гнилую труху яичко, через два дня второе и села на них. «Вот теперь уж никто меня корить не будет. Сама высижу, сама выкормлю». Посидела немного и полетела завтракать.

Мимо пенька ежик бежал, а у ежика чутье хорошее, учуял ежик — в пеньке яичками пахнет, поднялся на задние ножки, заглянул в пенек и кувырнулся внутрь. Прямо на яички упал. Захрустели скорлупки на зубах у ежика. Был уже полдень, когда кукушка вспомнила о своем гнезде. Пенек был пуст, от яичек остались только кусочки скорлупок. Опечаленная кукушка грустно сидела на пеньке и смотрела на остатки скорлупок.

— О чем это вы так грустите? — спросил кукушку дятел, винтом взбираясь по стволу березы.

— Да вот кто-то мои яички съел. Они в этом пенечке были, там я гнездо сделала и сама хотела вырастить кукушат.

— Странно... — сказал дятел. — Никогда я не видал кукушечьего гнезда. Что это вам взбрело на ум гнезда делать? Странно... Да вы все равно ни гнездо сделать не сумеете, ни кукушат выкормить вам не удастся. Это большая и трудная работа. Бросьте это дело! Живите, как все кукушки живут.

Дятел стал что есть духу долбить клювом по гнилому стволу березы, полетели щепки, открылся ход, и он вытащил большую, толстую личинку усача.

— До свиданья! Полечу кормить деток, — сказал дятел и с личинкой в клюве полетел к своему дуплу.

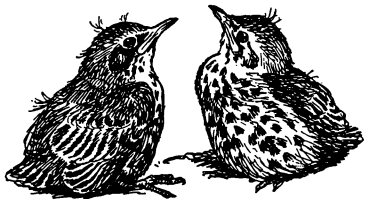
Кукушка подумала и полетела искать личинок.

С тех пор ни одна кукушка не пытается делать гнездо, а подкладывает свои яички в гнезда мелких птичек.

Таков закон природы.

Вундеркинд

Ежик обежал вокруг осинового пенька, поднял мордочку и сопя стал нюхать воздух. Без сомнения, с вершины пенька пахло птичьим гнездом. Ежик попробовал влезть на пенек, но сорвался, попробовал еще раз и опять сорвался — пенек был слишком высок. Если бы ежик ухитрился влезть на него, он увидел бы в пеньке ямку, а в ямке кругленькое гнездышко, и в нем четыре голубых яичка. Над гнездышком свешивалась еловая ветка и прикрывала его от любопытных глаз. Неделей раньше этот пенек понравился парочке горихвосток, они



устроили в нем гнездо, и мама-горихвостка отложила там четыре голубых яйца.

Наступило погожее весеннее утро, стало совсем светло, ежик подлез под кучу листьев и заснул мирным сном. Ежик заснул, а горихвостки проснулись в густых еловых лапах и отправились завтракать на ближнюю полянку. В это время кукушка, подлетев к пеньку, выбросила из гнездышка яичко и положила вместо него свое. Никем не замеченная, она низом отлетела подальше, потом поднялась на вершину березы и, захочет, перелетела на старый дуб.

Мама-горихвостка после завтрака села в свое гнездышко и, не заметив перемены в нем, стала спокойно насиживать.

— Знаешь, мне как-то не очень удобно сидеть на яйцах, — сказала мама. — Мне кажется, что одно яичко немного больше других. Я думаю, что из него выведется замечательный птеник.

Папа не обратил внимания на эти слова и продолжал беспечно насвистывать песенку.

Прошло одиннадцать дней. Из крупного яичка вывелся птеник. Он был голый, темно-розового цвета.

— Какая прелесть! — воскликнула мама. — Посмотри, папа, как он хорош, как он похож на тебя!

Папа посмотрел на птенца, ничего не сказал и выбросил из гнезда скорлупки. Птенец широко раскрыл ярко-оранжевый рот и стал пищать. Родители полетели за кормом. К вечеру птенец окреп, подрос и... стал выбрасывать из гнезда яички своих приемных родителей. Он ловко закатывал их к себе на спину и,

придерживая крыльями, придвигался к краю гнезда, нагибал голову и, подкидывая гузку, выбрасывал яичко за борт.

«Вот и порядок! Теперь я буду один в гнезде, и все вкусные пауки, жуки и личинки будут только мои», — думал птенчик.

Папа и мама без передышки таскали ему мух, бабочек, гусениц, жуков. Удивительный птенчик ни от чего не отказывался и только требовал:

— Дай! Дай! Еще!

Мама была в восторге. Она не могла налюбоваться на своего сына:

— Вы только посмотрите, как он глотает, какой у него аппетит! Это будет гений! Я ни у кого из своих знакомых не видела такого ребенка. Он уже сейчас с меня ростом, а что же будет, когда он возмужает... Несомненно, это вундеркинд, это слава нашего семейства!

Птенчик рос. Он один занимал все гнездышко, покрылся костышами и стал походить на ежа. Два темных глаза и оранжевый рот придавали ему еще более устрашающий вид. Потом костыши превратились в перья, и птенчик стал пробовать свои силы. Он еще не мог летать, он только расправлял свои крылья и махал ими. В гнезде ему было тесно, хотелось на простор, в лес, в широкий мир. Мама садилась ему на спину, всовывала ему в горло большую гусеницу и восхищенно говорила:

— Какой ты у меня красавец! погоди, не летай, мой милый, у тебя еще слабые крылышки и ты упадешь, а на земле бегает ежик — он съест тебя.

Папа-горихвост с удивлением смотрел на своего сына, и многое в нем ему не нравилось. «Почему он такой громадный? — думал папа. — И эти поперечные полосы на груди... Совсем как у ястреба-перепелятника. А хвост? У нас, горихвосток, всегда бывает рыжий хвостик, огненно-рыжий, и мы всегда им быстро-быстро покачиваем, а у этого ребенка хвост серый, и он им не качает. Нет, тут что-то не так. И скорлупки того яичка, из которого вывелся этот молодец, были, как я вспоминаю, не такого цвета, как у нас, горихвосток... Жена в восторге от него, она уверена, что это вундеркинд, будущий гений, слава нашего рода, а я... я сомневаюсь. Мне все кажется, что это не наш ребенок... Но кто мог подкинуть нам его? И куда делись яички, голубые яички, которые я видел в гнезде до появления этого птенца?»

Прошло двадцать дней, как вывелся птенчик. Он оперился, окреп и вылетел из гнезда. Он летал еще плоховато, но дней через пять-шесть вполне овладел искусством полета. Когда

ему хотелось есть, он отыскивал маму или папу, подлетал к ним и, трепеща крыльями, открывал рот. Жалостливые родители садились к нему на голову или на спину и засовывали свои головки в раскрытый рот обожаемого птенчика. Как-то на глазах у папы он увидел на листочке дерева большую мохнатую гусеницу. Эту гусеницу, черную и страшную, называют «поповой собакой». Гениальный птенчик тут же, к ужасу папы, проглотил ее.

«Вот это да... — подумал папа. — Мне страшно на нее глядеть, а он глотает ее, как мошку. Жена права, что считает его вундеркиндом. Ну разве может даже самая смелая горихвостка проглотить такое страшилище? Я уверен, что люди поставят ему еще при жизни памятник. Кто же из птиц может сравниться с ним в количестве истребленных насекомых! Да, это гений!»

Птенчику пошел третий месяц. Он вполне оперился, стал великолепно летать, стал ловить и есть жуков, кобылок и главным образом мохнатых гусениц. В небольшом количестве он ел ягоды крушины, бузины и другие, родители продолжали подкармливать его, и он иногда прилетал на свой родной пенек.

Наступала осень. Старые кукушки стали уже готовиться к отлету. Наш кукушонок еще держался своих родимых мест и не решался покинуть их. Горихвостки, папа и мама, уже улетели, и из знакомых птиц осталась одна зорянка. Она прыгала по земле возле пенька и большим черным глазом смотрела на кукушонка.

— Вам пора улетать, — сказала она. — Насекомых уже почти нет, а ягоды вы не очень любите.

И кукушонок полетел на юг, в незнакомые, теплые страны, за широкое море.

Счастливый путь тебе, вундеркинд! Будем ждать тебя весной!





ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ

На этом острове обычно рождаются белые медведи.

На этом острове уже в апреле, когда еще вся земля покрыта льдом, появляются первые моржи. В конце июня на громадных льдинах близ острова можно увидеть залежи этого зверя. Их бывает до двухсот — трехсот зверей. Моржи много и крепко спят. Моторная лодка может подойти на сорок — пятьдесят метров. На веслах можно подойти совсем вплотную и услышать разноголосый храп. Звери лежат в самых непринужденных позах — на спине, сложив на груди лапы и подняв к небу громадные бивни. Иные, уцепившись клыками за льдину, спят наполовину в воде или навалившись на тушу соседа.

Иногда два моржа, поднявшись на передних лапах, стараются нанести друг другу удар в шею. Соседние моржи поднимают поощряющий рев. Побеждает тот, кто поднялся на лапах выше и у кого клыки длинней. Победенный склоняет голову, и уже оба спят мирно рядом. На шеях самцов, как ордена, розовые шишки — следы схваток.

Льды тают, и моржам надо вылезать на берег, и вот они, напирая и клыками подгоняя передних, лезут на берег и тут же засыпают.

Моржи панически боятся всего летящего. Их пугает даже чайка-бургомистр. Пятнадцать — двадцать дней лежат они на острове и уходят в океан на восток, к плавучим льдам.

Длина моржа достигает шести метров, вес до двух тонн. Сломавший клыки морж погибает. Питаются они креветками и всякими морскими мелкими животными.

МЕДВЕЖОНОК УМКА

Под береговым обрывом, между громадными камнями, белая медведица выкопала глубокую яму и, свернувшись клубком, легла в ней. Над снежной пустыней бушевала буря. Лютый мороз сковал ледяные поля. Все живое попряталось, зарылось в снег. Буря засыпала снегом яму над белой медведицей, и ей было уютно и сравнительно тепло. Она стала ждать появления на свет медвежат.

Был февраль, зима была в самом разгаре, и остров Врангеля под глубоким снегом при шестидесятиградусном морозе то освещался северным сиянием, то стонал под злобными хватками бури. Только белые медведи бродили, не боясь мороза, по ледяным полям, ловко пробираясь между торосами или переплывая большие разводья. Иногда медведи далеко уплывали в море. Их встречали рыбаки в десятках километрах от берега и от ледяных полей. В этом суровом краю белый медведь был у себя дома. Ни холод, ни голод, ни бешеные бури не пугали его. Громадному зверю помогало превосходное чутье, хорошее зрение и слух. На еду медведь неразборчив. Он ест главным образом тюленей, летом поедает птиц и их яйца. Выброшенную морем рыбу и трупы моржей и китов он тоже не оставит без внимания. Все, что можно съесть, он съест.

На календаре биостанции дни мелькают за днями, а на просторах ледяных полей тянется бесконечная полярная ночь. На темном небе то сияют звезды, то ходят сполохи северного сияния, то вдруг задует бешеный ветер — и все смешается в снежном урагане, и уже нет ни неба, ни земли, только ветер да снег.

Медведица покойно лежит в своей снеговой хатке. У нее на груди два медвежонка, два маленьких существа. Слепые, глухие, почти без шерсти. Она прикрыла их мохнатой лапой и дремлет; малышки ростом не больше рукавицы, сосут и тоже дремлют. А сверху над их пещеркой ревет буря, бешеным



вихрем мечется морозный снег. Все живое попряталось под нависшие камни, нырнуло в море, закопалось в снег. Время идет, медвежата стали видеть и слышать, а на втором месяце начали ползать и по своей маме, и по снегу пещеры. Сто семьдесят дней пролежала медведица под снегом, сильно проголодалась и с подросшими медвежатами вылезла на белый свет. Был апрель, солнце поднялось над горизонтом, было светло и шумно. По воздуху с криком летели стаи птиц, а с далекой отмели доносился рев моржей. На береговых скалах сидели тысячи птиц: чайки, кайры, тупики... Все они кричали,

ссорились, стараясь захватить маленький кусочек скалы, где бы можно было положить яичко. Чайки-бургомистры внезапно налетали, хватали у зазевавшейся кайры яйцо и с яйцом в клюве взмывали вверх.

Медведица, приказав детям не отходить от пещерки, торопливо пошла к берегу, переплыла воду и вылезла на плавающие льды. Насколько хватал глаз, расстиралось ледяное поле, кое-где пестревшее торосами, медведица долго и внимательно вглядывалась в даль, стараясь увидеть желанную рыжеватую шкурку нерпы, и вот на белой поверхности льда показалась круглая головка, и за ней из продушины вылезло и все тело тюленя. Нерпа легла около спасительной продушины, готовая в любой момент нырнуть обратно. Ай, как надо быть осторожной; нерпа засыпает на одну-две минуты и опять открывает глаза, и зорко осматривается, и чутко прислушивается. Медведица спрыгнула со льдины и, прячась за каждым бугром, быстро побежала. Поймав ветер, дувший со стороны нерпы, она поползла на брюхе, стараясь ползти так, чтобы желанная добыча не успела нырнуть в продушину, чтобы она не учуяла запах медведя, чтобы не услышала царапанье когтей по льду, чтобы не увидела черный нос хищника. Нерпа подняла голову и большими темными глазами осмотрелась кругом. Чуть шевельнулся между льдинами клочок желтовато-белого меха — и нерпа мгновенно юркнула в продушину. Медведица разочарованно подошла к продушине, понюхала след и побежала дальше — искать новую добычу. Ждать, что нерпа опять вылезет из продушины, было бесполезно — надо найти другую, непуганую.

На краю ледяного поля медведица увидела двух тюленей: они лежали у самого края и каждое мгновение могли спрыгнуть в море. Надо было обойти их с подветренной стороны, подплыть к ним незаметно и, нырнув, неожиданно появиться у края льдины. Две нерпы! Это было очень заманчиво, и медведица со всей осторожностью начала подкрадываться к ним. Она сделала большой круг по льду, проплыла морем, далеко нырнула и под водой подплыла к краю льдины, где лежали тюлени. В ужасе метнулись они к морю, когда из воды перед ними вынырнула громадная медведица. Потоки воды струились с нее. Ловким прыжком она вскочила на льдину и убила ближнюю нерпу. Другая успела спастись в море. Медведица съела шкуру и жир своей добычи, а потом и все остальное. Большой кусок мяса она взяла в зубы и понесла своим детишкам.



Оба медвежонка долго бродили около своей снежной пещерки. Они смотрели на пролетающих птиц, слушали их крики и далекий рев моржей, боролись и бегали за морской волной. Один раз даже немного поссорились, и братишка ударил лапой сестренку по голове. Она обиделась и больно укусила ему лапу. Незаметно они отошли от берлоги довольно далеко. Широкий ручей преградил им дорогу, и они пошли его берегом от моря к тундре. Перелезли через громадные черные камни и долго шли по ровной снежной пустыне. Было холодно, ветрено и страшно. Где мама? Где родная пещерка? Только по хмурому небу с криком летели птицы да, шурша, крутили снежные вихри, и вдруг из-за гряды небольших скал выбежали две собачьи упряжки. Псы увидели медвежат и бросились к ним. Два человека спрыгнули с нарт, остановили собак и подошли к медвежатам. Малыши обрадовались людям и стали тыкаться тупыми мордочками в руки и в ноги.

— Возьмем одного, — сказал человек в белой меховой куртке.

— Хлопот с ним будет много, и чем его кормить будешь? Ведь это сосунки.

— Ничего, у нас сгущенного молока много... Да завтра мы отправим его в Москву на самолете.

— Ну, как хочешь.

Человек достал из саней мешок и, быстро подхватив сестренку, сунул ее в него.

Собаčky упряжки умчались, а на снегу на бескрайнем просторе остался одинокий, маленький, пушистый комочек. Он с плачем кинулся вдогонку за жалобно кричавшей сестренкой. Но собаки бежали быстро, и он скоро устал и сел. Один во всем белом свете! Где родная пещера? Где мама? Где сестренка? Никого! На маленького Умку свалилась первая большая беда, и он побрел, сам не зная куда, побрел искать маму, сестренку, пещеру.

Медведица шла с куском мяса в зубах домой к своим малышам. Между торосами, через глыбы наломанного льда, она перебежала ледяное поле, переплыла разводья и вылезла на берег к своей снеговой пещере. Медвежат тут не было. Скоро нашла их след и побежала сначала берегом моря, потом по ручью в сторону тундры. Тундра была покрыта снегом, и вдали на снежной равнине медведица увидела маленький пушистый комочек. Но почему только один, а где же другой? Медвежонок увидел маму и радостно бросился к ней. Напуганный одиночеством, Умка прижался к своей маме и, жалобно скуля, старался показать ей, как ему было страшно одному в снеговой пустыне. Медведица заметила множество собачьих следов и следы саней и людей. Она поняла, куда исчез ее детеныш. Но люди и собаки уже далеко. Их не догнать, и нельзя бросить Умку. Медведица положила перед ним кусок мяса. Проголодавшийся малыш с жадностью принялся уплетать жирное мясо нерпы.

Тихий летний вечер. Солнце низко катится по горизонту и заливает лучами ледяное поле. По полю, опасливо оглядываясь на большой ледокол, бежала медведица с медвежонком. Пароход, грозно ломая лед, все ближе и ближе надвигался на них. Скорей, скорей. Чудовище уже совсем близко, и мама и сын бегут по ледяному полю изо всех сил. Вот широкое разводье. Медведица кидается в воду, медвежонок за ней, но ему не догнать плывущую маму. Он отстает от нее. Мишка зубами хватается мамин хвост и на буксире плывет за ней. Теперь он не отстанет, не выбьется из сил. А пароход уже рядом, с него летит веревочная петля. Медвежонок чувствует, как на его шею натягивается веревка. Он взлетает из воды вверх. Он на палубе парохода. Его обступают люди, шелкают фотоаппараты. Бедный мишка обезумел от страха. Медведица с ревом кидается на пароход, она высоко прыгает из воды.

Она готова сразиться с чудовищем, но палуба высоко, чудовище все из железа. Бессильны ее когти, слабы ее зубы. С ревом взлетает она из воды, царапает когтями обшивку парохода. Отдайте моего сына!

Испугался пароход, и с палубы летит в море медвежонок. Люди стоят у борта, смеются и смотрят, как бросилась медведица к своему сыночку, как поплыли они скорей, скорей подальше от чудовища. Опять вцепился в мамин хвост мишка, и плывут они туда, к далеким птичьим скалам. Вот переплыли разводы, вот вылезли на ледяное поле и помчались вприпрыжку между торосами. Пароход уже далеко. Он не преследует их. Медведи пошли тише, они устали. Долго шли они ледяными полями. Солнце сделало полный круг вокруг горизонта, когда медведица остановилась и стала ловить своим черным носом какой-то слабый, едва уловимый запах. Запах манил ее. Голодная медведица ускорила шаги, и чем дальше она шла, тем сильнее был этот манящий запах. Они прошли мимо птичьих скал, пересекли большой залив и вдали, на том берегу залива, увидели, нет, не увидели, а учуяли что-то необыкновенное. Да, они поняли, что там идет пир. Надо спешить. Маленький мишка очень устал и тихонько жалобно скулил, но бежать надо, нельзя отстать от мамы.

Подул ветерок, и на медведей пахнуло лакомым запахом мяса. Медведица еще ускорила бег, и вот уже ясно видна на берегу выброшенная морем туша кита и на ней и около нее десятка два белых медведей.

Когда они близко подошли к туше и до них донесся резкий запах зверей, маленький мишка струсил и вплотную прижался к маме. Медведица смело подошла к туше, огрызнулась на ближнего медведя и жадно стала рвать шкуру кита. Маленький мишка тоже вцепился в клочок жира и с наслаждением его проглотил. Большинство медведей были сыты и только из жадности рвали куски жира и мяса и бросали их. Есть они уже больше не могли. Некоторые сожрали по тридцать — сорок килограммов. Но к званому пиру прибывали все новые и новые гости, голодные, худые, одни кости да шкура. Этих гостей не так-то скоро накормишь. Они и внутри кита и наверху, на ребрах, рвут и жадно глотают и шкуру, и жир, и мясо. Тут зевать не надо. Громадна туша кита, но и желающих полакомиться тоже немало. На пир приглашены не только медведи, с криком вьются чайки-поморники, глупыши тоже

стараются урвать кусочек жира или мяса. Осторожно подбегают песцы и, схватив клочок, быстро удирают. Медведица с грозным ревом бросилась на большого тощего медведя. Несколько быстрых ударов мощной лапой, и тощий медведь, рывкнув, отбежал в сторону. Мишка скоро наелся и со страхом и любопытством смотрел на незнакомых медведей. Громадные звери вымазались в кишках, в крови и в жире кита, желтые, грязные, с отвислыми животами, их нельзя было назвать красавцами. Когда мишка огляделся более спокойно, то увидел, что среди медведей есть и медведицы и с ними медвежата. Есть медвежата более старшего возраста, есть и такие же, как мишка. Подойти к ним и поиграть мишка не решался. Но вот одна медведица подошла и стала есть почти рядом с мамой, и ее медвежонок смело подбежал к мишке и с разбега повалил его. Мишка вскочил, и тут у них началась веселая возня. У мишки появился друг.

Медведицы стали ходить вместе. Медвежата играют и не лезут к матерям, и охотиться вдвоем добычливей. От кита остались одни кости. Все медведи разбрелись, и обе наши медведицы тоже пошли искать счастья в туманных просторах Заполярья. Много километров прошли они между торосами по ледяным полям, высматривая тюленя. Еле ощутимый запах остановил зверей. Осторожно высматривая из-за льдин, медведицы увидели вдалеке темное пятно. Что это? Тюлени? Нет, не тюлени. Рыжевато-бурое пятно пахло чем-то иным, малознакомым. Медведицы с величайшей осторожностью стали подходить к незнакомому лежбищу. Ближе, ближе...

Теперь были ясно видны громадные туши с блестящими бивнями. Они лежали близко друг к другу, но не теснили и не ранили соседей своими громадными бивнями. Моржи не видели медведей и спокойно дремали. Обе медведицы стали осторожно обходить их с разных сторон, стараясь отрезать от моря. Вдруг как искра пробежала по стаду моржей, и, повинаясь тайному сигналу, вся громада повернулась мордами к морю и двинулась, как будто потекла, в спасительные воды. Одна моржиха с детенышем оказалась в конце стада, и обе медведицы с ревом бросились на нее. Вот и добыча. Опять у медведей много мяса, опять мишка и его друг наелись до отвала. Теперь они хорошо запомнили запах моржей и уж не спугают его с запахом тюленей или котиков.

ЗООПАРК

Рассказ юнната

— Дядя Алеша! Что было!.. На большой!.. Мы в волейбол играли возле крокодилов. И Юрка, и Игорь, и Мирза, и Барсучка, и Мишка Гладков. Вдруг слышим кто-то орет: «Ребята, спасите!» Мы туда побежали. А это Федор Зыков из своего окошка высунулся и орет истошным голосом: «Спасите, спасите! Тигр в коридоре ходит, ко мне в дверь ломится». Я вскочил на барьер и по стенке, по самому гребню, на четвереньках пополз. За мной Юрка и Игорь. Карабкаемся, того гляди, соскользнешь, гребень-то узкий, а соскользнешь — и полетишь либо к бурому медведю Борцу, либо к барсам. Мы ползем по стенке, а справа на нас глядят медведи, под самой стенкой на задних лапах стоят... Ждут... Сорвись только — и полетишь прямо к ним в объятия. А если сорвешься и полетишь налево, там барсы не спускают с нас глаз. Ну, ничего, мы все-таки добрались до окошка Федора Зыкова. «Ой, ребята, ну и хватил я страху, — говорит Федор. — Дверь-то у меня легонькая, и запор — один крючок... Слышу, кто-то по коридору ходит. Я в дверь-то и выглянул, а он перед дверью стоит и на меня смотрит. Захлопнул я дверь. Никак крючок не запру. Да какая надежда на такую пустяковину. Вот я и стал заваливать дверь всем, что было под рукой». Сам, понимаешь, трясется, бледный. За нами по той же стенке залезли еще двое ребят и Гладков Мишка.

Отвалили мы от двери и стол, и стул, и койку. Приоткрыли осторожно дверь, заглянули в коридор. В коридоре одна только лампочка горит, и то слабо. Мишка взял тяжелый крацер,



что стоял тут рядом, вышел в коридор и пошел осторожно. Мы за ним. Кто взял метлу, кто скребок, кто палку. Смотрим, а тигр нам навстречу идет, а клетка, из которой он вышел, за ним осталась. Он прошел мимо нее.

«Ребята,— говорит Мишка,— нам надо его загнать в клетку. Ну, на место пошел!» — заорал Мишка. Мы тоже дружно заорали: «Пошел на место!» Тигр остановился и смотрит на нас. Юрка запустил в него метлой. Тигр рывкнул. В этот момент, понимаешь, погасла лампочка! Мы в полном мраке! Тут мы все бросились к входной двери. Мы здорово перетрусили...





МУЗА

За окном синий вечер, за окном холод, мороз. У меня в мастерской горит на столе лампа, в печке потрескивают дрова. Тепло, уютно. Я сижу и томлюсь. Томлюсь муками творчества. Что-то мерцает в голове, а что — никак не уловлю. Дверь открылась, и вошла она... Она... Моя долгожданная, моя желанная. Она приходит всегда неожиданно, тогда, когда я, усталый, измученный ожиданием, впадаю в тоску и мне уже ничего не надо, ничего я не хочу...

Как я обрадовался! Я вскочил, бросился к ней, стал целовать ее руки, обнимать ее. Я усадил ее в кресло. В мягкое кресло, которое всегда стоит у меня в мастерской, ожидая ее. Это ее кресло. Я сел рядом с ней, с моей ненаглядной. Теперь я спасен. Она тут, со мной. Она шепнет мне на ухо это заветное слово, и я спасен. В меня вольются новые силы. Мир вновь заблещет яркими красками. Передо мною откроется картина, новая картина. Тогда я творец — весь мир во мне. О, моя желанная! Как я преклоняюсь перед тобой, как я обожаю тебя! Но не думайте, что ко мне пришла какая-то ветреная красавица, с которой у меня роман. Нет. Это моя... Кто бы вы думали? Моя Муза. Моя старушка Муза. Много лет она опекает меня, много картин я написал по ее указанию.



Моя старушка Муза любит природу, любит зверей и птиц, любит все живое.

— Скажите мне, Муза, что мне делать. Научите меня. У меня в голове нет картин. Вся надежда на вас.

Муза задумалась, сидя в кресле. В комнате было тепло — она согрелась, улыбнулась. Я поставил перед ней бутылочку сухого вина, кусок швейцарского сыра, печенье. Мы выпили по стаканчику, и у нас завязалась тихая беседа.

— Муза,— сказал я,— я всегда слушаюсь вас, всегда исполняю ваши приказания. Я написал сотни картин, нарисовал тысячи рисунков... В каждую картину, в каждый рисунок я вкладывал свою душу и все свое умение. По вашему совету я не гнался за модой, не выкручивал трюков. Я писал просто, как чувствовал, как понимал. Я не гнался за деньгами, не гнался за славой, в картинах и рисунках я славил природу, славил жизнь. Меня утешает, что нашлись люди, которым стали дороги звери, и птицы, и всякие твари, которые полюбили этих тварей через мои рисунки. Я научил людей любить природу. Это моя заслуга...

Муза усмехнулась и сказала:

— Какую ты городишь чепуху! Ты художник, и твоя сфера — искусство. Охрана природы — дело зоологов, охотоведов, агрономов. Пусть они и занимаются этим. А ты отыскивай сочетания красок, формы пятна, оригинальные композиции.

— Дорогая Муза, вы не правы. Мне вовсе не все равно, что писать. Да заставьте меня писать машины или натюрморты из предметов обихода — я завяну, и ничего у меня не выйдет. Когда же я пишу пейзажи, пишу животных, я как будто нахожусь там, я живу вместе с ними, я вдыхаю ароматы трав, деревьев или степного ветра, морозного воздуха.

— Ну, хорошо,— сказала Муза.— Пиши, рисуй все, что тебе нравится, но ведь дело не в сюжете. Старайся найти что-то новое, но, конечно, не только новое, но и такое, которое лучше, интересней говорит за себя, лучше обрисовывает зверя или птицу, полней дает настроение от пейзажа.

— Дорогая Муза, подскажите мне, натолкните меня на что-нибудь интересное. Вот я сижу и ничего не могу придумать такого, что захватило бы меня, увлекло.

Муза подумала и сказала:

— Возьми папку с эскизами и внимательно пересмотри их. Ты, наверно, найдешь что-нибудь в них. Не торопись, спокойно обдумай пятна, краски. Все обдумай. Сделай еще несколько эскизов, и тогда уже ты будешь знать, что и как надо изобразить, и тогда у тебя перед глазами будет ясная картина. Сделай еще эскиз и по нему пиши. Вот и все.

— Милая, дорогая Муза, как я вам благодарен!

Мы выпили еще по стаканчику рислинга, и я принялся за эскиз.





ХУДОЖНИК

Эскиз

Художник поставил свой складной стульчик, положил на него папку с ватманом и сумочку с рисовальными принадлежностями, а сам сел на пенек, прислонился спиной к толстому стволу старой березы, закрыл глаза и полностью отдался теплу, тишине и радостному чувству общения с природой.

Лесная тишина полна звуков, но звуки эти не нарушают тишины.

Вот зашуршала в прошлогодней листве мышка, вот короткими прыжками спускается по стволу сосны поползень, вот с тонким писком два королька обшаривают веточку ели, и где-то далеко-далеко чуть слышно воркует горлица.

Легкий ветерок ласкает лицо художника. «Баю, бай!» — жужжит большой черный жук-усач, пролетая мимо. «Баю, бай!» — шепчут робкие осинки, трепеща листьями. «Баю, бай!» — поет зяблик на вершине березы.

Перед художником стоит муравей, он упер передние лапки в бок и насмешливо улыбается. «Отдыхаете?! Все работают, а вы изволите отдыхать! Вдохновения ждете. Мы вот, муравьи, без вдохновения целый день работаем, а иногда и ночь прихватываем, а вы вдохновения дожидаетесь. Прекрасно. Хотите уподобиться той стрекозе, что все пела и «оглянуться не успела,

как зима катит в глаза»?.. Лодырь вы, милостливый государь!» Муравей даже досадливо плюнул.



«Простите, что я вмешиваюсь в вашу беседу...— пискнул крошка крапивничек, высунувшись из хвоста.— Я считаю, что вы не правы, уважаемый муравей! — Крапивничек задорно поднял свой хвостик и прыгнул на вершинку маленькой елочки.— Таскать сучки или словые иголки можно и без вдохновения, но петь... творить... Искусство — это божественный дар, и его надо беречь, а не запрягать, как ломовую лошадь, в тяжелый воз. О, как я пою наши старинные песни! Но я пою их только тогда, когда мое сердце наполняется ими и я уже не могу не петь! К старым песням я прибавляю свои, слышите, свои, новые, вдохновенные!» Он издегивал коротышкой хвостиком и вертелся во все стороны, глаза его блеснули, как два черных бриллиантика. И он запел! Было непостижимо, как мог такой громкий, чистый звук вылетать из такого крохотного горлышка, из существа величиной с орех. Его песня, громкая, звучная, оглашала лес, и ей откликался и щегол-турлукан, и пеночка-трещотка, и звонкоголосый зяблик.

«Я удивляюсь на вас,— сказал заяц.— Человек спит, а вы тут споры и концерты устраиваете. Надо пуще всего тишину беречь. Тишина — это жизнь, покой. У меня нервы слабые, я шум не переношу. Придет осень, и лист с деревьев падает. Не могу: нервы не выносят. Из леса ухожу в поле... или вот когда буря и дождь, верите ли, так нервы истрепятся, совсем больной».

«Да не слушайте вы зайца. Заяц трус... и речь совсем не о тишине. Муравей обвинил художника в лени. По-муравьиному, художник должен работать без передышки... Так ли это? — Эту речь произнес скворец, самый мудрый из птиц и самый веселый.— Конечно, не так...— продолжал он.— Когда начинается творчество? Тогда ли, когда художник берет в руки кисть, а поэт перо и бумагу? Нет, нет и нет. Перед художником, поэтом, композитором может в любое время дня и ночи явиться идея, образ, картина, и он уже творит. Вот тут и начинается творчество. Из неясного намека, из туманного видения постепенно выходит образ, картина, мелодия. Вот сижу я тут, на сучке березы, у себя на родине, а

мне вдруг мелькнет берег Нила, цапли, треск клювом марабу, свист погонщиков верблюдов, и я забываю, где живу, и вместо берез я вижу пальмы, вместо наших смиренных лошадок и коров я вижу зебр и буйволов, и я вплетаю в свою песенку звуки далекой Африки. А родина все же ближе, милей, дороже, и я в африканские мелодии вплетаю ржание жеребенка, кудахтанье курицы, скрип журавля у колодца».

«Ваши песни очень интересны, уважаемый скворец, я сам слушаю их с удовольствием, но в них мало ваших скворчиных звуков. Вы составляете песню по принципу: с мира по нитке — голому рубашка. А где же ваша песня?»

СУДЬБА ПИСЬМА

Дорогой друг! Если ты не получишь долго письмо, которое ты ожидаешь, это еще не значит, что я не писал тебе. Может случиться, что письмо в дальней дороге куда-нибудь завалилось, пропало. Бывает, что ребяташки вытаскивают из почтовых ящиков газеты и письма и делают из них змеев. Вот у нас почтальонша иногда (даже довольно часто) перепоручает разносить почту своим девчонкам. Девчонки мчатся, держа письма и газеты в руках. По дороге им приходится переходить по мостику бегущий ручеек. Ну как не соблазниться, как пройти мимо и не пустить кораблика? Газету разрывают на



куски, и кораблики весело плывут по бурным волнам. В суматохе несколько писем упали в траву. Девочки подобрали их мокрыми ручонками, размазав адреса, а одно письмо не заметили и убежали. Приносят мне письма и газеты. Я говорю им:

— Девочки, тут не хватает «Комсомольской правды», да и писем маловато. Куда вы их дели?

Девочки нисколько не смущаются и дают мне вместо моей «Комсомолки» «Известия». Я даю им за каждое доставленное письмо по конфете. Тогда они вспоминают, что одно письмо как будто осталось в кустах. Стремительно бегут и приносят письмо, я даю им еще конфету. Я хотел дать им две конфеты за найденное письмо, но потом меня осенило, что им будет выгодно терять письма и потом находить их. Это будет у них выгодная афера. Нет, не стану поощрять мелкое жульничество. Получай за каждое письмо по конфете — и хватит. Иногда девчонки или сама почтальонша кладут почту в почтовый ящик. Ящик плоский, с широкой дверкой, металлический. Когда-то у дверки был ключик, но он скоро затерялся, и теперь дверка всегда неплотно закрыта, и газеты и письма видны в щель. За ящиком зорко наблюдает моя коза Белка. Когда она видит, что письма и газеты положены в ящик, она не спеша подходит к нему, встает на задние ноги и ловко мордой открывает дверку, языком захватывает газету и с наслаждением съедает ее. Иногда ей попадаются письма. Ну что же! Конечно, это хуже газет, но... годятся и письма.

А я сижу у себя в мастерской и жду очень нужного мне письма. Сижу и жду...

ОГОНЬ

Я не устаю смотреть на огонь, смотреть, как пламя то пляшет, извиваясь на одном сучке, то перебегает с сучка на сучок, меняясь в цвете и взвиваясь вверх голубым дымком.

Если вы когда-нибудь сидели у костра ночью в лесу и слушали, как поет лес, как по вершинам пробегают волны шороха, как где-то далеко-далеко кукует ночная кукушка или на опушке трещит козодой, и если вы, сидя у костра, не пели модных песен, а только слушали песню леса и вам не было скучно, а, наоборот, вы замирали от восторга, вам хотелось вот так сидеть у костра, смотреть на огонь и слушать, слушать

тишину леса, если все это случилось с вами, то вы счастливый человек, вы или чужак, или поэт, или юродивый, или художник...

Без конца можно смотреть на огонь и так же можно смотреть на воду. Сядьте на корме парохода или моторной лодки и смотрите, как узорами из пены стелется след на воде, и эти узоры все время меняются, все время плетутся новые и новые кружева, новые дивные арнаменты. Так же долго можно смотреть, как кружит в небе голубиная стая или как режут воздух стрижи, как мелькают ласточки.

Простите, я забыл о водопаде. Сядьте на камень или на ствол дерева и смотрите и слушайте воду. Не умолкая грохочет она и валится, валится в пене, в брызгах, кружится и мчится между камнями все вниз, вниз, все разрушая, все унося с собой. Огонь и вода — две стихии, дающие жизнь и разрушающие ее. Обе они притягивают человека, и с самых древних времен человек учился покорять их и заставлял служить ему.





ГЕНИЙ

В пещере горел небольшой огонек, и было тепло и уютно. На шкуре дикой козы лежал маленький, недавно родившийся ребенок. Он задира л ножки кверху, пускал ртом пузыри и тихонько гулькал. Рядом с ним сидела его мать, молодая стройная женщина, и старательно обгрызала засохшую кость. На женщине был надет через голову обрывок волчьей шкуры. Другой одежды на ней не было. Кость всецело поглощала ее внимание, и только иногда, мельком она взглядывала на ребенка. Ей и в голову не приходило, что это лежит не простой ребенок, каких много, а гений. Великий гений, такой, какие родятся раз в столетие, а то и еще реже.

О том, что бывают на свете гении, она никогда не слыхала, и такие вопросы нисколько не интересовали ее. Она умела разминать шкуры и делать их мягкими, бархатными и приятно согревающими тело. Она умела обдирать убитых животных, разрезать кремневым ножом мясо, коптить его и поджаривать, нанизав на палочку. Чего ж вам больше? Она еще умела петь песни и плясать праздничный танец. Она была женой вождя, и мяса и необглоданных костей ей доставалось больше, чем другим женщинам, и она была более упитанной, и, кроме того, на зависть всем подружкам, на ней висело множество всяких украшений: красивые пестрые раковины, яркие перья

птиц, блестящие жуки и зубы зверей. Она обглодала наконец кость, высосала из нее мозг и стала подкладывать сухие веточки в костер.

Будущий гений продолжал задирать ножонки, пускать слюны и благодушно гулять. Жизнь человека всегда висит на волоске, и все случайно. Смерть караулит нас и нападает из-за угла. У входа в пещеру, прячась за камень, стояла гиена. Она жадно смотрела на ребенка, и нижняя челюсть ее дрожала. Еще один прыжок, и комочек живого мяса затрепетал бы на желтых клыках гиены, но зоркие глаза женщины заметили зверя, и, мгновенно схватив горящую ветку, она бросила ее в оскаленную морду. Гиена злобно зарычала и, как тень, исчезла.

Женщина положила еще веток в костер, перенесла ребенка в глубь пещеры и от нечего делать стала распускать и снова нанизывать свои роскошные ожерелья из зубов диких собак.

Ребенок был спасен. Ребенок вырос, и его рукой стены пещер были покрыты великолепными рисунками мамонтов, зубров, диких лошадей, шерстистых носорогов.

Прошли сотни веков, и вот теперь мы с восторгом смотрим на эти гениальные рисунки. Сколько в них жизненной правды, как верны пропорции, как тверд и прост рисунок, и это в то время, когда человек еще очень недалеко отошел от зверя, когда он еще не умел строить жилища, не варил себе пищи, не носил почти никакой одежды.

На земле в пещере около костра сидела женщина, уже немолодая, одетая в обрывки шкур и увешанная бусами из раковин и зубов. Она удивленно смотрела на сына, кремневым зубилом и молотком прорезавшего контур громадного мамонта, занявшего всю стену. Закончив контур, художник рукой и куском кожи стал мазать мамонта темно-бурой охристой грязью, и громадный зверь в полутемной пещере все больше и больше оживал.

Покончив с рисунком, художник поднял с земли копье и стал колоть воображаемого мамонта длинным и острым копьем с отточенным рогом антилопы на конце. Надо было убить этого нарисованного зверя, иначе он уйдет со стены и покалечит многих охотников, художник ударил его в сердце и отскочил в сторону, боясь, что мамонт упадет и задавит его.



Но мамонт не упал, а продолжал стоять неподвижно, не обращая внимания на удары копьем. В то время, когда художник копьем поражал нарисованного зверя, женщина в страхе прижалась к дальней стене, каждую секунду ожидая, что разъяренное животное бросится на ее сына и затопчет его, но зверь не двигался и только злобно глядел на людей. Он был, конечно, заколдован: художник — великий колдун.

ТЯЖКАЯ ДУМА

Леший

Тихо шумят вершинами сосны, чуть слышно шелестят молодыми листочками березы. Не слышно пения птиц, не промелькнет заяц. Грустно бредет по мертвому лесу косматый леший. Леший стар. Он помнит далекие времена, счастливые годы, когда лес жил полной жизнью, когда с утра до ночи пели птицы, высоко в вершинах клекотали орлы, ворковали голуби, трещал козодой; внизу с куста на куст перелетали мелкие пичужки, а крупные звери без опаски паслись стадами на лужайках. Иногда не спеша проходил бурый медведь или бесшумно кралась ловкая хищница рысь, и в лесу не валялись консервные банки, не блестели осколки бутылок. Грустно смотрит на них старый леший и старается обходить подальше остатки костров, ужасных, гнусных памятников человеческой дикости. Набросанные бумажки, поломанные ветки, срубленные молодые деревца, битые бутылки, стреляные гильзы, а иногда и брошенная убитая птица — сова, или сойка, или дятел.

Так развлекаются туристы. Туризм — это новое, модное зло. Сколько лесных пожаров, сколько загубленных зверей и птиц, сколько изуродованных деревьев оставляют памятниками своего пути эти последователи моды. Для чего они идут в лес? Разве они его любят? Разве им нужен аромат леса, шум деревьев, пение птиц? Вовсе нет. Им, вишь, надоело пьянствовать у себя дома или в кабаке, им, вишь, желательно поваляться на траве, пострелять в дятла или кукушку и в конце концов напиться до скотского состояния. А звуки леса? Да наплевать им на звуки леса, они горланят блатные песни или запускают транзистор.

Старый леший ненавидит это ужасное изобретение. С этой омерзительной коробочкой на земле не остается места, где

бы в природу не вклинивался чуждый ей, наглый звук города, звук эстрадной песни. Старый леший бормочет про себя:

— Зачем вы ходите ко мне, в мои тихие леса? Они вам не нужны, вы их не понимаете. Пойте ваши песни на городских бульварах, в городских парках. Там милиционер попросит вас замолчать и не безобразничать, а тут нет милиционера, вот вы и распускаетесь махровым цветом.

Сел на пенек старый леший — задумался. «Что я могу сделать? Как я могу помочь лесу? Как я могу заступиться за него? Что я могу? Ничего. Вот если бы я был великим писателем, поэтом. Вот если бы я мог нарисовать такую прекрасную картину, сочинить такую песню, которая бы заставила людей, всех людей доброй воли заступиться за природу, показать этим врагам природы их злодеяния и крутыми мерами заставить их относиться почтительно к нашим общим богатствам.

Но ведь я только старый, немощный леший, мой голос замирает рядом со мной. Мой голос слаб, но ведь есть люди, у которых голос звучит громко и которые знают слова, достигающие до сердца и до ума».

Сидит леший, задумался. Горько задумался и не заметил, как к нему подковылял заяц.

— Здравствуй, старина! Не горюй, дедушка, я слышал, что уже кое-кто за нас заступаться начал. Сорока говорила... Я тут, в лесу, последний заяц. Один как перст. Слова сказать не с кем. Да вот еще в дупле на осине последняя белка живет. Скука. Вот хоть с тобой поговорить немножко. Сорока говорит, что теперь появились новые какие-то писатели — анималисты. Они, вишь, за нас, за зверей, стоят.



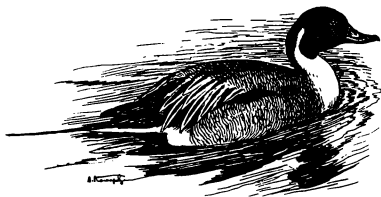


ДЕВЯНОСТО ЛЕТ

Скоро мне будет девяносто лет. Мой механизм сильно заржавел, много винтиков стерлось, много колесиков не работает, все скрипит, все стучит. Самое время подвести итоги своей жизни. Что я сделал? Я прожил долгую жизнь, и за эти годы я мог бы сделать очень много, а сделал ли я это «много»? Конечно нет... Оглядываясь назад и вижу пустые годы. Много пустых годов. Их не вернешь, не заполнишь... С какой бы радостью помчался я в эти пустые годы. С каким восторгом я стал бы заполнять работой эти пустые годы. Вот передо мной леса, еловые леса Марьиной пустоши, старые ели, овраги, вырубки, изрытые колеями дороги, крытые соломой деревни, мужики в домотканых одежках, телеги, сани, лошаденки. Все это я пропустил мимо. А какие родные, чудные картинки можно было бы написать. От них веяло бы теплом, родным теплом, родной красотой. Я пропустил старинные усадьбы, пропустил псовую охоту, тройки, пары, барские коляски. Все это ушло безвозвратно, и никто никогда этого больше не увидит. Ничто не вернется. Надо это вспомнить, надо оживить. Теперь, в последние годы своей жизни, я хотя бы немного должен показать из того, что я видел, что окружало меня в те далекие времена. Но жизнь мчится вперед и стирает все старое, отжившее. Трудно вспомнить.

Но ведь я что-то делал в эти пустые годы? Конечно, делал, но не то, что надо было делать. Я рисовал для «Светлячка», для охотничьих журналов, для Сытина, Мириманова, для Детгиза, для Учпедгиза. Этого хлама нарисовано очень много. А где же ценные работы? Их-то и не было...

И вот только на старости лет я стал рисовать акварели и рисунки, масляные картины, и не по заказу, а по своему желанию, по своим воспоминаниям. И они имели успех, правда, небольшой, но все же... Немного поговорили обо мне: «Ах, Комаров, он еще жив?» Кое-кто собирается даже написать обо мне книжку. Оказывается, я все же протоптал свою тропочку, все же останется чуть заметный следок. Этот следок — мои рисунки в книгах, в журналах, в наглядных пособиях. В них я хотел возбудить интерес к природе, к любимым мною животным. Всегда меня удивляло полное равнодушие к природе почти у всех людей. Редко кто интересуется растениями, животными и вообще природой. Редко кто с восторгом смотрит на летящую птицу, на лягушку, на ползущего жука. Это для всех мелко, ничтожно. Я хотел разбудить людей от этого равнодушия, заставить их полюбить живую природу, дать им эту новую, неувядающую радость. Я рисовал животных, стараясь сделать их красивыми, добрыми. И дети полюбили мои рисунки, и многие из них срисовывали их, и я получал письма от детей с благодарностью.

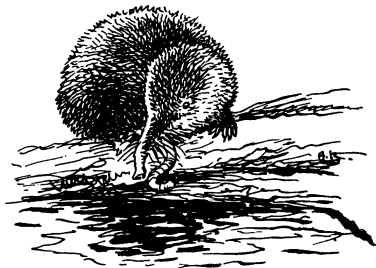


УЛЫБКА

Он больно ударился коленом обо что-то, и это вывело его из задумчивости, в которой он шел по Рождественскому бульвару, точнее, рядом с бульваром, по тротуару. Он осмотрелся и понял, что ушиб колено об раму вывески, стоявшей поперек дороги. Тут же стояла стройная девушка с молотком и костью в руках. Она старалась забить кость в стену, но это ей плохо удавалось.

— Позвольте, я помогу вам.

Девушка обернулась и пристально поглядела на Федю. Федя остолбенел — такой девушки ему никогда не приходилось видеть. Она показалась ему красавицей. С черными вьющимися волосами, синеглазая, с добрым ласковым выражением довольно крупных, изящной формы губ. Она была смуглая, даже более смуглая, чем бывают обычно, но это не портило ее, а, наоборот, придавало ей какую-то своеобразную, южную прелесть. Она смотрела на Федю, и невольная улыбка осветила ее лицо. И без того красивое лицо ее мгновенно как солнцем засияло улыбкой.



О как различны бывают улыбки! Вот улыбается вам продавец в магазине — это профессиональная улыбка. Она появляется у него и исчезает, не задевая его чувства. Улыбка бывает насмешливая, бывает злобная. Дурак улыбается вам во весь рот глупой улыбкой. Но у людей чутких, добрых, хороших появляется на лице дивная улыбка, и лицо мгновенно делается еще прекрасней, еще очаровательнее. Вот такая улыбка расцвела на лице девушки...





ДНЕВНИК

5/VI 69 г.

Познакомился с художником Синецким Николаем Васильевичем. Очень интересный человек. Он собирает все о многих художниках. Теперь он ищет материалы об издательстве Ступина. По его словам, я когда-то работал у Ступина. Хоть убей, не помню. Там работал Василий Васильевич Спасский. Я когда-то был дружен с ним и, возможно, через него что-то делал для Ступина. Не помню. Сегодня и вчера Филиппович без конца снимал меня тремя фотоаппаратами для телевидения. Сейчас он уехал. Какая благодать, когда остаешься один в своей мастерской. Из окна видно, как сосны тихонько покачивают вершинами, а их желтые стволы горят на закатном солнце. Покой и тишина.

22/VI 69 г.

Уехал Рябинин. Два дня он пытался из меня биографические сведения. Он собирается писать обо мне книжку для детей. Издательство «Малыш», кажется, согласно включить ее в план.

У нас тишина. Гостей никого. Наташа поливает цветы и с надеждой смотрит на небо. Дождя нет весь июнь. Про-

хладно — 15°, а ночью будет 3 — 5°, и даже возможны заморозки.

24/VI 69 г.

Вчера долго сидел у меня Синицын Николай Васильевич. Записывал наш разговор. Рассказывал об Остроумовой-Лебедевой, как она, одинокая, слепая, умирала в своей громадной квартире.

Он пишет о ней, о Фалилееве, о Бенуа и собирает материал обо мне.

Сегодня 1 сентября. Сажу у окна своей мастерской и люблюсь пышно цветущими флоксами, гладиолусами, клематисами. Белые, красные, розовые и фиолетовые пятна цветов, северный ветер и небо в тучах, 15 градусов, а ночью был небольшой дождь. Неделью целую было тепло, даже жарко. Приезжала Таня и Савченки. Они ездили за грибами и привезли целые корзины грибов. Белых очень мало, а все больше волнушки и т. п. дрянь. Теперь тут никого нет. Ребята уже в школе, а Наталья Александровна поехала в Москву с цветами.

Выставка анималистов

16 сентября 1969 года в павильоне «Охрана природы» на ВДНХ открылась выставка художников-анималистов. Она открылась в связи со Всемирным конгрессом биологов-охотоведов в Москве. Павильон имеет три зала. В среднем — экспонаты по охране природы, а в двух крайних залах — выставка анималистов. В правом зале помещены картины старых художников: Сверчкова, Петра Соколова, Френца (отца), Формозова, Сидорова, Сергей Сергеевича Турова и мои. В зале налево художники-графики и скульптура. Там Ватагин, Трофимов, Никольский, Федотов Валя, Морозова, Кириллова, Попандопуло, Кожин, Ефимов и др.

В картинах Сверчкова меня поразило отсутствие колорита (очень черно) и слабый рисунок, то же можно сказать про Соколова и Френца. У всех у них неживые позы лошадей и очень плохи собаки. Мои акварели и масло (около 35 работ) имели успех. Многим нравятся мои волки (по поэме А. Тол-



стого), и их хочет купить Гржимек из ФРГ. Гржимек — всемирно известный исследователь африканских заповедников и автор фильмов об африканских животных. Со мною пожелали познакомиться профессора из Канады. Они тоже что-то хотят купить у меня.

Я был на выставке в первый день, и там еще не было ни каталога, ни даже вывески, не было никакой заметки в газетах, никакой афиши.

25 сентября ко мне в Пески приехал художник из «Огонька». Ему нужен мой портрет и фото моих картин, так этот художник даже не слышал об выставке анималистов.

В левом зале мне понравились «Пумы» Никольского и графические рисунки. Графика хороша. Федотов Валя раньше копировал меня, теперь копирует левых графиков. Надеюсь, что потом он даст и свое. Трофимов В. В. выставил очень интересные работы из майолики, например, «Тигр», из металлических пластин «Носорог», «Северный олень», и мне особенно понравился «Як». Из металла большие скульптуры Попандопуло: «Глухари» и «Беркут с волками».

Много мелких фигурок из фарфора, фаянса и металла и даже пенопласта («Ежи»). У Ватагина «Зубр» из дерева. Выставка интересна и ярко показывает, как сильно выросло анималистическое искусство в сравнении с первыми выставками анималистов.

17 октября. В саду еще много цветов. Цветут флоксы, хризантемы, астры, анютины глазки. Довольно тепло — +8° С. Дожда уже давно нет, в колхозах идет уборка картофеля и свеклы. У нас Лиза и Шура копают землю. Все гладиолусы выкопаны, тюльпаны посажены. Наталия Александровна в Москве хлопочет по моим делам. Прошел 14 октября мой девяностолетний юбилей. Приехали Д.И. С-тин и Лева, а на другой день Левашов. Решили устроить торжество в Москве, в Литературном музее у Никитиной. Теперь Наташа в Москве достает фото для моей биографии и для альбома, которые надо куда-то подать (очень высоко), чтобы что-то получить. Это, конечно, только мечты, и вряд ли что получится. Торжество будет в ноябре, и когда еще — не выяснено. Сергей Сергеевич в Москве. Лидия Георгиевна серьезно больна, и, наверно, она уже в больнице. У нее плохо с сердцем или еще какая-то болезнь, которую пока не могут определить.

16/XI 69 г.

Вот наконец я и дома. У себя в мастерской. Лева доставил нас, т.е. Наталию Александровну, Сергея Сергеевича и меня, на своей «эмке». Как приятно сидеть в кресле за своим столом, сидеть одному, против затопленной печки и не спеша что-то делать. Признаться, я порядком устал от речей, разговоров, новых знакомств.

21/X 69 г.

Березы сбросили свой золотой убор, стоят, тихо покачиваются, засыпают понемногу. Осинки как ни стыдились, как ни краснели, а все же пришлось им сбросить свой наряд — нельзя же ложиться спать в платье. Сбросили и тоже засыпают. А солнышко светит, небо синее, ни одного облачка, и в моем саду цветут цветы. Цветут астры, ноготки, кое-где доцветают флоксы, корейские хризантемы в полной красе, у крыльца в вазах алые полиантовые розы. Смотрю на градусник — +12° С. Даже пчелы летают. А вот некоторые дубы тоже не хотят

сдаваться зиме, не хотят сбросить свой убор — стоят в бронзовых латах, шелестят на ветру.

26/X 69 г.

Накануне был мороз — до минус 9°. Сад пустой. Цветов не осталось, но сирени еще зеленые, и розы тоже не облетели и стоят зеленые. Вообще кустарники не облетели, а вот на березах ни одного листочка и также на осинах и на летних дубах. Весь в серебряных листьях стоит лох, не полностью облетел каштан. Мороз и сегодня — минус 8°. Земля замерзла, и копать ее нельзя. Небо синее, и солнце светит.

7/XI 69 г.

Морозы доходили до минус 12°, а сегодня тепло — 0°. Земля таялая, и Наташа вчера выкопала анемоны, а недавно сажала тюльпаны (прислал кто-то).

Сегодня Наташа едет в Москву. Надо взять пригласительные билеты и узнать, оформили ли картины для субботы.

15/XI. Снегу довольно много, 10 см.

3/I 70 г.

Снегу навалило — не пройдешь, после довольно крепких морозов стало заметно теплей, дошло до минус 3°. Снег валил с утра, и была метель.

18/I 70 г.

Сегодня мороз до минус 30°. Снег глубокий, и тропинки узкие и глубокие. Вчера ходил к Туровым и два раза садился в снег. Подниматься очень трудно.

28/IV 70 г.

Цветут: крокусы, сциллы, хионодокса, гипатика, пушкиния, галантус, волчье лыко, мать-и-мачеха.

13/V 1970 г.

Сейчас май. Все помолодело, все цветет или собирается цвести. У природы детский характер. Природа капризничает, смеется, плачет. Еще слезы блестят, не просохли, а уже вся она сияет, вся радуется и поет весело, беззаботно. А какой воздух, какой запах молодых развернувшихся листьев! Теперь дуб разворачивается, и, как полагается, подул северный ветер,



и стало холодно. Ночью на нуле. Цветут тюльпаны, нарциссы, фритиллярия, вишня Андо.

2/VI 1970 г.

Выводятся цыплята. Наседка страшно дика. Бросается сломя голову куда попало. Цыплята выходят не дружно. Будет много потерь.

28 августа 1970 г.

Вчера уехали гости. С Никитиной приезжал новый мой поклонник, какой-то искусствовед, он же актер, он же художник, он же режиссер и т. д. Имя его Михаил Юрьевич Романенко. С ними вместе приезжал Левашов. О моей монографии самые смутные слухи. По уверению Левашова, она выйдет в этом сентябре. Я ее еще не читал и не видел репродукций. Они еще не готовы, и еще я не отобрал, какие будут помещены в книгу.

Говорят, что надо писать о художниках. Надо так надо... Попробую написать, что я знаю о Ватагине...

12 июня 1971 г.

Сирень уже отцвела. Кисти побурели, выгорели, и цветы осыпаются. Одновременно с сиренью цвели жимолость, ди-ервилла, одуванчики. Теперь одуванчики стоят круглыми пуш-ками. Начинают зацветать пионы, ирисы, маки. Богато цветет актинидия.

Деревья, т. е. яблони, груши, сливы и вишни, цвели не-обыкновенно пышно. Возможно, что немного яблок мы по-лучим. Отцвел и конский каштан.

27 июня 1971 г.

Цветут пионы, ирисы, арункус, борщовник; отцвели маки, начинают зацветать жасмины. Яблок и слив очень много. Смородины пропасть. Вчера прошел сильный ливень, но все же погода холодновата. Огурцы растут плохо. Клубника слабо краснеет, но ее очень много.

21/V 1972 г. Метель

Метель — это месячный щенок борзой собаки. Его мама муруго-пегая борзая, очень красивая, широкая в груди, хорошо одетая и очень резвая. Начну всю эту историю с начала.

В начале мая заболела моя борзая Сильва. Она перестала есть и десятого мая угасла. Двенадцатого мая на звонок На-талия Александровна отворяет калитку и, к своему удивлению, видит борзую собаку, очень похожую на Сильву, и семью неизвестных людей.

Оказывается, что эти неизвестные люди купили эту собаку у какого-то типа за пять рублей. Держать такую большую собаку в маленькой комнате трудно, а из журнала «Охота» они вычитали в моем рассказе, что я хорошо знаю борзых собак и очень люблю их. Вот они и решили подкинуть мне этого пса. Пес оказался очень рослый, великолепно одетый, хорошо воспитан-ный, явно у кого-то украденный. Катя с первого взгляда влю-билась в него и помчалась всем его показывать и гулять с ним. Было извещено Московское общество собаководства, и сразу же стало ясно, чья это собака. Собаку зовут Вихрь, он имеет две золотые медали, ему пять лет, и принадлежит он Зуеву Василию Ивановичу. Собака пропадала почти полгода. Владелец от радости, что Вихрь нашелся, обещал подарить мне щенка. И вот 21/V мы поехали за щенком в Коломну. Мне с первого взгляда понравился один щенок — сучка муруго-пегая. Эту ма-ленькую сучку мы привезли в Пески, назвали Метель, и теперь

мы заботливо ее кормим. Ей дается пища 5 — 6 раз в день. Молочная смесь, манная каша, сырое яйцо, мелко рубленное сырое мясо, бульон и сухари. Песик уже на второй день освоил место, полюбил спать на террасе на собачьем матрасике или под лавочкой, в тени, на травке.

24/V

Жарко, 29°. Большие круглые облака, небольшой ветерок. Метель спит на террасе. Хотел ее покормить яйцом с манной кашей и молоком. Поднял на руки — спит. Понюхала еду и отвернулась, опять спит. Ну и пусть спит. В жару все собаки от еды отворачиваются, только пьют.

27/V

Случилась большая беда — Бобка укусила Метель. Набросилась с такой яростью, что насилу отбили. Бедной собачке она прокусила нос, и из носа лила кровь. Метель долго отчаянно кричала: «Ай, ай, ай, аоа...» Она никак не могла успокоиться и не могла заснуть — ей мешала кровь, зали-



вавшая ноздри. Она сразу ослабла и плохо стояла на лапках, и лежать ей было трудно, трудно дышать.

28/V

Переночевала плохо. Ничего не ест. Ранка на носу стала гноиться. Промывали борной и присыпали стрептоцидом. Таня стала ее кормить из шприца. К вечеру она выпила из шприца довольно много молочка (детская смесь). В шесть вечера Таня, бабушка и Мариша уехали в Москву с Метелью. Завтра хотят показать ее лучшему хирургу в ветлечебнице. Наталья Александровна вернется в Пески послезавтра. Все ходят очень расстроенные. Я не спал всю ночь.

29/V

Сижу один. Читаю «Далекое близкое» Репина. День серый, но дождя нет. Все думаю о щенке. Как-то его осмотрит врач.

30/V

В пять часов вечера приехали Наталия Александровна и Маришка. Новое горе! Несчастливая Метель, начавшая поправляться и сама лакать, неожиданно была снова ранена, упавшей полкой. Вот несчастная собака! Таня и Катя ревмя ревели. Если так будет продолжаться, вряд ли она выживет. Все это меня очень огорчило и расстроило. Полка упала ей на голову и сильно ушибла. Бедняга осталась в Москве, и когда придет в Пески — неизвестно (привезли 3/VII).

6/VI

Метель поправилась. Небольшая опухоль на конце мордочки, правая ноздря гноится, и ее промывают и ваткой, и из пипетки. Аппетит хороший, с жадностью ест мясо. Привезли теленка, и Метели дают мясо. Сегодня ей дали 0,6 г пиперазина. Вечером еще столько же и завтра тоже. У Туровых появился щенок-спаниель от Макаровых. Очаровательное существо. Белый, с черными ушами и крапом, ростом с рукавицу. Метель взвесили 2/VI — 3 кг 370 г.

7/VI

Приехали Горловы. Восхищались Метелью. Милочка Макарова приходила с двумя щенками ласк. Милы до восхищения.



8/VI

Утром в 10 ч. 30 мин. уехали Горловы. Погода стоит ясная. Сад цветет. Метель весит 4 кг 270 г. В 8 часов Метель ложится спать и спит до 3 часов.

10/VI

Холодно, 13°. Моросит дождик. Метель весит 4 кг 500 г.

13/VI

Умерла Мария Дмитриевна. Наташа завтра повезет цветы на гроб. За два дня она прислала письмо, что придет в июле. Мы думали, что она будет хорошей нянькой для Метели.

16/VI

Приехала Таня. Свесили Метельку, в ней 5 кг 200 г. У Метели неправильный прикус — бульдожина. Возможно, что это произошло от ранения верхней челюсти. Таня говорит, что в самом начале она смотрела ее прикус и он был правильный.

18/VI

Туровский (инженер) наконец принес давно обещанную канарейку с черным хохлом на голове. За канарейку заплатил небольшим рисунком глухарей. Теперь у меня три птицы, и все три молчат.

23/VI

В Метели 6 кг 150 г. Таня водила Метельку на луга. В высокой траве она заблудилась и запуталась, легла и перевернулась.

28/VI

Жарко и сухо. На востоке собираются облака. Как будто далеко-далеко гремит гром. Всем очень хочется дождя.

29/VI

Вчера собиралась гроза, гремел гром, нависли тучи, но потом все разошлось, и опять засияло солнце. Никогда так не цвел жасмин — это сплошь белые кусты, состоящие из белоснежных шаров, листьев не видно и аромат необычайный. После жестокой малоснежной зимы я ожидал, что вымерзнут многие многолетники, и в особенности боялся за ирисы. Ирисы хотя частично пострадали, но многие цвели великолепно. Плохо цвела сирень, «Конго» совсем не цвел, да и другие сорта цвели слабо. Яблок в этом году у нас не будет, многие сливы засохли. Уже давно стоит сухая жаркая погода.

2/VII

Метель весит 7 кг 600 г. Охотно ест детскую кашку, творог, вареное мясо. Стараемся приучить ее есть сырое мясо, которое она выплевывает. Ест охотно землянику с сахаром и сыр. Бланку привезли с выставки, где она получила малую золотую медаль. Маришка на седьмом небе. В Москве был проливной дождь. Вода на улицах стояла в полколеса машины.

7/VII

Пятница. Метель весит 8 кг 700 г. Жара 36°. Дождя все нет.

9/VII

Воскресенье. Ездили в Коломну за родословной Метели. Она еще не готова, и нет надежды на скорое ее изготовление. Смотрели сестер Метели. Таня совсем расстроилась. У сестер головы длиннее и больше. У нашей голова меньше, уже и выражение глаз у нее какое-то трагичное. В остальном она наряднее и немного шире. Хвост у нашей лучше.



15/VII

Суббота. Метель — 9 кг 750 г. Таня водила Метель купаться в Старице. Она самостоятельно залезла в воду и поплыла.

16/VII

Ездили в Надеево. Кое-как добрались, изрядно проплутав. Потом остановились у Оки. В Надеево и на Оке я сделал наброски. Заехали в Бобриневский монастырь. Полное разрушение. Громадные церкви с дырявыми куполами, стены с обвалившейся и, видимо, нарочито разбитой штукатуркой. Интересные угловые башни и вход.

19/VII

Вчера получил письмо из Таллина. Там потеряли мой адрес и потому не могли поблагодарить за присланные картины. У Метельки все крепче начинают стоять уши.

24/VII

Понедельник. Вчера все уехали в Москву. Взвесили Метель — 11 кг 200 г.

30/VII

Воскресенье. Было общее собрание. Когда я вернулся с собрания, то застал у наших ворот Зуева с женой и какой-то

девочкой и с тремя борзыми: Вихрем, Вьюгой и молодым кобелем (кличку забыл). Метель струсила и к собакам из ворот выходить не хотела. Жена Зуева подтащила ее к Вьюге, и она со страхом поздоровалась со своей мамой.

2/VIII

Сушь стоит ужасная. Сегодня день Ильи Пророка. Шура пошла молиться. 5-го будет в Песках выставка цветов, и Наталия Александровна готовит к ней картинки букетов. Их надо остеклить. В Метели 12 кг 960 г. Вечером приехала Мариша.

5/VIII 72 г.

Таня ходила с собаками на луга. Метель купалась. Сперва она бросилась за собаками в воду и перекувырнулась, даже испугалась. Таня ее выругала и успокоила, и купанье пошло гладко.

Сегодня, 5 августа, открылась Песковская выставка цветов. Наши художники дали довольно много картин. Неплохи у Ёлкина и одна картинка с рекой у Базурина, с вывертом у Горелова. Мурзик гулял по выставке как дома.

10/VIII

Метель весит 14 кг 300 г.

20/VIII

Катя привезла из Москвы небольшую беспородную собачонку, которую ей подарил знакомый парень. Парень развелся с женой, и собачонку некуда деть. Катя с радостью взяла этот подарок и привезла сюда, к дедушке и бабушке. Внучки этим не стесняются — Маришка привела эрдельтерьера, а Катя какую-то дворнягу. Спасенья нет от собак. Эта собачонка обладает бешеным темпераментом и совсем затыркала Метель. Та стала от нее прятаться.

22/VIII

Сергей Сергеевич уезжает завтра на Байкал. Вчера я начал писать на записанном холсте довольно большую картину. Лес. В лесу светлый медведь что-то роет. Пишу с удовольствием. Метель охотно ест таблетки фитина и толченую скорлупу.

26/VIII

В Москве лили дожди, а у нас хотя бы покапало. Стоит жара и сушь. Кругом пожары, и лес горит и торф. Все лето

мы ждем дождя. Засыхают деревья, кусты, травы. Наташа старается полить и спасти самые ценные растения. От великой суши невероятно размножился паутинный клещик. Он захватил даже дикорастущие травы. На собаках развелась тьма-тьмущая блох. Воздух пропитан гарью, и свет солнца какой-то желтоватый, жуткий. Некоторые яблони покрылись желтыми листьями, дубы, березы тоже пожелтели, и с деревьев, как осенью, летят желтые листья. Запрещено купаться в реке, ловить рыбу и гулять по лесу. Над рекой и над лесом все время летают вертолеты, и за ослушание штраф 10 рублей.

Когда Таня ехала из Москвы, ее шесть раз останавливали, и только бумажка с печатью, что у нее есть дача в Песках, помогала, и ее пропускали. Земля просохла на 1,5 метра, и хорошо полить деревья и кусты прямо невозможно.

10/IX

Погода все не меняется. Немного похолодало, а теперь опять и тепло и сухо. Приехали вчера Пастернаки всем выводком. Приехала Катя. У Кати было сотрясение мозга, и ей надо лежать, а она, конечно, и не думает. Метель сильно опозорилась — она задушила и съела цыпленка. Придется ее отучать от этой охоты.

18/IX

Прошли дожди. Сегодня ночью был сильный дождь, а теперь светит солнце и по голубому небу бегут с запада белые облака. Метель приучается ходить на поводке. Вчера закончил свою «Тройку».

Есть надежда, что будут грибы. Маслята уже появились, и кто-то видел подосинники.

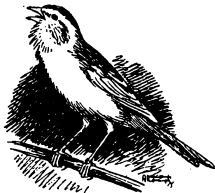
23/IX

Темно, холодно, ветер хотя и южный, но все же холодный. Около ноля. На крыльце у меня лужа. Смотрю, две синички в этой луже купаются, подлетела третья, и они, все три, минуты две купались.

1973 ГОД

13/I

Приезжал Левашов с какой-то дамой. Дама что-то хочет писать обо мне. Дама расспрашивала меня о встрече на Алтае с пограничниками и будет что-то писать в АПН. Книжка



«Будни живописца» издана очень хорошо и была бы вообще хороша, если бы не ужасный текст.

Левашову я давал свои рассказы о своей жизни, а он все переиначил и написал невероятную чепуху. Вранье от начала и до конца. Там появились какие-то неизвестные художники, какой-то Казимир, какой-то Иванов!

О КАНАРЕЙКАХ И ПРОЧЕМ

Сижу за столом и или рисую, или пишу, или так сижу и смотрю. Смотрю на большую клетку-садок с двумя канарейками. Когда в их сердцах еще теплилась первая любовь, в семье царила тишина и дружба. Они целовались и всячески ухаживали друг за другом. Она снесла четыре яичка и села. Он кормил ее и сидел рядом на жердочке, любовно поглядывая на нее. Тринадцать дней она сидела и высидела четырех птенчиков. Прошла еще неделя — птенчики подросли, они уже смотрят. Мама и папа их усердно кормят.

1974 ГОД

15 апреля. Спущены в большую клетку две самки и самец.

16 апреля. Желтую самку отсадили. Красная вьет гнездо, с самцом дружат и целуются. Спариваются.

18 апреля. Птицы часто целуются, спариваются редко. Самец не поет.

21 апреля. В гнезде первое яйцо. Самка временами сидит. Самец все эти дни ни разу не пел.

22 апреля. Второе яйцо.

23 апреля. Третье яйцо. Самец за все время ни разу не пел.

24 апреля. В гнезде 4 яйца. Самочка сидит. По временам слетает, чтобы поесть. Самка слетела второй раз, в гнездо сел самец, просидел не больше 5 минут — его сменила самка.

26 апреля. Самочка усердно сидит. Самец сидит на жердочке, смотрит на нее и молчит.

5 мая. На полу клетки скорлупки яиц. Птенчиков кормят.

14 мая. До сегодня в клетке был мир и любовь, а сегодня в 4 часа вечера разыгралась неожиданная ссора. Самочка надела на прижавшегося к полу самца и дала ему трепку. За что?

20 мая. У канареек около двенадцати бывает мертвый час — они сидят тихо, как статуи. Самка надувается и прячет голову под крыло. Птенцы растут по-разному. Два птенца очень крупные, в перьях, а два очень маленькие. Им, по-видимому, недостается корма — корм у родителей перехватывают более сильные.

23 мая. В гнезде тесно, и птенцы сидят друг на дружке. Они уже оперились, и у них уже большие крылышки.

24 мая. Вышел из гнезда и стал уверенно перелетать с жердочки на жердочку птенец с черной шапочкой. Другие птенцы сидят в гнезде. Птенец, покрячав и полетав, опять уселся в гнезде. Птенец сидит на жердочке. Из гнезда на него смотрят с завистью, но выпрыгнуть не решаются.

25 мая. На жердочке сидят три птенца, четвертый сидит на краю гнезда. Птенцы смирно сидят рядком. Один решился и попрыгал на всех жердочках. Все они сидят надувшись, как шарик.

29 мая. Птенцы начинают есть самостоятельно. Первый начал с черной шапочкой.

1975 ГОД

В больших клетках сидят три пары.

Первая пара — папа и мама, у них три птенца. 14 мая вылетел из гнезда первый птенец, без пятен на головке, посидел на жердочке и опять в гнездо.

Папа, когда еще в гнезде были птенцы с первыми перышками, начал строить другое гнездо и выстилал его травинками. Мама снесла в это гнездо яичко. Я побоялся, что они бросят недокормленных птенцов и займутся вторым гнездом, вынул это гнездо, а яичко положил в гнездо второй пары. Эта пара — черная шапочка и ее брат. У них раньше, чем у папы и мамы, были положены четыре яичка, но шапочка их бросила, и яички пропали. Подложенное мной яичко подзадорило шапочку, и теперь у нее пять яичек. Жаль, что я не заметил кисточкой подложенное яичко. Интересно, сколько птенцов выйдет из пяти яичек.

13 мая. Шапочка стала насиживать.

Третья пара. Щегол и желтая канарейка. Они не обращают внимания друг на друга. Щегол вот уже третий месяц остается диким и все время бьется в решетку. Самка гнезда не делает.

22 мая. У папы и мамы 3 яичка. Мама сидит на них.

27 мая. Шапочка сидит в гнезде. Самец сел на гнездо и кормит шапочку. Потом она начинает кормить птенцов. Я думаю, что они вывелись сегодня.

АВТОБИОГРАФИЯ

Я родился в селе Скородном Тульской губернии Ефремовского уезда в 1879 г. Раннее детство провел в деревне и еще в 4 — 5-летнем возрасте рисовал и лепил из хлеба домашних животных. Когда же мне было пять лет, мои воспитательницы-тетки переехали в Тулу, где я первый раз в жизни в балагане бродячего цирка-зверинца увидел настоящих живых зверей: львов, тигров, гиен, медведей, пестрых попугаев и других. Это был толчок, и толчок такой силы, что я на всю жизнь зарядился страстью к животным.

Учась в Тульском реальном училище, я мечтал о путешествиях и охотах и пытался иллюстрировать Жюль Верна, Майн Рида, Купера. В 1896 г. я поступил в Школу живописи, ваяния и зодчества. Профессор Алексей Степанович Степанов поддержал и укрепил мои опыты изображения животных, а постоянное посещение зоологического сада коротко познакомило меня с характером и строением животных. В это время я начал сотрудничать в журнале «Псовая и ружейная охота». Еще плохо разбираясь в породах собак и лошадей, я, конечно, не мог удовлетворить требования знатоков-охот-

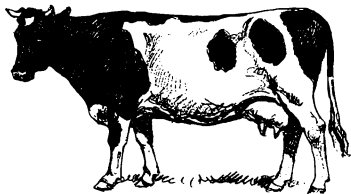
ников, и вот для этой цели я был приглашен редактором в его имение, где находилась большая псовая охота, где я понял, полюбил и изучил охотничьих собак. Вскоре, приблизительно в 1902 — 1903 гг., я начал сотрудничать в детских журналах и книгах. Работал в издательствах Сытина, Ступина, Кнебеля и других. С 1917 г. я работаю во всех государственных издательствах. Иллюстрировал басни Демьяна Бедного, книжки-картинки для издательства ВЦИК: «Снегирь», «Теремок» и др. В ИЗОГИЗЕ рисовал настенные картинки и открытки: «Заяц», «Молодняк зоопарка», «Куры» и др. Сделал много картин и плакатов для выставки по Охране материнства и младенчества. В Детгизе мною иллюстрированы: «Пржевальский», «Горы и люди» Ильина.

В 1938 г. на выставке «ХХ лет РККА» мною были выставлены, отмечены критикой и приобретены для музея Красной Армии картины: «Пограничники», «Табун чистокровных маток», «Охота с борзыми».

В Музее им. Кропоткина находятся мои картины: «Дикие лошади», «Пеликаны», «Волки». В Толстовском музее — рисунки к детским рассказам Л.Толстого. В Зоомузее МГУ — картины: «Охота на волков с флажками», «Загон волка», «Тетерева» и др. Есть мои картины и в Историческом музее («Родовой быт»), в Политехническом («Фактория на Севере», «Охота на соболя»), в Музее коневодства, в Биологическом музее им. Тимирязева. В периферийных музеях также есть мои работы: в краеведческих музеях города Коломна, г. Истры, в г. Орджоникидзе.

Особенно много я работал для Дарвинского музея. Я написал для него 172 полотна. Меня привлекала тематика, разработанная директором музея А. Ф. Котсом. Котс представлял в мое распоряжение коллекции чучел, шкур, и это помогало мне правдиво изображать животных. К этому времени у меня накопился большой запас рисунков, набросков из зоопарка и много пейзажей из моих странствий. Котс очень интересовался моими работами и помогал своими советами.

На протяжении многих лет у меня поддерживается знакомство с коллекционером Рехловым из города Норильска. Я ему передал в дар около 100 картин. Рехлов устраивает выставки не только у себя на севере по городам и поселкам (г. Норильск, Таймыр, Красноярск), но и за рубежом — в ГДР.



На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке находятся три больших панно (до 40 метров), они были отмечены благодарностью Выставочного комитета: «Рогатый скот в Армении», «Ночной выпас лошадей», «Овцы породы белбас».

Перед войной мною были сделаны много красочных рисунков для атласа «Промысловые птицы и звери СССР» издательства Академии наук.

Издательством «Советская наука» выпущен большой труд «Птицы Советского Союза» под редакцией профессора Деметьева с моими иллюстрациями.

Я много путешествовал: был в Средней Азии, на Урале, в Астраханских степях, с научной экспедицией ездил на Алтай, был и за рубежом — в Швеции и Норвегии, во время Первой мировой войны пришлось побывать в Персии. Всюду меня сопровождал альбом и краски. Знание животных в их природной обстановке привлекло ко мне ученых зоологов, и мне пришлось очень много работать в разных зоологических изданиях. Мною иллюстрировано много научных и популярных книг.

С 1931 г., с момента основания Учпедгиза, я работаю там. Много учебных наглядных пособий — зоологических, географических и на сказочные сюжеты сделал я. Они разошлись по всему Советскому Союзу и даже за рубежом.

В 1936 г., поселившись в Песках, я увлекся акварелью и написал тут много картин по своим наброскам и эскизам, сделанным мною за время моих путешествий. В них я стремился показать моих любимых животных с лучшей стороны,

старался заразить зрителя своей любовью к ним. Я изображаю всегда свою родную природу, наших зверей и птиц. Их я видел в натуре и хорошо знаю.

Чаще всего встречаются в моих картинах лошади, собаки, лоси, медведи, лисы и волки.

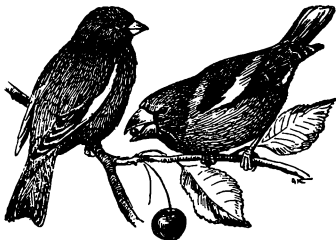
Я много лет работаю в научных изданиях по зоологии. Мною иллюстрированы, кроме «Птиц Советского Союза», «Птицы Казахстана», «Звери Казахстана», «Хищные звери» и многое другое.

За работы для детских книжек и детского календаря издательство Москворецкого Райпромтреста отметило мою работу Почетной грамотой Министерства местной промышленности от 19 января 1949 года.

В 1947 г. 29 мая Президиум Верховного Совета РСФСР наградил меня званием «Заслуженный деятель искусств РСФСР».

В настоящее время я нахожусь на пенсии, и в октябре этого, 1964 года мне исполнилось восемьдесят пять лет.





СТИХОТВОРЕНИЯ

В окно ко мне зима глядит,
И я гляжу через стекло.
Как все нарядно, как бело,
Как сад мой тихо, тихо спит.

На куст рябины прилетели
Тайги красавцы — свиристели.
Вот у кормушки выются стайкой
Синицы, поползни и гайки,

А в белом кружеве ветвей
Краснеют грудки снегирей.
Синичка в раму мне стучит,
И голосок ее звенит:

«Иди скорей, давай зерна!
Чего ты ждешь — я голодна!»

«Сейчас, сейчас, мой друг хороший,
Надену только вот калоши».
И сыплю щедрою рукой
Зерно на столик кормовой.

По синему небу
Плывут караваны
Блистающих снежных вершин.
Безмерно огромны,
Легки, как туманы,
Уходят в прозрачную синь.
То сгрудятся вместе,
То врозь разбегутся,
В диковинных вдруг превратятся зверей.
По синему небу куда-то несутся
И светлым туманом легко расплывутся
В просторе лазурных морей.
1973

Белая березонька, русская красавица,
Косы золотистые чуть не до земли.
Все-то ей любуются, всем-то она нравится,
Ее кудри пышные ветер шевелит.

На полянке солнечной травка изумрудная,
Белая березонька посреди стоит,
Травка изумрудная, в ней цветочки чудные...

Под окошком моим
Две рябинки растут,
Они вешней порой
Белым цветом цветут.

А как осень придет,
Зарумянится лист,
От тяжелых гроздей
Ветви склонятся вниз.

В красных бусах стоят
Две рябинки мои,
Улыбаясь, дарят
Мне богатства свои.

Любите природу, родную природу,
Любите ее всей душой,
И горы, и доли, пустыни и воды,
И сумрак любите лесной.

И Север любите, холодный и грозный,
Богатый и ласковый Юг.
Любите просторы деревни колхозной,
Колхозников благостный труд.

Навстречу мне за далью даль,
Навстречу мне полей просторы,
Леса, луга, долины, горы,
Озер сверкающий хрусталь.

Машина мчит, не уставая
Гляжу, любуясь красотой.
Моя Россия, ширь какая,
Какой простор, размах какой.

Лесная глушь, березы, ели,
Через дорогу лось прошел,
Тетерева перелетели,
Там пестрый дятел долбит ствол.

И снова ширь, поля без края,
Луга, цветущие луга.
Земля моя, земля родная,
Моя любимая, святая,
Ты, словно жизнь, мне дорога.

Все это родное —
Сосны и дубы,
Белые березы,
Белые грибы.
Поползень, синицы —
Это все родня.



Все веселым писком
Радуют меня.
Да, среди природы
Я не одинок.
Каждый лягушонок
Мне родной сынок.

* * *

Темен лес дремучий,
Страшно мне в лесу.
Я на всякий случай
Пистолет несу.
Вот он тут, в кармане,
У меня лежит.

От него в испуге
Любой зверь бежит.
Страшен зверь могучий,
А мне горя нет,

У меня в кармане
Вот он, пистолет.
Хоть и не заряжен,
Ладно, наплевать,
Я не собираюсь
Из него стрелять.

1975

* * *

Солнышко, видно, устало,
Устало от летних забот,
Вечером рано ложится,
Поздно поутру встает.

Надо признаться, с охотой
Лег бы и я на покой,
Зиму б проспал без заботы,
С солнышком встал бы весной.

* * *

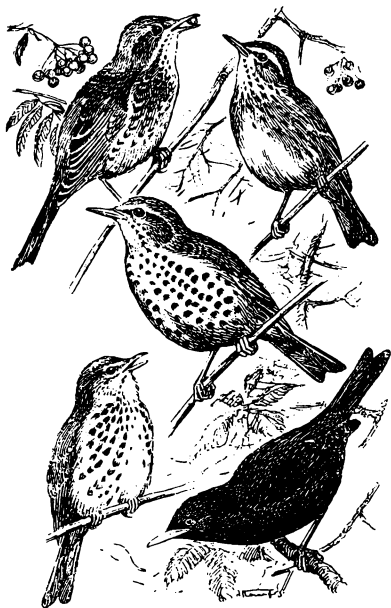
Лес стоит весь в снегу,
Как старик угрюмый,
И молчит... Ни гугу...
Погруженный в думу.

Я на лыжах иду
Без ружья, без фото.
Что мне надо в лесу?
А ведь надо что-го.

Да... Конечно, найду
Я в лесу сюжеты,
Вдохновенье найду,
Пригодится это!

* * *

Весна пришла! Весна пришла! —
Кричит в восторге календарь.
Смотрю в окно сквозь два стекла —
Похоже больше на январь.
Пожарче печку натоплю,



Оденусь потеплей
И сяду в письмах поздравлять
С весной своих друзей.

Весенний вечер. Солнце село,
Огнистые погасли облака,
Дрозды замолкли. Потемнела
Лесная глушь. Лишь говор ручейка
Безмолвие природы нарушает.
Далекий выстрел, снова тишь.
Тревожным сном природа засыпает.
Ночь коротка, и долго не проспишь.

И вот я с музой неразлучен,
Долой докучливую лень,
И уж не длинен и не скучен
Мне кажется осенний день.
«Сухую кистью» я рисую
Своих возлюбленных зверей.
Их загоняю в глушь лесную
И с ними сам брожу по ней.
Зверье моей послушно воле,
То мирно спит в тиши ветвей,
То резво мчится в диком поле,
То пить идет в лесной ручей.

Люблю сидеть перед камином
И, наслаждаясь тишиной,
Смотреть, как пламя вьется с дымом,
Как саламандр пляшет рой.

Пишу тебе, мой друг далекий,
Но все же очень близкий друг,
Пишу в надежде — эти строки
Тебя ко мне перенесут.
И сядем мы перед камином
С бутылкой красного вина,

Тепло, уютно, тишина.
В окно сквозь сумрак темно-синий
Глядит красавица луна.

Поговорим о том, об этом,
Слегка поспорим, может быть.
В беседе, дружбою согретой,
Неплохо отбивной котлетой
Вина стаканчик закусить.

* * *

Мой милый друг,
Мое послание прими.
В нем я желаю, чтобы ты
Хранил заветные мечты,
И бодрость духа не терял,
И был здоров, и крепко спал,
Под ручку с Митревной гулял,
Смеялся, кушал чернослив,
Ну, словом, был бы ты счастлив.
И я за счастьем ковыляю,
Немножко по саду гуляю,
Без аппетита ем и пью
И очень плохо ночью сплю.
Морфей, свинья и идиот,
Мне сна, каналья, не дает,
А ночь без сна совсем не мед.

* * *

Хотел бы я ответить вам стихами,
Но посудите сами:
В мои года — какие там стихи,
Пора замаливать грехи.

* * *

Смотри в окошко,
Нина, Нина!
Смотри, какие чудеса,
Какая дивная картина,

Какая снежная краса.
Как все бело... Смотри, смотри!
Вон на мичуринской рябине
Сидят красавцы снегири.
Они из дальних стран суровых
Нас прилетели навестить,
У нас немного погостить,
И улететь на Север снова.
Смотри, как Мурзик рад пороше,
То спинкой трется, то брюшком,
То в снег ныряет кувырком,
Он очень рад, наш пес хороший.

* * *

Помнишь, Зося, лес дремучий,
Мы по лесу робко шли.
Небо все закрыли тучи,
Гром, как зверь, рычал вдали.
Тьма сырая, ночь глухая,
В ней мерцают огоньки —
То кикимор злые очи
Или светят светляки?
Иль то леший смотрит дико
Из чашобы из глухой?
Зося, Зося, не пугайся,
Зося, Зося, я с тобой.

1975

* * *

Давно, давно я собирался
Вам поднести букет цветов.
И наконец я постарался
Нарвать лесных колокольцов,
Нарвать липучки и ромашки,
Лазурно-синих васильков,
И розовых и белых кашек,
И длинноусых колосков.
Букет готов. Я к вам помчался,

А вас, мой ангел, дома нет.
Соседке Лизочке достался
За поцелуй весь ваш букет.
Вот так-то!

* * *

Я зверь, я дикий зверь,
Таким меня природа сотворила.
Мне чувства тонкие дала
И жить под солнцем научила.

* * *

Как хороши,
Как свежи были розы
В китайской вазе на столе.
Их ветер сдул,
Их съели козы.
Осколки вазы на земле.

* * *

Вы помните? На камне мы стояли,
Плескалось море. Чайки хохотали...
На берег ветер волны гнал,
И вашим шарфом он играл.

И, видно в шутку, нас двоих
Опутал шарфом и затих.

Тогда с улыбкой вы сказали:
«Нас шелком ветерки связали...
Теперь попалась птичка в сеть,
На волю ей не улететь...»

Я вам ответил: «Плен не страшен,
Когда любовью он украшен,
Когда не цепи, не оковы,
А вяжет шарфик ваш шелковый».

Ночи сонное дыханье,
Сумрак и покой.
В небе звездное мерцанье,
Месяц молодой.

В сад пойдем. Смотри, как пышно
Там сирень цветет.
У забора в чаше вишен
Соловей поет.

На дерновую скамейку
Сядем мы с тобой,
Перед нами пруд, заросший
Темною нугой.

Милый друг, ведь это сказка,
Это дивный сон,
Никогда не повторится
В нашей жизни он.

Будет время — твои кудри
Серебром блеснут,
Тогда вспомни сад цветущий
И уснувший пруд.
И дерновую скамейку,
Соловья в тиши.
Вспомни, как шептались тихо,
Тихо камыши.

Грозди пышные сирени
Льют свой аромат.
Мы пойдем с тобою, Феня,
В наш цветущий сад.

Ах, мой ангел, твои глазки
Не глаза — цветы,
Они полны нежной ласки,
Полны красоты.

* * *

Где ты теперь — того не знаю,
Но эту ночь, ночь над Курой
Я часто, часто вспоминаю
И в мыслях нежно обнимаю
Тебя, дитя страны чужой.
Шумела буйная река,
Гремя камнями, в пене белой.
Со мною рядом ты сидела,
В моей руке твоя рука.
Была весна, и соловьи
Напевы дивные свои
Всю ночь нам пели, не смолкая.
Кура неслася между скал,
Гоня за валом мутный вал,
Клоками пены вверх бросая.
Где ты теперь — того не знаю,
Но эту ночь, ночь над Курой
Я часто, часто вспоминаю,
И в мыслях нежно обнимаю
Я стан грузинки молодой.

* * *

Мы любим всем давать советы,
Как будто знаем больше всех.
Но даже, несмотря на это,
Иной совет дает успех.

* * *

У камина мы сидели,
За окном кружилась вьюга,
Но в окно мы не глядели,
Мы глядели друг на друга.

Так сидели вечер целый
И ни слова не сказали...
На медвежьей шкуре белой
Мы сидели и молчали.

И дрова уж прогорели,
И в окно уж ночь глядела,
Молча рядом мы сидели
На медвежьей шкуре белой.

За нас руки говорили,
Говорили очи смело.
Все вопросы мы решили
На медвежьей шкуре белой.

1971

* * *

В такой туман и слякоть
Хотел бы с другом я побыть,
Вина бутылочку распить
И мирно покалякать.

* * *

Ночь и луна обманчивы, друг милый,
Все кошки серы в тьме ночной,
А девушки — одна прекраснее другой,
Луна вуалью их прикрывала.
Вот почему всегда свиданья
Бывают ночью, под луной,
И внучки Евы, хитрые создания,
При лунном трепетном сиянии
Обманчивой нас ловят красотой.

* * *

Хотел бы я ответить вам стихами...
Да стар я стал, какие уж стихи?
Не время заниматься пустяками,
Пора замаливать грехи.
Давно уж черти ждут меня,
Давно уж раздувают пламя.
И, может быть, на этих днях
Я подружусь с чертями...

Слов у меня для вас так много,
И образ ваш всегда со мной,
Но вы глядите очень строго,
И перед вами я немой.

Ах, Анюта, ваши глазки
Не глаза — цветы.
Сколько в них любви и ласки,
Сколько в них мечты.

Много люди написали
Всякой чепухи.
Умоляю вас: нельзя ли
Не писать стихи!

Когда-нибудь в минуту грусти,
Когда наступит черный час,
В своем печальном захолустье
Я вспомню, может быть, о вас.
И образ ваш, родной и милый,
Рассеет временную тень,
И вновь во мне воспрянут силы,
И новый засияет день!

Я вас любил свирепо, зверски,
Живьем готов был проглотить,
Такой поступок богомерзкий
Нельзя, конечно, похвалить.

А время шло, смотря сурово,
Огонь любви в душе угас.
И поросенка заливного
Теперь люблю я больше вас.

Я тихо шел по сказочному лесу
И слушал тишину, любуясь кружевом

Заиндевших веток.
И вдруг передо мной в величии прекрасном
Предстал лесной гигант, могучий, горделиво.
Лесное божество в короне грозной
Бесшумно, как видение в узоре
Снежных веток, он на меня
Направил взор суровый и уши чуткие.
Мгновенье лишь мы так стояли,
И вдруг красавец мой растаял,
Рассеялся как дым, как пар, как
Сон прекрасный.
Я тут заметил, что был он не один,
За ним, мелькая в серебре стволов и веток,
Растаяли еще пять-шесть лесных красавцев.
Куда? Зачем? Зачем меня бояться?
Ужель возможно в божество ружье направить,
Разбить прекрасный мрамор
Иль штыком проткнуть шедевр дивный.
Не бойтесь же меня, лесные боги,
Лес ваш, и вы в нем властелины.

По лесу леший бродил при луне,
Мурлыкая песню в ночной тишине.
Ему, подпевая, и сосны, и ели
Вершины качали и тихо шумели.



* * *

Позвольте мне любви признание
Рукой дрожащей написать.
Мои мечты, мои страдания
Все на бумаге рассказать.

Потом весь жар души мятежной
В конверт почтовый запихать,
Поцеловать конверт тот нежно
И адрес сверху написать.

Он очень прост: «Моей любимой» —
И все. Не бойтесь, он не подведет,
Не пролетит признание мимо,
А в ваши руки попадет.

1976

* * *

Отдохни, мой друг усталый,
Отдохни!
Потрудился ты немало
В эти дни.
Ты немолод, гаснут силы.
Отдохни!
Друг сердешный, друг мой милый,
Ляг, усни!
Я тебя тепло укурю
Зипуном.
Спи, мой милый, на покое
Сладким сном.

1974

* * *

Осточертела мне столица,
Москвою сыт по горло я.
Толпа, мелькающие лица
Скотов-рабочих и жулья.
И все спешат, и все бегут,
Толпой забиты магазины.

Возьми, судьба, хороший кнут,
Исполосуй им рабы спины.

ПИСЬМО ГОРЛОВУ

Привет тебе, пустынножитель,
Певец волков, бизонов укротитель.
Свой лоб укрась венком лавровым,
Сиди в пустыне, и ни-ни...
Опасно ездить в эти дни,
Повсюду ходит грипп суровый,
Москву он косит, словно сено.
Все сорок тысяч докторов
Пред ним упали на колена.
Сиди, брат, дома! Будь здоров!

16 января 1973 г.

К нам в дверь стучится
Годик Новый.
Пишит: желаю быть здоровым!
Того же вам желаю я.
Живите весело, друзья!

Любите солнце и природу,
Гуляйте в ясную погоду,
Поменьше ешьте, дольше жуйте,
Из-за пустого не горюйте,
Что не по-вашему — наплюйте.

Примите дружеский совет
И проживете до ста лет.
Поднимем же бокал с вином
За край родной, за отчий дом!

Жена велит писать стихами.
Откуда рифмы я возьму?
Ну а без них — судите сами —
Стихами я не щегольну.
Вас с Новым годом поздравляю,

Удачи, счастья желаю.
Без ссор, без драк, без мордобоя
Пусть год пройдет своей чредою,
Пусть смех веселый вас бодрит,
И крепкий сон, и волчий аппетит,
В работе легкость и удача,
Веселой песни дружный звук,
Пусть слезы будут не от плача,
Причиной их пусть будет лук.

Примите дар мой в добрый час,
Как талисман он будет вас
Беречь от горя и напастей
И принесет вам много счастья.
Уверен я, что Новый год
Здоровье, радость вам несет.
Так за него с фруктовым соком
Подыдем мы бокал высоко
И выпьем весь бокал до дна...
Не бойтесь — жидкость не вредна!

* * *

Иду к соседям Туровым.
Их дача мне видна.
Мороз, и в небе круглая,
Как жирный блин, луна.

Иду тропинкой узкою,
Крутом глубокий снег,
Оступишься, провалишься,
Подняться силы нет.

И вот в снегу копаешься,
Не вылезешь никак.
На палку опираешься —
Да, старость не пустяк.

С трудом из снега выбрался,
Ну и глубокий снег!
А вам смешно? Над старостью
Нельзя смеяться — грех.

* * *

На самой верхушке
Сидела кукушка.
И с елки высокой
Ей видно далеко.
Видна ей избушка,
В окошке старушка,
И просит старушка:
«Скажи мне, кукушка,
Пора мне в могилку,
Пора или рано —
Скажи без обмана».
Кричала кукушка.
Считала старушка.
Считала, считала
И сбилась со счета.
Вот то-то!

* * *

В глухом лесу, на небольшой полянке,
Отшельник-леший жил в землянке,
Бывало, сядет на пенек,
Любуется, мечтает...
Возьмет свирель из тростника,
Тихонько заиграет.
Под звуки песенки его,
Под тихий плач свирели
Замолкнут птичьи голоса,
Задумаются сны.
Русалки выйдут из воды,
И водяной за ними,
Вода струится с бороды,
Сам весь в зеленой тине.
Свирель все слушают в тиши,
И, звукам тем внимая,
Лепечут что-то камыши,
Метелками качая.

На сером камне лежит наяда,
На сером камне в далеком море.
Грохочут волны и клочья пены
Бросают злобно высоко в небо.

По небу тучи чернее ночи,
По морю волны идут, как горы,
На сером камне лежит наяда,
Лежит наяда и смотрит в море.
Что там взлетает на черных волнах?

Челнок взлетает, челнок ныряет.
Пловец отважный, пловец безумный,
Куда ты правишь челнок свой хрупкий
В такую бурю и в ночь такую?

Вон там далеко огонь мелькает,
Огонь мелькает в ее окошке.
Туда стремится пловец отважный.
Он к ней стремится, ему не страшны
Ни ночь, ни буря, ему не страшны
пучины моря.

Челнок взлетает, челнок ныряет,
На камне сером уж нет наяды.
Блестящей рыбкой плывет, ныряет,
Челнок отважный она встречает.
Из моря гибко она взметнулась.

Челнок взлетает, челнок ныряет.
Пловец отважный глядит и видит —
Пред ним наяда.
Из моря вышла,
Глядит и тихо говорит...



У костра мы все сидели
В тишине ночной,
Вокруг нас стояли ели
Темною стеной.
Меж стволами их виднелись
Дальние поля,
И оттуда доносился
Крик коростеля.
На костре плясало пламя,
Искры вверх неслись,
Ярко вспыхивали, гасли,
Уносились ввысь.
В ярком пламени кружился
Саламандр рой,
Извивался, наслаждался
Пляской огневой.
Вдруг костра упало пламя,
Дымом все заволокло,

Все тотчас другое стало,
Будто то же, да не то.
Изменился лес дремучий,
Рядом море пенит вал,
Появились скалы, кручи,
Мир другой, опасный стал.
Мы сидим в звериных шкурах,
В лес вперевши взор,
И в руке сжимаем грубый
Каменный топор.
Чутко слушаем мы шорох,
Легкие шаги,
Нам повсюду угрожают
Злобные враги.
Львы, пещерные медведи,
Тигр-махайрод,
Это наши все соседи,
Ненадежный сброд.
Не дреми, охотник чуткий,
Оглянись, взгляни —
В мраке леса засветились
Парные огни.
Это львы четою грозной
За тобой следят,
Их огонь костра пугает —
Он наш друг и брат.
Их во тьме сверкают очи,
Легки их шаги...
Берегись, охотник смелый,
У тебя враги...

ПЕГАС

Я зашел на конюшню к Пегасу,
Грустный стоит, взор погас и опущены
крылья.
Одна кожа да кости остались.
«Что терзает тебя, о Пегас легкокрылый,
Не измена ль кобылы любимой?» —
«Нет, заездили насмерть поэты,
А корма-то плохие, не стихи, а солома
гнилая.

Попадется иная поэма — не раскусишь
ее до рассвета.

И жуешь ее, зубы ломая.
А какая в ней польза? Ни складу ни ладу,
И в желудке она не сварится.
Отошал я на этих стихах, еле ноги таскаю.
А поэтам скорей на Олимп надо ехать.
Ездоки-то уж больно плохие.
Иной сядет, трясется от страха,
Сам за хвост мой уцепится крепко...
И слетит. И меня же ругает!
Сверхзаумные стали поэты,
Иной пишет такими стихами,
Что не всякий прочесть ухитрится.
И на лире теперь не бряцают,
А транзистор берут богомерзкий.
Каково мне их музыку слушать,
Мне, кто мчал еще старца Гомера,
Кто возил богоравных поэтов,
И Овидия, и Демосфена,
Орфея возил и Мильтона,
Лорда Байрона, Шиллера, Гёте,
Возил русских великих поэтов,
Самого возил Пушкина даже.
А теперь вот изволь на голодное брюхо
На Олимп через силу таскаться...»

На полу лежала шкура,
Шкура белого медведя,
А на ней сидела Мура
И лежал братишка Федя.
И сказала Мура Феде:
«Эту шкуру, очевидно,
Утащили у медведя,
Ему холодно и стыдно.

Он теперь ведь ходит голый,
Это очень неприлично.
И без шкуры в зимний холод
Он озябнет с непривычки».

Ничего не понял Федя
Про медведя и про стужу,
Он сосал свою пустышку
И на шкуре сделал лужу.

Жила-была девочка Анюта,
И были у Анюты такие красивые глазки, что кто ни
посмотрит, так и ахнет.
И был у Анюты маленький братик Вася-Василек.
И были у Василька такие синие глазки, что кто ни
посмотрит, так и ахнет.
Пошли Анюта и Василек в лес за ягодами.
Собирает Анюта ягодки, а Василек отошел за кустик
и потерял Анюту.
Пошел Василек ее искать, да и заблудился...
Вышел из леса и забрел в рожь.
Густая рожь. Испугался Василек и стал плакать.
Куда капнет слезинка — там цветочек расцветает.
Синий цветочек, как Васильковы глазки.
Хватилась Анюта Василька, побежала его искать. Сама
плачет — слезки из глаз капают. Где слезка упадет —
там
цветочек расцветает, совсем такой, как Анютины
глазки.
Выбежала Анюта из леса, видит — во ржи цветочки
синие,
совсем такие, как Васи-Василька глазки.
Побежала Анюта от цветочка к цветочку и нашла
братика
Васю-Василька.
И с тех пор на пригорках цветут анютины глазки,
а во ржи цветут васильки.

СКАЗОЧКА

Жили-были старик со старухой,
Возле темного леса жили на опушке,
Жили в старой осиновой избушке,
Жили ровно тридцать лет и три года,
И никому-то до них не было дела.

Старик рисовал всяких птиц и зверюшек.
Старуха сажала цветочки.
Жили тихо они, покойно,
Да, зная, леший старичка попутал —
Задумал старик неразумное дело:
Захотел показать добрым людям
Своих пташек и всяких зверюшек.
Стал он кликать гамаюн-птицу:
«Ты устрой мне, птица вещая,
Персональную выставку.
Пусть увидят люди добрые
Моих милых птах и зверюшек,
Пусть полюбят их, пожалеют их
И природу-мать охранять начнут».
Взмахнула крылом птица вещая,
И открылась персональная выставка.
Увидали люди выставку, удивились:
«А ведь жив еще старичок-то наш,
Вон живой, глянь, по выставке бродит».
И вокруг старика загомосился люд:
Сем-ка я напишу про него сказочку,
Сем-ка я с него сделаю фильмочку.
И такое про него нацарапали,
Чего старику и во сне не снилось.
Такой он герой — диво дивное!
Затрепали старика на отделку.
Досталось и бедной старухе —
Здорово досталось на орехи.
То банкет, то юбилей, вечер творческий —
Не дают старухе покоя.
Загордился, заважничал старец,
Свысока стал смотреть на людишек,
Задирать стал нос свой высоко.
Прилетела к старику гамаюн-птица.
«Не гордись, старче, не чванься,—
Говорит ему вещая птица,—
Поди сядь на пенек и подумай.
Мог бы сделать ты в жизни немало,
А ты сделал ли хоть половину?»
Тут она крылами махнула,
Сказала: «Прощай»,— и пропала.
Сел старик на пенек,

Начал думать. Думал, думал
И понял свое неразумье,
Повинился старик, прослезился старик
И потопал скорей восвояси.
Он забрался в избушку свою развалюшку
И с тех пор из нее не выходит.
Сидит, носа оттуда не кажет.
А коль гость к нему в дверь постучится,
Хлебом-солью он гостя встречает.

Лишь об одном жалею я,
Что не сумел создать
За жизнь такого полотна,
Чтоб глаз не оторвать.
Чтоб каждый, глядя на него,
Весну бы ощущал,
И слышал говор ручейка,
И аромат вдыхал.
Чтоб каждый, глядя на него,
Душою молодел
И чтобы в сердце у него
Незримый зяблик пел.
Что делать? Не сумел создать,
Без пользы жизнь прошла.
Теперь уже не наверстать,
Такие-то дела.

Быть может, эта вот весна —
Весна последняя моя,
И солнца вешние лучи
В последний раз увижу я.
В последний раз погреюсь я
В приветливых лучах
И говор вешнего ручья
Услышу на лугах.

* * *

Тяжелым сном уснул мой сад,
В нем не щебечут звонко птицы,
В нем пчелы больше не жужжат,
Не слышен запах медуницы.

Меж голых веток в нем порой
Лишь белых мух кружится рой.
Под снежным пологом он спит
И видит дивный сон,
Что вешним солнцем он залит,
Что оживает он.

* * *

Облака, как горы,
Горы-исполины,
Вечными снегами
Блещут их вершины.
Голубое небо,
Тени голубые,
На снегу алмазов
Огоньки цветные.
Набухают почки
На ветвях сирени,
И звенит синица
Песенкой весенней.

И буйно лезут из земли
Подснежников цветы,
И уж фиалки расцвели,
В бутонах все кусты.

* * *

Вышел я поутру рано
В свой цветущий сад.
В нем высокие тюльпаны
Как огни горят.

Там жимолости пышной
Пир идет горой.
Даже издали мне слышно,
Как жужжит их рой.

* * *

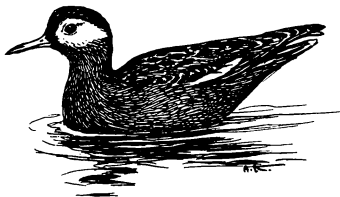
Я так люблю свой садик скромный
И свой рабочий кабинет,
Где я тружусь в тиши укроной,
Считай, без мала сорок лет.

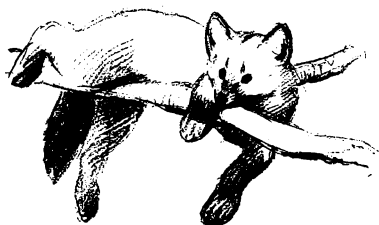
Тружусь, к природе привлекая
Внимание и любовь людей,
И только одного желаю,
Чтоб человек был другом ей.

Чтобы не грабил он природу,
К наживе жадность сократя,
Любил бы землю, воздух, воду,
Как любит мать свое дитя.

1975 г.









НЕПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КНИГ
С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ А.Н. КОМАРОВА

НАУЧНЫЕ КНИГИ:

Б о б р и н с к и й. Животный мир и природа СССР, 1960.

Атлас охотничьих и промысловых птиц и зверей. В 2-х тт., 1963.

Н о в и к о в. Хищные млекопитающие фауны СССР, 1956.

В о р о б ь е в. Птицы Уссурийского края, 1956.

Птицы Казахстана: В 2-х тт. АН Казахстана, 1962.

Птицы Советского Союза: В 6-ти тт. Сов. наука, 1954.

Млекопитающие Советского Союза. Высш. шк., 1962.

Г е п т н е р и д р. Животный мир СССР (птицы), Детгиз, 1940.

Ш и т н и к о в. Звери и птицы нашей страны. Мол. гвардия, 1957.

Т у р о в С. С. Очерки охотника натуралиста. Изд. О-ва испытателей природы, 1952.

Л у к и н. Птичий городок. Изд. О-ва испытателей природы, 1951.

Т у р о в С. С. Жизнь птиц. Изд. О-ва испытателей природы, 1950.

Б е м е. Жизнь птиц у нас дома. Изд. О-ва испытателей природы.

З в е р е в. О птицах и зверях нашей родины, Учпедгиз, 1956.

Р я б и н и н Б. Рассказы о верном друге. Мол. гвардия, 1957.

Ш к л я р. Повесть о зоопарке. Мол. гвардия, 1935.

И л ь и н. Как человек стал великаном. Детгиз, 1940.

М а н т е й ф е л ь. Рассказы натуралиста. Учпедгиз, 1955.

Путешествие Пржевальского. Детгиз, 1941.

Московский зоопарк. Моск. рабочий, 1961.

Б е м е. Рассказы натуралиста, Географ. лит., 1955.

С п а н г е н б е р г. Записки натуралиста. 4-е изд. О-ва испытателей природы, 1950.

Большая Советская Энциклопедия. Цветные вкладки.

Охота и охотничье хозяйство. Журнал, с 1-го года издания (1956).

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

У ш и н с к и й. Петушок. Детгиз, 1945.

Детская Энциклопедия. Т. 4. Цветные вкладки. АПН РСФСР, 1960.

Хохлаткина родня. Дет. мир, 1959.

Жучкина родня, Дет. мир, 1959.

Муркина родня. Дет. мир, 1958.

М. Л е в а ш о в. Сова. Сов. художн., 1952.

Шутки. Дет. мир, 1961.

Басни Крылова. Полиграф. ф-ка Моск. Промтреста, 1948.

Колобок. Полиграф. ф-ка Моск. Промтреста, 1948.

Теремок. Полиграф. ф-ка Моск. Промтреста, 1948.

С к р е б и ц к и й. Очерки о животных. Полиграф. ф-ка Моск. Промтреста, 1949.

Лиса и волк. Полиграф. ф-ка Моск. Промтреста, 1949.

Первое знакомство с животными. Полиграф. ф-ка Моск. Промтреста, 1949.

Скворец. Изд. Моск. зоопарка, 1946.

Ласточка. Изд. Моск. зоопарка, 1946.

М и х а л к о в С. Приключение зайца. М-во местной промышленности, 1949.

М и х а л к о в С. Веселые картинки. М-во местной промышленности, 1949.

Левашов М. Пернатые друзья. Полиграф. картонная ф-ка, 1947.

Михалков С. Веселые картинки. Росгизместпром, 1952.
Мишкин сад. Росгизместпром, 1954.

Герасимов. Тропой таежного охотника. Чита, 1956.

Герасимов. Лисица. Эконом. лит., 1953.

Иванов. Охота на тетеревиных токах. Изд. О-ва испытателей природы, 1951.

Путешествия по басням Крылова (Лото). Росгизместпром, 1956.

Зоологическое лото. Росгизместпром, 1947 — 1956.

*КНИГИ, ИЗДАННЫЕ СЫТИНЫМ,
С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ А.Н. КОМАРОВА*

Величкина и Малютина. Живая беседа. Азбука, 1914.

Книги для детей с рисунками Комарова. Каталог, 1914.

Толстой Л. Н. Булька и Мильтон, 1924.

Лермонтов М. Ю. Казачья колыбельная песня, 1914.

Шведер. Весна идет. Сказочки для детей, 1915.

Ульянов А. Пушок, 1915.

Толмачева. Мирные страницы, 1915.

Рождественский альманах. Огоньки, 1915 (1925?).

Новиков. Стихи деткам, 1915.

Насимович. Чудесная сумка, 1915.

Малиновская. С войны, 1915.

Лермонтов М. Ю. Три пальмы, 1915.

Городецкий. Ау! Стихи для детей, 1915.

Крылов И. А. Басни, с биографией и отзывом Белинского, 1915.

Искра Божья, 1915.

Жуковский В. А. Сборник для детей, 1915.

Городецкий. Царевна Сладстена, 1915.

Вербочки//Весенний альманах, 1915.

Афанасьев. Русские народные сказки с картинками Комарова. В 5-ти тт. 1915.

Арманд Л. Маленькие сказочки, 1915.

Алтаев А. В неволе и на воле. Из жизни животных, 1915.

Некрасов Н. А. Мороз, Красный нос, 1923.

Крылов И. А. Басни, 1923.

Чехов А. П. Каштанка и др. рассказы, 1924.

Федоров - Давыдов А. А. Сказки Бабушки Ладушки, 1924.

Толстой Л. Н. Рассказы для детей, 1924.

Толстой Л. Н. Из детских воспоминаний, 1924.

Некрасов Н. А. Стихотворения, посвященные русским детям, 1924.

Жар птица//Сб. русских сказок, 1924.

Ершов П. Конек-Горбунок, 1924.

Гаршин В. Сигнал и другие рассказы, 1924.

Андерсен Г.-Х. Сказки, 1924.

Нордау, Макс. О богатой и бедной собаке (Отдельные выпуски), 1915.

Нордау, Макс. Дедушкины сказки, 1915, 1924.

Нордау, Макс. Ручной лев, 1915.

Нордау, Макс. Сердечная нить, 1915.

Нордау, Макс. Таинственное королевство, 1915.

Нордау, Макс. Художник-творец, 1915.

Эвальд, Карл. Аист и дождевой червяк (Отдельные выпуски), 1915.

Эвальд, Карл. Воробей, 1915.

Эвальд, Карл. Головастик, 1915.

Эвальд, Карл. Двенадцать сестер, 1915.

Эвальд, Карл. Земля и комета, 1915.

Эвальд, Карл. Кораллы, 1915.

Эвальд, Карл. В глубине морской, 1915.

Эвальд, Карл. Четыре добрых друга, 1915.

Эвальд, Карл. Сказки природы, 1915.

ОБЛОЖКИ КНИГ, СДЕЛАННЫЕ А.Н. КОМАРОВЫМ:

‘ «Колобок», «Мальчик с пальчик», «Золушка», «Морской царь», «Кошей Бессмертный».

Вагнер. Сказки кота Мурлыки.

Некрасов Н. А. Кому на Руси жить хорошо.

И многие, многие другие...

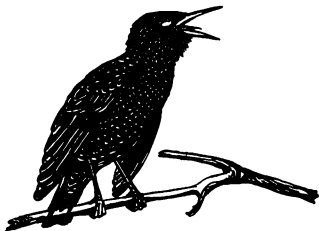




*СПИСОК МУЗЕЕВ, В КОТОРЫХ ВЫСТАВЛЕНЫ
КАРТИНЫ А. Н. КОМАРОВА*

1. Государственный биологический музей им. Тимирязева;
2. Зоомузей МГУ;
3. Краеведческий музей г.Истра;
4. Шушинское. Коллекционер Рехлов;
5. Литературный музей Никитиной;
6. Собрание Вугиной;
7. Собрание Рябинина;
8. Дарвинский музей;
9. Собрание Чабаевского;
10. Алма-Атинская картинная галерея;
11. Тульская художественная галерея;
12. Данковская картинная галерея;
13. «Ясная Поляна»;
14. Толстовский музей;
15. Таллинский зоопарк;
16. Тарусская картинная галерея;
17. Соликамский музей;
18. Музей коневодства;
19. Вологодская картинная галерея;
20. Ростовский музей ИЗО;
21. Горьковский художественный музей;
22. Калининская картинная галерея;
23. Саратовский художественный музей;
24. Рязанский художественный музей.





ДАТЫ ЖИЗНИ А. Н. КОМАРОВА

Родился 14 октября 1879 г. в с. Скородное Тульской губ.

Переезд в Тулу — 1884 г.

Учеба в Школе живописи, ваяния и зодчества — 1899 — 1901 гг.

Архангельск — 1900 г.

Крым — 1903 — 1905 гг.

Швеция и Норвегия.

Урал — 1912 г.

Кавказ и Персия — 1915 г.

Астрахань — 1927 — 1928 гг.

Средняя Азия — 1930 г.

Алтай — 1934 г.

Конный завод «Восход» — 1935 г.

Жил на даче около ст. Пески Московской обл. с 1936 г.

Казахстан — 1956 г.

Алма-Ата — 1965 г.

Умер на даче 31 марта 1977 г. в 16 часов.





СОДЕРЖАНИЕ

Дорога жизни	5
Детство	6
Мой первый заработок. <i>Давних дней воспоминание</i>	18
Школа живописи, ваяния и зодчества	24
Аукцион	29
Дом с колоннами	31
Поездка за белым медведем	45
У Мензбира	49
Мастерская	52
Крым. 1903 год	54
1905 год	57
Форос	58
Дикарева дача	63
У Сытина	64
Птичий рынок	66
Швеция	67
Норвегия	70
Ямантау	72
Через Кавказ в Персию	79
Поездка на «Антилопе-Гну»	87
«Светлячок» и другие журналы	89
Вокруг «буржуйки»	91
Огород	95
Наркомздрав	98
Хомяк	99
Двадцатые годы	102
Платформа Битца	103
Питомник. 1927 год	104
Хурул	109

Озеро Баскунчак	112
Средняя Азия	115
Дарвинский музей	120
Алтай. 1934 год	126
Леший	136
Пески. <i>По-другому о том же</i>	141
Фантазии старого гриба	150
Казахстан. 1956 год	155
Лошадь	160
Встречи	161
Балет	163
Соседи-художники	164
Артемьевка	167
Мечты	170
Ночь в степи	172
Никочка	174
Жук. 1910 год	177
Пикник. <i>Картинка прошлого</i>	180
Еще одно воспоминанье	184
Табынская икона	186
Черный аист	188
Мулла	189
Табун	191
Разговор на террасе. <i>Невыдуманные случаи</i>	195
Пирушка	202
Вася	208
Шедевр	217
На этюды	223
Котлеты	230
В гостях	235
Укротитель Лист	246
На тетеревином току	250
Дружба	255
Ужи	260
Буря. 1903 год	260
Лесник	261
Грибной царь	262
Извини, Румянка	267
Старый русак	270
Бурый пень	274
Малыши	277
Встреча Нового года	281
Встречи в лесу	284
За русаками	287
Воришка	290
Заблудились	291

Дикий барин	296
Фея Бериллюна	301
Пошутили	307
Дед Мороз	311
О волках	314
Дядя Григорий	318
Лавочник	321
Настали святки	325
Андрияшка	327
Приезд гостей	330
Может, за попом сходить?	332
Дружба с животными	334
Собака	336
О лошадях	336
Петух	343
Голова игуаны	350
Царевна-лягушка	354
Горностай	355
Крылатый котенок	356
Сурок	359
Жулик	360
Крыса	364
Совик	365
Почтовый ящик	368
Галочка	370
Сороки	371
Грач	373
Лиса	376
Бобочка. <i>По-другому о том же</i>	378
Разговор с Мурзиком	387
За грибами	387
Яшка	391
Заметки о животных	394
<i>Певчая мышь</i>	394
<i>Снегирь</i>	394
<i>Сорока</i>	395
<i>Кукушка</i>	396
<i>Вундеркинд</i>	398
Остров Врангеля	402
Медвежонок Умка	403
Зоопарк. <i>Рассказ юнната</i>	410
Муза	412
Художник. <i>Эскиз</i>	416
Судьба письма	418
Огонь...	419
Гений	421

Тяжкая дума. <i>Леший</i>	424
Девяносто лет	426
Улыбка	428
Дневник	430
Автобиография	446
Стихотворения	450
Неполный перечень книг с иллюстрациями А. Н. Комарова	480
Список картин в разных музеях	486
Даты жизни	487

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

*Издательство просит отзывы об этой книге
и Ваши предложения по серии «Зеленая серия»
присылать по адресу:
125499, Москва, Кронштадтский бульвар, 37б
Издательство АРМАДА*

- Комаров А.**
К 63 Рассказы старого лешего / Рисунки автора.— М.:
АРМАДА, 1998.— 493 с.: ил.— (Зеленая серия).
ISBN 5-7632-0781-5

Книга известного художника-анималиста Алексея Никаноровича Комарова состоит из рассказов-воспоминаний: о детстве, учебе в Школе живописи, ваяния и зодчества, о работе в различных издательствах и Дарвинском музее, многочисленных поездках и конечно же о любимом деле — рисовании животных.

УДК 82-311.8(02)
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-44я5

Зеленая серия

**АЛЕКСЕЙ НИКАНОРОВИЧ КОМАРОВ
РАССКАЗЫ СТАРОГО ЛЕШЕГО**

Ответственный редактор
Е. П. Карезина

Художественный редактор
В. В. Голубева

Технический редактор
А. А. Ерикова

Компьютерная верстка
П. Э. Кутепов

Формат 60х90¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура «Ньютон».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,40. Изд. № 2234.
Тираж 10000 экз. Заказ № 4483.

Издательство АРМАДА
125499, Москва, Кронштадтский бульвар, 376
Изд. лицензия ЛР № 065874 от 06.05.98.

Отпечатано в типографии издательства
«Самарский Дом печати»
443086, Самара, просп. Карла Маркса, 201

МАЙК КОУНИ

Кот по имени Сабрина

«КОТ ПО ИМЕНИ САБРИНА»
«МОРСКОМУ ЛЬВУ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО»

В этой книге любителей рассказов о животных ждет удивительная история, главным действующим лицом которой стал обыкновенный кот по имени Сабрина.

Казалось бы, во всей канадской литературе не было столь трагичной фигуры, как кот Сабрина. Вот уж кому фатально не везло! Однако стойкость, с которой кот переносил выпавшие на его долю испытания, достойна восхищения. Подпаленный пламенем печи, он попадает в плен к бобрам, переносит пытки электричеством, ведет борьбу за жизнь с коварной бечевой воздушного змея... А начались все неурядицы с курьезного, но досадного недоразумения...



Помимо Сабрины на страницах книги читатели встретятся с козой-людоедкой Тогой, с крысой-котоглотом Слимой, с истребителем уток Джейбой и еще со множеством других персонажей, ко-

торые проживают на острове Гарсия в Британской Колумбии.

По достоинству читатели оценят и второе произведение, вошедшее в книгу, — «Нет места для морского льва».

Оба романа впервые издаются на русском языке.



